

BRITISH
MUSEUM

BRITISH
MUSEUM

10

БИБЛИОТЕКА ЗАРУБЕЖНОЙ КЛАССИКИ

ВИНЦЕНЦО МОНТЕ

*Собрание сочинений
в десяти томах*

ТОМ

10

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК». ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА. 1972

Собрание сочинений выходит
под редакцией
Н. М. Любимова



ДЕВЯНОСТО
ТРЕТИЙ
ГОД

Часть первая
В МОРЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

СОДРЕЙСКИЙ ЛЕС

В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, прибывших в Бретань под командованием Сантерра, вел разведку в грозном Содрейском лесу, близ Астилле. Около трехсот человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войны. То было в те дни, когда после боев под Аргонном, Жемапом и Бальми в первом парижском батальоне из шестисот волонтеров осталось всего двадцать семь человек, во втором — тридцать три и в третьем — пятьдесят семь человек. Памятная година героических битв.

Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек. Каждому батальону придали по три орудия. Сформировали их в спешном порядке. 25 апреля, в бытность Гойе министром юстиции и Бушотта военным министром, секция Бон Консейль предложила послать в Вандею несколько батальонов волонтеров; член Коммуны Любен сделал соответствующее представление; первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат, тридцать полевых орудий и батальон канониров. Эти батальоны, созданные столь молниеносно, оказались столь удачно сформированными, что и поныне еще служат образцом при определении состава линейных рот; именно тогда впервые изменилось традиционное соотношение между числом солдат и числом унтер-офицеров.

Двадцать восьмого апреля Коммуна города Парижа дала своим волонтерам краткий наказ: «Ни пощады, ни

снисхождения!» К концу мая из двенадцати тысяч человек, покинувших Париж, восемь тысяч пали в бою.

Батальон, углубившийся в Содрейский лес, был начеку. Продвигались не торопясь. Зорко смотрели по сторонам направо и налево, вперед и назад; недаром Клебер говорил: «У солдата и на затылке глаза». Шли уже давно. Который мог быть час? Начало или конец дня? Трудно сказать, так как в здешних глухих чащобах безраздельно господствует вечерняя мгла, и никогда в этом лесу не бывает по-настоящему светло.

Трагический Содрейский лес! Здесь, среди лесных зарослей, в ноябре 1792 года свершилось первое злодеяние гражданской войны. Из гибельных дебрей Содрея вышел свирепый хромсц Мускетон; длинный перечень убийств, совершенных тут, вызывал невольную дрожь. Нет места страшнее. Солдаты с осторожностью углублялись в лес. Все было в цветении; вокруг смыкалась колеблющаяся завеса ветвей, изливавших сладостную свежесть молодой листвы; солнечные лучи лишь местами пронизывали зеленую мглу; под ногой шпажник, касатик, полевые нарциссы, весенний шафран, безымянные цветочки — предвестники тепла — словно шелковыми нитями и позументом расцвечивали пышный ковер трав, куда вплетался разнообразным узором мох: здесь он извивался, подобно зеленым гусеницам, а там распускался звездами. Солдаты шагали медленно в полном молчании, бесшумно раздвигая кустарник. Над остриями штыков щебетали птицы.

В гуще Содрейского леса некогда, в мирные времена, устраивались ночные охоты на пернатых, ныне здесь шла охота на людей.

Стеной стояли березы, вязы и дубы; под ногами ровная земля; густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов; ни тропинки, а если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала; заросли остролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего столбника — и в десяти шагах невозможно разглядеть человека.

Пролетавшая иногда над шатром ветвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота.

Люди шли. Шли навстречу неизвестности, боясь найти то, что искали.

Время от времени попадались следы привала: выж-

женная земля, примятая трава, сбитый из палок крест, окровавленные ветки. Вот там готовили ужин, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом, залегли в засаде с мушкетонам в руке? Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Закон пустыни — недоверие. Не видно никого — тем больше оснований кого-то остерегаться. Недаром о Содрейском лесе ходила дурная слава.

В таких местах всегда возможна засада.

Тридцать grenадеров, посланные лазутчиками под командой сержанта, ушли вперед далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркитантка. Маркитантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься... Любопытство — одно из проявлений женской храбрости...

Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось над непроходимым кустарником, и, казалось, что-то шевельнулось в листве. Идущие впереди подали знак остальным.

Когда солдаты посланы в дозор или на разведку, офицерам незачем вмешиваться: то, что должно быть сделано, делается само собой.

В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей: черную глубь чащи взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от подозрительного куста, ждали лишь команды сержанта.

Но маркитантка отважно заглянула под шатер ветвей, и, когда сержант уже готов был отдать команду «пли!», — раздался ее крик:

— Стой!

Затем, повернувшись к солдатам, она добавила:

— Не стреляйте, братцы.

Она нырнула в кусты. Солдаты последовали за ней. И впрямь там кто-то был.

В самой гуще кустарника на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеле-

ной горнице, полускрытой, как альков, завесою listвы, сидела на мху женщина; она кормила грудью младенца, а на коленях у нее покоились две белокурые головки спящих детей.

Так вот она, засада!

— Что вы здесь делаете? — воскликнула марки-тантка.

Женщина подняла голову.

— Вы, видно, с ума сошли, что сюда забрались! — с яростью проговорила маркитантка и добавила: — Еще минута, и вас бы убили на месте!.. — Повернувшись к солдатам, она пояснила: — Это женщина.

— Будто сами не видим! — отозвался кто-то из гrenaдеров.

А маркитантка все не унималась:

— Пойти вот так в лес, чтобы тебя тут же убили... Надо ведь такую глупость придумать!

Женщина, оцепенев от страха, сизумлением, словно спросонья, глядела на ружья, сабли, штыки, на свирепые физиономии.

Дети проснулись и захныкали.

— Мне есть хочется, — сказал один.

— Мне страшно, — сказал второй.

Лишь младенец продолжал сосать материнскую грудь. К нему-то и обратилась маркитантка:

— Только ты один у нас молодец.

Мать онемела от ужаса.

— Да не бойтесь вы, — крикнул ей сержант, — мы из батальона Красный Колпак!

Женщина задрожала всем телом. Она взглянула на сержанта: на этом суровом лице выделялись лишь густые усы, густые брови и пылавшие, как уголья, глаза.

— Бывший батальон Красный Крест, — пояснила маркитантка.

А сержант спросил:

— Ты кто такая, сударыня, будешь?

Женщина, застыв от ужаса, не спускала с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище; на голову она, как все бретонские крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. С равнодушием дикарки она даже не потрудилась прикрыть голую грудь. На сбитых в кровь ногах не было ни чулок, ни обуви.

— Видать, нищенка,— решил сержант.

В разговор снова вмешалась маркитантка, и хотя ее вопрос прозвучал по-солдатски грубо, в нем чувствовалась женская мягкость:

— Как звать-то?

Женщина, заикаясь, невнятно прошептала в ответ:

— Мишель Флешар.

А маркитантка ласково гладила шершавой ладонью головку младенца.

— Сколько же нам времени? — спросила она.

Мать не поняла. Маркитантка повторила:

— Я спрашиваю, сколько ему?

— А-а! Полтора годика,— ответила мать.

— Смотрите, какие мы взрослые! — воскликнула маркитантка. — Стыдно такому сосать. Придется, видно, мне отучать его от груди. Мы ему супу дадим.

Мать немного успокоилась. Двое старших ребятишек, проснувшись, смотрели вокруг с любопытством, и не думая пугаться. Они залюбовались гренадерскими плюмажами.

— Ах,— вздохнула мать,— они совсем изголодались.— И добавила: — Молоко у меня пропало.

— Еды им сейчас дадут,— закричал сержант,— да и тебе тоже! Не о том речь. Ты скажи нам, какие у тебя политические убеждения?

Женщина смотрела на сержанта, ничего не отвечая.

— Ты что, не слышишь, что ли?

Она пробормотала:

— Меня совсем молодой в монастырь отдали, а потом я вышла замуж, я не монахиня. Святые сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Вот мы и убежали в чем были, я даже башмаков надеть не успела.

— Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?

— Это вы о чем?

— Пойми ты, сейчас много шпионов развелось. А шпионов расстреливают. Ну, отвечай. Ты не цыганка? Где твоя родина?

Женщина глядела на сержанта, будто не понимая его слов.

Сержант повторил:

- Где твоя родина?
- Не знаю,— ответила женщина.
- Как так не знаешь? Не знаешь, откуда ты родом?
- Где родилась? Знаю.
- Ну, так и говори, где родилась.

Женщина ответила:

- На ферме Сискуаньяр в приходе Азэ.

Тут пришла очередь удивляться сержанту. Он на минуту замолк. Потом переспросил:

- Как ты сказала?
- Сискуаньяр.
- Какая же это родина?
- Это мой край.

Подумав с минуту, женщина сказала:

— Теперь я поняла, сударь. Вы из Франции, а я из Бретани.

- Ну и что?
- Это ведь разные края.
- Но родина-то у нас одна! — закричал сержант.

Женщина упрямо повторила:

- Из Сискуаньяра мы.
- Ну ладно, Сискуаньяр так Сискуаньяр! — согласился сержант.— Твоя семья оттуда?

- Да.
- А что делают твои родные?
- Умерли все. У меня никого нет.

Сержант, видимо, любитель поговорить, продолжал допрос:

- У всех есть родные или были, черт возьми. Ты кто такая? А ну, говори скорее.

Женщина оцепенела: эти «или были» напоминали скорее звериное рычанье, чем человеческую речь.

Маркитантка поняла, что пришло время снова вмешаться в беседу. Она погладила по головке грудного младенца и ласково похлопала по щечкам двух старших.

- Как зовут крошку? — спросила она.— По-моему, она у нас девица.

Мать ответила:

- Жоржетта.
- А старшего? Этот сорванец, видать, кавалер.
- Рене-Жан.

— А младшего? Ведь и он тоже настоящий мужчина, гляди, какой щекастый.

— Гро-Алэн,— ответила мать.

— Хорошенькие детки,— заметила маркитантка,— посмотрите только, уже важничают.

Но сержант не унимался:

— Отвечай, сударыня. Дом у тебя есть?

— Был дом.

— Где был?

— В Азэ.

— А почему ты дома не сидишь?

— Потому что его сожгли.

— Кто сжег?

— Не знаю. Война сожгла.

— Откуда ты идешь?

— Оттуда.

— А куда идешь?

— Не знаю.

— Говори толком. Кто ты?

— Не знаю.

— Не знаешь, кто ты?

— Люди мы, спасаемся.

— А какой партии ты сочувствуешь?

— Не знаю.

— Ты синяя? Белая? С кем ты?

— С детьми.

Наступило молчание. Его нарушила маркитантка.

— А вот у меня детей нет,— сказала она.— Некогда было.

Сержант снова приступил к допросу:

— А родители твои? А ну, сударыня, доложи нам о твоих родителях. Меня вот, к примеру, звать Радуб, сам я сержант с улицы Шерш-Миди, мать и отец тоже там жили, я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Говори, кто были твои родители?

— Флешары. Просто Флешары.

— Флешары — это Флешары, а Радубы — это Радубы. Но ведь у человека не только фамилия есть. Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас поделывают? Что они нафлешарничали, твои Флешары?

— Они землю пахали. Отец был калека, не мог работать с тех пор, как сеньор приказал избить его палками; так приказал сеньор, его сеньор, наш сеньор, это он по доброте велел избить отца за то, что отец подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть, но сеньор наш помиловал отца, он сказал: «Хватит с него ста палок», — мой отец с тех пор и стал калекой.

— Ну, а еще что?

— Дед мой был гугенотом. Кюре велел сослать его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была.

— Дальше?

— Свекор мой контрабандой занимался — соль продавал. Король велел его повесить.

— А твой муж чем занимается?

— Сейчас воевал.

— За кого?

— За короля.

— А еще за кого?

— Ну, конечно, за своего сеньора.

— А еще за кого?

— Ну, конечно, за кюре.

— Чтобы вас всех громом порасшибало! — вдруг заорал один из гренадеров.

Женщина даже подскочила от страха.

— Видите ли, сударыня, мы парижане, — любезно пояснила маркитантка.

Женщина в испуге сложила руки и воскликнула:

— О, господи Иисусе!

— Ну-ну, без суеверий! — прикрикнул сержант.

Маркитантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое внутреннее чутье.

— Бедняжка вы моя, бретоночка, детки у вас такие милые, просто прелесть. Сейчас скажу, сколько им лет. Вот тому, что побольше, — четыре годочка, а младшему — три. А девица эта, смотри, как сосет, сразу видать, обжора. Ах ты, чудовище этакое! Ты так свою мамашу совсем скушаешь. Вот что, сударыня, вы ничего не бойтесь. Вступайте-ка в наш батальон. Будете вроде меня. Зовут меня Гусарша. Это мое прозвище. Но по

мне уж лучше Гусаршей зовите, чем мамзель Двурогой, как мою матушку. Я маркитантка, а маркитантки, это, знаете, которые разносят воду, когда стреляют и убивают. А кругом все как в аду кипит. У нас с вами одинаковая нога, я вам свои башмаки подарю. Десятого августа я была в Париже и подавала напиток самому Вестерману. Вот оно как! Видела своими глазами, как гильотинировали Людовика Шестнадцатого, Луи Капета, так его теперь называют. Ух, и не хотелось же ему помирать! Да слушайте вы меня, черт возьми! Подумать только, еще тринадцатого января он на всех страху нагонял, а сам сидел со своим семейством да посмеивался! Когда его силком уложили «на доску», как у нас в Париже говорят, он был без сюртука и туфель, только в сорочке, в пикейном жилете, в серых шерстяных штанах и в серых шелковых чулках. Своими глазами видела. Карета, в которой его везли, была выкрашена в зеленый цвет... Послушайте меня, идите с нами, у нас в батальоне все славные ребята. Будете маркитанткой номер два, я вас живо делу научу. Нет ничего проще — дадут тебе большую флягу и колокольчик, и ты идешь в самое пекло. Пули летают, пушки ухают, шум стоит адский, а ты знай кричи: «А ну, сынки, кому пить охота, а ну?» Говорю вам, дело немудреное. Я, например, всем подряд пить подаю. Ей-богу, правда. И синим и белым, хотя сама-то я синяя. И самая настоящая синяя. А пить всем подаю. Ведь каждому раненому пить охота. Умирают-то все, без различия убеждений. Перед смертью людям надо бы помириться. Дурацкое это занятие — драться. Идите с нами. Если меня убьют, дело к вам перейдет. Вы по виду не судите, я женщина не злая, и солдат из меня неплохой. Не бойтесь ничего.

Когда маркитантка закончила свою речь, женщина пробормотала:

— Нашу соседку звали Мари-Жанна, а нашу батрачку звали Мари-Клод.

Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера:

— Молчал бы ты! Видишь, даму совсем напугал. Разве при дамах можно чертыхаться?

— Да ведь честному человеку такие слова слушать — прямо нож в сердце, — оправдывался гренадер, — легче на месте помереть, чем такими чудовищами заморскими любоваться: отца сеньор искалечил, ихнего дедушку из-

за кюре сослали на галеры, ихнего свекра король повесил, а они, дуры башки, сражаются, устраивают мятежи, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, кюре и короля!

Сержант скомандовал:

— В строю не разговаривать!

— Мы и так не разговариваем, сержант,— ответил гренадер,— да все равно с души воротит смотреть, как такая миленькая женщина сама лезет под пули в угоду какому-то попу!

— Гренадер! — оборвал его сержант.— Мы здесь не в клубе секции Пик. Не разглажольствуйте.

Он снова повернулся к женщине:

— А где твой муж, сударыня? Что он делает? Что с ним случилось?

— Ничего не случилось, потому что его убили.

— Где убили?

— В лесу.

— Когда убили?

— Третьего дня.

— Кто убил?

— Не знаю.

— Не знаешь, кто твоего мужа убил?

— Нет, не знаю.

— Синие убили? Белые убили?

— Ружье убило.

— Третьего дня, говоришь?

— Да.

— А где?

— Около Эрне. Мой муж упал. Вот и все.

— А когда твоего мужа убили, ты что стала делать?

— Пошла с детьми.

— Куда?

— Куда глаза глядят.

— Где спишь?

— На земле.

— Что ешь?

— Ничего.

Сержант скорчил классическую солдатскую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу.

— Совсем ничего?

— Ежевику рвали, терн прошлогодний, он еще кое-где на кустах уцелел, чернику ели, побеги папоротника.

— Так. Выходит, что ничего.

Старший мальчик, поняв, очевидно, о чем идет речь, сказал:

— Есть хочу.

Сержант вытащил из кармана краюху хлеба — свое дневное довольствие — и протянул ее женщине. Она разломила краюху пополам и дала по куску старшим детям. Те с жадностью принялись уплетать хлеб.

— А себе не оставила, — проворчал сержант.

— Потому что не голодна, — сказал солдат.

— Потому что мать, — сказал сержант.

Мальчики перестали жевать.

— Пить хочу! — сказал один.

— Пить хочу! — сказал другой.

— А в этом чертовом лесу даже ручья нет! — воскликнул сержант.

Маркитантка сняла медную чарку, висевшую у нее на поясе рядом с колокольчиком, отвернула крышку жбана, который она носила через плечо, нацедила несколько капель и поднесла чарку к губам ребенка.

Старший выпил и скорчил гримасу.

Младший выпил и сплюнул.

— А ведь какая вкусная, — сказала маркитантка.

— Ты чем их попотчевала, водкой, что ли? — осведомился сержант.

— И еще какой, самой лучшей! Да ведь они деревенщина.

Она вытерла чарку.

Сержант снова приступил к делу:

— Значит, сударыня, спасаешься?

— Пришлось.

— Бежишь, стало быть, напрямик через поля?

— Сперва я бежала, сколько хватило сил, потом пошла, а потом свалилась.

— Ох вы, бедняжка, — сказала маркитантка.

— Люди, всё дерутся, — пробормотала женщина. — Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют. А я не знаю, чего кто хочет. Мужа моего убили. Вот это я поняла.

Сержант с силой ударил прикладом о землю и сердито прокричал:

— Какая глупость эта война, прах ее возьми!

Женщина продолжала:

— Прошлую ночь мы в дуплине спали.

— Все четверо?

— Все четверо.

— Спали?

— Спали.

— Спали,— подтвердил сержант,— стоя спали.— Он повернулся к солдатам.— Ребята! Здешние дикари называют дуплиной большое такое дуплистое дерево, куда человек может втиснуться, словно в ножны. Да с них какой спрос! Ведь не парижане.

— Спать в дупле,— повторила маркитантка,— и еще с тремя ребятишками!

— А когда малыши рев поднимали,— промолвил сержант,— вот прохожие, должно быть, дивились, никого вроде не видно,— стоит дерево и кричит: «Папа, мама».

— Слава богу, сейчас хоть лето,— вздохнула женщина.

Она опустила глаза, и в ее покорном взгляде отразилось бесконечное удивление перед непостижимым бременем катастроф.

Солдаты молча стояли вокруг, ошеломленные картиной человеческой беды.

Вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество; война, с грозным рыком обложившая весь горизонт; голод, жажда, единственная пища — трава, единственный кров — небо!

Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижавшуюся к материнской груди. Малютка выпустила изо рта сосок, повернула головку, уставилась красивыми синими глазками на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась.

Сержант быстро выпрямился, крупная слеза проползла по его щеке и, словно жемчужина, повисла на кончике уса.

— Товарищи! — громко произнес он.— Из всего вышесказанного вытекает, что батальону не миновать стать отцом. Согласны? Значит, усыновляем трех малышей.

— Да здравствует Республика! — прокричали гренадеры.

— Решено,— заключил сержант и простер обе руки над матерью и детьми.

— Значит,— сказал он,— отныне это дети батальона Красный Колпак.

Маркитантка даже подпрыгнула от радости.

— Под одним колпаком три головки! — прокричала она.

Потом вдруг зарыдала в голос, горячо поцеловала бедняжку вдову и проговорила:

— А маленькая-то уже и сейчас, видать, шалунья!

— Да здравствует Республика! — снова крикнули гренадеры.

Сержант повернулся к матери:

— Пойдемте, гражданка.

КНИГА ВТОРАЯ

КОРВЕТ «КЛЕЙМОР»

I

Англия и Франция в смешении

Весной 1793 года, когда Францию, атакуемую одновременно на всех границах, вдруг отвлекло волнующее зрелище падения жирондистов, вот что происходило в Ламаншском архипелаге.

Первого июня, приблизительно за час до захода солнца, на острове Джерсей, в маленькой пустынной бухточке Боннюи, готовился к отплытию корвет, пользуясь туманной погодой, которая благоприятна беглецам, потому что слишком опасна для мирных мореплавателей. Судно это, обслуживаемое французским экипажем, числилось в составе английской флотилии, которая несла службу охраны у восточной оконечности острова. Английской флотилией командовал принц Латур Овернский, из рода герцогов Бульонских, и именно по его приказу корвет был отряжен для выполнения важного и спешного поручения.

Этот корабль, значившийся в списках английского морского ведомства под названием «Клеймор», на первый взгляд казался обычным транспортным судном, хотя в действительности являлся военным корветом. По виду это было прочное, тяжеловесное торговое судно, но горю тому, кто доверился бы внешним приметам. При постройке «Клеймора» преследовалась двоякая цель — хитрость и сила: если возможно — обмануть, если необходимо — драться. Чтобы успешно справиться с предстоящей задачей, обычный груз заменили тридцатью крупнокалиберными каронадами, занявшими все межпалубное пространство. В предвидении непогоды, а вернее, стремясь придать корвету безобидный вид торгового судна, все тридцать орудий принайтовили, или, проще говоря, при-

крепили, тройными цепями, причем жерла их упирались в закрытые ставни портов; самый зоркий глаз не обнаружил бы ничего подозрительного, тем более что иллюминаторы и люки тоже были задраены; корвет словно надел на себя маску. Каронады устанавливались на лафетах с бронзовыми колесами старинного образца — со спицами. Обычно на военных корветах орудия размещались лишь на верхней палубе, однако «Клеймор», предназначенный для внезапных нападений и засад, не имел открытой батареи, но, как мы уже говорили, мог нести целую батарею на нижней палубе. При своих внушительных размерах и огнестойкости тяжеловесности «Клеймор» был достаточно быстроходен и среди всех прочих судов английского флота славился прочностью корпуса, так что в бою стоил целого фрегата, хотя его низкая бизань-мачта несла только одну бизань. Руль, редкой по тем временам, замысловатой закругленной формы, — творение саутгемптонских верфей, — обошелся в пятьдесят фунтов стерлингов.

Экипаж «Клеймора» сплошь состоял из французских офицеров-эмигрантов и французских матросов-дезертиров. Людей отбирали тщательно: каждый, принятый на борт корвета, должен был быть хорошим моряком, хорошим солдатом и хорошим роялистом. Каждый был трижды фанатиком — фанатически преданным корвету, шпаге и королю.

На случай высадки экипажу корвета придали полубатальон морской пехоты.

Корветом командовал граф дю Буабертло, один из лучших офицеров старого королевского флота, кавалер ордена Святого Людовика; его старшим помощником был шевалье де Ла Вьевиль, который командовал той гвардейской ротой, где Гош начинал свою службу в качестве сержанта; лоцманом был самый опытный из всех лоцманов Джерсея — Филипп Гакуаль.

По всему чувствовалось, что корвету предстояло совершить нечто из ряда вон выходящее. Недаром «Клеймор» принял на борт человека, который явно готовился к рискованному предприятию. То был высокий, еще крепкий старик, не согбенный годами, с суровым лицом, которое казалось и юным и старческим одновременно, и трудно поэтому было определить его возраст; пусть такому человеку много лет, зато у него много сил, пусть

поседали виски, зато глаза мечут молнии; сорок — по богатырскому сложению и восемьдесят — по властной осанке. В ту минуту, когда новый пассажир ступил на палубу, ветер отогнул край его плаща, и все увидели широкие штаны, гетры и куртку из козьей шкуры густым всклокоченным мехом внутрь, расшитую по коже позументом, — традиционный наряд бретонского крестьянина. Такие куртки в Бретани раньше носили и в будни и в праздник, смотря по надобности, выворачивая наружу то мехом, то расшитой стороной, так что простая овчина становилась в воскресенье праздничным нарядом. Чтобы довершить сходство с крестьянской одеждой, костюм старика был с умыслом потерт на локтях и коленях и выглядел заношенным, а плащ из грубой ткани походил на обычное рубище рыбака. Голову его венчала круглая, по моде того времени, шляпа с высокой тульей и широкими полями; при желании ее можно было носить и на крестьянский и на военный манер — в первом случае поля опускались, а во втором достаточно было приподнять один край и пристегнуть к тулье петлицей с кокардой. Сейчас шляпа была надета на крестьянский лад, без кокарды и петлицы.

Лорд Балькаррас, губернатор острова, и принц де Латур Овернский сопровождали старика на корабль. Тайный агент эмигрантской знати Желамбр, состоявший прежде в охране графа д'Артуа, самолично следил за уборкой каюты для нового пассажира, и, пренебрегши своим благородным происхождением, простер внимание и заботливость до того, что нес за стариком его саквояж. Отбывая обратно на сушу, г-н де Желамбр склонился перед этим крестьянином в низком поклоне; лорд Балькаррас сказал ему: «Желаю успеха, генерал», а принц Овернский добавил: «До скорой встречи, кузен!»

Матросы «Клеймора» тут же окрестили нового пассажира «Мужиком», и эта кличка то и дело повторялась в коротких, обрывистых фразах, которыми моряки обмениваются между собой, но кто он, откуда взялся и зачем попал на судно, оставалось им неизвестно; однако они поняли, что этот Мужик — такой же мужик, как их корвет — торговое судно.

Ветра почти не было. «Клеймор» вышел из бухты Боннюи, миновал Булэй-Бэй и некоторое время, прежде чем взять курс в открытое море, шел в виду берега; за-

тем, постепенно уменьшаясь в размерах, судно исчезло во мраке.

Час спустя, вернувшись к себе в Сент-Элье, Желамбр отправил с саутгемптонским курьером в штаб-квартиру герцога Йоркского следующие строки, адресованные графу д'Артуа:

«Ваше высочество, отъезд состоялся. Успех обеспечен. Через неделю все побережье от Гранвиля до Сен-Мало будет объято пламенем».

А за четыре дня до того тайный эмиссар вручил депутату от Марны гражданину Приеру, прикомандированному с особыми полномочиями к Шербургской береговой армии и квартировавшему в Гранвиле, послание, написанное той же рукой, что и первое, и гласившее:

«Гражданин уполномоченный! 1 июня, с началом прилива, снимается с якоря военный корвет «Клеймор», несущий на себе батарею, скрытую на нижней палубе; цель его плавания — высадить на французский берег человека, чьи приметы приводятся ниже: рост высокий, возраст пожилой, волосы седые, одежда крестьянская, руки аристократические. Завтра постараюсь сообщить более точные сведения. Высадка намечена на утро 2 июня. Поставьте в известность эскадру, захватите корвет, вышеозначенного человека прикажите гильотинировать».

II

Мрак сгущается вокруг корабля и пассажира

Вместо того чтобы идти на юг и держать путь на Сент-Катрин, корвет взял курс на север, потом повернул на запад и смело вошел в пролив между Серком и Джерсеом, который зовется «Пролив бедствий». Ни на левом, ни на правом берегу в те времена маяков не было.

Солнце давно уже село; ночь выдалась темная, темнее, чем обычно в летнюю пору; вот-вот должна была появиться луна, но тяжелые тучи — редкое явление в период солнцестояния и частое в дни равноденствия — затянули небосвод, и, судя по всем признакам, луна появится, лишь склонившись к горизонту, то есть перед самым заходом. Тучи нависали все ниже, на море ложился туман.

Эта темень как нельзя более благоприятствовала «Клеймору».

В намерения лоцмана Гакуалья входило оставить Джерсей слева, а Гернсей справа и, смелым маневром пройдя между Гануа и Дувром, достичь любой бухты на побережье Сен-Мало, другими словами, он избрал путь, хотя и более длинный, чем на Менкье, зато и более безопасный, так как французской эскадре было приказано особенно зорко охранять берега между Сент-Элье и Гранвилем.

При попутном ветре, если ничего не произойдет, если можно будет поставить все паруса, Гакуаль надеялся достичь французского берега еще на рассвете.

Все шло благополучно, корвет обогнул мыс Гро-Нэ; однако к девяти часам вечера погода, по выражению моряков, зашалила: начался ветер и поднялась волна; но ветер был попутный, а волна хоть и разгулялась, но не бушевала. Все же при особенно сильных ударах о нос корвета вода хлестала через борт.

Мужик, коего лорд Балькаррас именовал «генералом», а принц Овернский — «кузеном», обладал, что называется, «морскими ногами»; он спокойно и важно, будто не замечая качки, расхаживал по палубе. Время от времени он вынимал из кармана куртки плитку шоколада, отламывал кусочек и клал в рот; этот седовласый старец сохранил все зубы до единого.

Он ни с кем не вступал в беседу, только изредка бросал вполголоса и отрывисто несколько слов капитану, который выслушивал его замечания с почтительным видом, словно не он, капитан, а загадочный пассажир был подлинным командиром корабля.

Подчиняясь руке опытного лоцмана, «Клеймор» прошел незамеченным в тумане вдоль длинного крутого северного берега Джерсея, держась как можно ближе к суше, чтобы не натолкнуться на грозный риф Пьер-де-Лик, лежащий в самой середине пролива между Джерсеем и Серком. Гакуаль, не покидая руля, время от времени выкрикивал названия оставшихся позади рифов — Гревде-Лик, Гро-Нэ, Племон — и вел корвет среди разветвленных их гряды почти ощупью, но уверенно, как человек, которому ведом нрав океана и который здесь — у себя дома. Фонаря на носу корвета не зажгли, опасаясь обнаружить свое присутствие в этих зорко охраняемых во-

дах. Все благословляли туман. Уже миновали Гранд-Этап, и сквозь туманную пелену еле обозначился высокий силуэт Пинакля. На колокольне Сент-Уэн пробило десять, и на корвете отчетливо прозвучал каждый удар — верный знак того, что ветер дует в корму. Все по-прежнему шло хорошо, только волнение усилилось, как и обычно вблизи Корбьера.

В начале одиннадцатого часа граф дю Буабертло и шевалье де Ла Вьевиль проводили старика в крестьянском наряде в каюту, которая принадлежала капитану. Уже приоткрыв дверь, старик вдруг остановился и сказал, понизив голос:

— Господа! Вам не нужно напоминать, как важно сохранить тайну. Полное молчание до той минуты, пока не произойдет взрыв. Лишь вам одним здесь известно мое имя.

— Мы унесем его с собой в могилу, — ответил Буабертло.

— А я, — прервал старик, — не открою его даже в свой смертный час.

И вошел в каюту.

III

Знать и простолюдины в смещении

Капитан и его помощник поднялись на палубу и зашагали рядом, о чем-то беседуя. Видимо, они говорили о пассажире, и вот каков был этот ночной разговор, заглушаемый ветром.

Дю Буабертло вполголоса сказал Ла Вьевиллю:

— Скоро мы увидим, каков он в роли вождя.

Ла Вьевиль возразил:

— Что бы там ни было, он — принц.

— Ну не совсем.

— Во Франции — дворянин, в Бретани — принц.

— Точно так же как Тремуйли и Роганы.

— Кстати, он с ними в свойстве.

Буабертло продолжал:

— Во Франции и на королевских выездах он маркиз, как я — граф и как вы — шевалье.

— Где теперь эти выезды! — воскликнул Ла Вьевиль. — Началось с кареты, а кончилось повозкой палача.

Наступило молчание.

Первым нарушил его Буабертло:

— За неимением французского принца приходится довольствоваться принцем бретонским.

— За неимением орла... и ворон хорош.

— Лично я предпочел бы ястреба,— возразил Буабертло.

На что Ла Вьевиль ответил:

— Еще бы! Клюв и когти.

— Увидим.

— Да,— произнес Ла Вьевиль,— давно пора подумать о вожде. Я вполне разделяю девиз Тентениака: «Вождя и пороха!» Так вот, капитан, я знаю приблизительно всех кандидатов в вожди, как пригодных для этой цели, так и вовсе не пригодных, знаю вождей вчерашних, сегодняшних и завтрашних; ни в одном нет настоящей военной жилки, а она-то нам как раз и нужна. Этой дьявольской Вандее необходим генерал, который был бы одновременно и испытанным крючкотвором: пусть изматывает противника, пусть оттягивает сегодня мельницу, завтра куст, послезавтра ров, булыжник, пусть ставит ловушки, пусть все оборачивает себе на пользу, пусть бдит, пусть крушит всех и вся, пусть примерно карает, пусть не знает ни сна, ни жалости. Сейчас в их мужицком воинстве герои есть, а военачальников нет. Д'Эльбе — ничтожество, Лескюр болен, Боншан миндальничает, он добряк, что уж совсем глупо. Ларошжакелен незаменим на вторых ролях; Сильз одолеет врага в открытом поле, а в ловушку заманить не сумеет; Кателино — простоватый ломовик; Стофле — пронырливый лесной сторож; Берар бездарен, Буленвилье — шут гороховый, Шаретт страшен. Я не говорю уже о цирюльнике Гастоне. В самом деле, не понимаю, какого беса мы поносим революцию, так ли уже велико различие между республиканцами и нами, коль скоро у нас дворянами командуют господа брадобреи?

— А все потому, что эта проклятая революция и нас самих тоже портит.

— Вся Франция в парше.

— В парше третьего сословия,— подхватил дю Буабертло.— Одна надежда на помощь Англии.

— И она поможет, не сомневайтесь, капитан.

— Поможет завтра, а худо-то уже сегодня.

— Согласен, изю всех углов лезет смерд; раз монархия назначает главнокомандующим Стоффле, лесника господина де Молеврие, нам нет никаких оснований заводить республике, где в министрах сидит Паш, сын швейцара герцога де Кастри. Да, в вандейской войне произойдут презабавные встречи: с одной стороны— пивовар Сантерр, с другой — цирюльник Гастон.

— А знаете, дорогой Вьевиль, я все-таки ценю Гастона. Он неплохо показал себя, когда командовал при Гименэ. Без дальних слов велел расстрелять триста синих, да еще приказал им предварительно вырыть себе братскую могилу.

— Что ж, в добрый час, но и я бы с этим делом не хуже его справился.

— Конечно, справились бы. Да и я тоже.

— Великие военные деяния требуют в качестве исполнителя человека благородной крови,— продолжал Ла Вьевиль.— Это дело рыцарей, а не цирюльников.

— Однако ж и в третьем сословии встречаются приличные люди,— возразил дю Буабертло.— Вспомните хотя бы часовщика Жоли. Во Фландрском полку он был простым сержантом, сейчас он вождь вандейцев, командует одним из береговых отрядов; сын у него республиканец: отец служит у белых, сын — у синих. Встреча. Схватка. Отец берет сына в плен и пристреливает его.

— Вот это хорошо,— сказал Ла Вьевиль.

— Настоящий Брут-роялист,—сказал дю Буабертло.

— И все-таки тяжело идти в бой под командованием разных Кокро, Жан-Жанов, каких-то Муленов, Фокаров, Бужю, Шуппов.

— То же чувство негодования, дражайший шевалье, испытывают и в противном лагере. В наших рядах сотни буржуа, в их рядах сотни дворян. Неужели вы полагаете, что санкюлоты в восторге от того, что ими командует граф де Канкло, виконт де Миранда, виконт де Богарне, граф де Валанс, маркиз де Кюстин и герцог Бирон?

— Да, путаница изрядная.

— Не забудьте еще герцога Шартрского!

— Сына Филиппа Эгалитэ? Когда он, по-вашему, станет королем?

— Никогда.

— А все же он подымается к трону. Его возносят собственные преступления.

— И тянут вниз собственные пороки,— добавил дю Буабертло.

Вновь воцарилось молчание; его прервал капитан:

— А ведь он был готов пойти на мировую. Приезжал повидать короля. Я как раз находился в Версале, когда ему плюнули вслед.

— С главной лестницы?

— Да.

— И хорошо сделали.

— У нас его прозвали «Бурбон-Бубон».

— Очень метко, плешивый, прыщавый, царевича, фу, пакость какая!— И Ла Вьевиль добавил:— Мне довелось быть с ним в бою при Уэссане.

— На корвете «Святой Дух»?

— Да.

— Если бы он держался на ветре, следуя сигналу адмирала Д'Орville, англичане ни за что бы не прорвались.

— Совершенно справедливо.

— А правда, что он со страха забился в трюм?

— Болтовня. Но такой слух распространить полезно. Ла Вьевиль громко расхохотался.

— Есть еще на свете дураки,— продолжал капитан.— Возьмите хотя бы того же Буленвилье, о котором вы сейчас говорили. Я его знал, видел вблизи. Сначала крестьяне были вооружены пиками, а он забрал себе в голову превратить их в отряды копейщиков. Решил обучить их действовать пикой по всем правилам, как положено в воинских уставах. Мечтал превратить этих дикарей в регулярное войско. Старался научить их всем видам построения батальонных каре. Обучал их старинному военному языку: вместо «командир отделения» говорил «капдэскадр», так называли капралов во времена Людовика Четырнадцатого. Вбил себе в голову мысль создать регулярную часть — из этих-то браконьеров; сформировал роты, и сержантам полагалось каждый вечер становиться в кружок; сержант первой роты сообщал на ухо сержанту второй роты пароль и отзыв, тот передавал их тем же путем соседу, тот следующему и так далее. Он разжаловал офицера за то, что тот, получая от сержанта пароль, не встал и не снял шляпу. Судите сами, что там творилось. Этот дуралей никак не мог понять одного: мужики хотят, чтобы ими и коман-

довали по-мужичьи, и что нельзя приучить к казарме того, кто привык жить в лесу. Поверьте, я знаю вашего Буленвилье.

Они молча сделали несколько шагов, думая каждый о своем.

Затем разговор возобновился:

— Кстати, подтвердились слухи о том, что Дампьер убит?

— Подтвердились, капитан.

— На подступах к Конде?

— В лагере Памар. Пушечным ядром.

Дю Буабертло вздохнул:

— Граф Дампьер! Вот еще один из наших, который перешел на их сторону.

— Ну и черт с ним!— сказал Ла Вьевиль.

— А где их высочества принцессы?

— В Триесте.

— Все еще в Триесте?

— Все еще там. Ах, эта республика!—воскликнул Ла Вьевиль.— Сколько бед, а из-за чего! И подумать только, что революция началась из-за дефицита в несколько миллионов!

— Ничтожные причины — самые опасные!—возразил Буабертло.

— Все идет прахом,— сказал Ла Вьевиль.

— Согласен, Ларуари умер, дю Дрене — дурак. А возьмите наших пастырей Печального Образа, всех этих вожаков, всех этих Куси, епископа Рошельского, возьмите Бопуаля Сент-Олэра, епископа Пуатье, Мерси, епископа Люсонского, любовника госпожи де Лэшасери.

— Которая, да было бы вам известно, капитан, зовется Серванто. Лэшасери — название ее поместий.

— А этот лжеепископ из Агри, этот кюре неизвестно даже какого прихода!

— Прихода Доль. А звать его Гийо де Фольвиль. Он, кстати сказать, человек очень храбрый и умеет драться.

— Всё попы, а нам нужны солдаты. Епископы, которые вовсе и не епископы даже! И генералы, которые вовсе и не генералы!

Ла Вьевиль прервал капитана:

— Есть у вас в каюте последний номер *Монитера*?

— Есть.

- Интересно, что нынче дают в Париже?
- *Адель и Полэн и Пещеру.*
- Вот бы посмотреть!
- Еще посмотрите. Через месяц мы будем в Париже.— После минутного раздумья дю Буабертло добавил:— Не позже. Господин Уиндхэм сказал это лорду Гуду.
- Значит, капитан, наши дела еще не так плохи?
- Все было бы хорошо, черт возьми, если бы войну в Бретани вели правильно.
- Ла Вьевиль покачал головой.
- Скажите, капитан,— спросил он,— высадим мы морскую пехоту?
- Высадим, если побережье за нас, и не высадим, если оно нам враждебно. Иной раз надо, чтобы война влямывалась в двери, а другой раз полезнее, чтобы она проскальзывала в щелку. Гражданская война должна держать про запас отмычку. Постараемся сделать все, что возможно.
- Но главное — вождь. Скажите, Ла Вьевиль, что вы думаете о Дъези?— задумчиво спросил Буабертло.
- О младшем?
- Да.
- В качестве военачальника?
- Да.
- Он тоже годен лишь для регулярных действий и открытого боя. А здешние дебри признают только крестьянина.
- Следовательно, придется вам довольствоваться генералами Стоффле и Кателино.
- Подумав с минуту, Ла Вьевиль сказал:
- Тут нужен принц. Французский принц, принц крови. Настоящий принц.
- Почему же? Недаром говорится: раз принц...
- Значит, трус. Знаю, капитан. Но все равно принц необходим, хотя бы для того, чтобы поразить воображение этого мужичья.
- Но, дорогой шевалье, принцы что-то не спешат.
- Обойдемся и без них.
- Дю Буабертло машинально потер ладонью лоб, словно это помогало пробиться наружу мысли.
- Что ж, придется испытать нашего генерала,— произнес он.

— Во всяком случае, он настоящий вельможа.
— Значит, по-вашему, он подойдет?
— Если только окажется хорош,— ответил Ла Вьевиль.

— То есть свиреп,— уточнил дю Буабертло.

Граф и шевалье переглянулись.

— Господин дю Буабертло! Вы сказали сейчас нужное слово. Свиреп — именно это нам и требуется. Наша война не ведает жалости. Настал час кровопролитий. Цареубийцы отрубили голову Людовику Шестнадцатому, мы четвертуем цареубийц. Да, нам нужен генерал, генерал Палач. В Анжу и в Верхнем Пуату командиры играют в добряков, по уши увязли в великодушии, и толку никакого. А в Марэ и в Ретце командиры жестоки, и все идет отлично. Только потому, что Шаретт безжалостен, он держится против Паррена. Гиена против гиены.

Буабертло не успел ответить. Последние слова Ла Вьевила заглушил отчаянный крик, сопровождаемый шумом, непохожим на все существующие шумы. Крики и шум доносились с нижней палубы.

Капитан и помощник бросились туда, но не смогли пробиться. Орудийная прислуга в ужасе лезла наверх по трапу.

Произошло нечто ужасное.

IV

Tormentum belli ¹

Одна из каронад, входящих в состав батареи,— двадцатичетырехфунтовое орудие,— сорвалась с цепей.

Не может быть на море катастрофы грознее. И не может быть бедствия ужаснее для военного судна, идущего полным ходом в открытое море.

Пушка, освободившаяся от оков, в мгновение ока превращается в некоего сказочного зверя. Мертвая вещь становится чудовищем. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с бильярдным шаром, кренится в ритм бортовой качки, ныряет в ритм качки килевой, бросается вперед, откатывается назад, замирает на

¹ Орудие войны (лат.).

месте и, словно подумав с минуту, вновь приходит в движение; подобно стреле, она проносится от борта к борту корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, убивает, рушит. Это таран, который бьет в стену как ему заблагорассудится, к тому же — таран бронзовый, а стена деревянная. Это освобождает себя материя, это как бы мстит человеку его извечный раб, будто вся злоба, что живет в «неодушевленных», как мы говорим, предметах, разом вырывается наружу; это она, слепая материя, потеряв терпение, берет невиданный реванш, и нет ничего беспощаднее, чем буйство вещественного мира. Эта осатаневшая глыба вдруг приобретает гибкость пантеры; она тяжеловесна, как слон, проворна, как мышь, неумолима, как взмах топора, изменчива, как морская зыбь, неожиданна, как зигзаг молнии, глуха, как могильный склеп. Весу в ней десять тысяч фунтов, а скачет она с легкостью детского мяча. Вихревое круговращение и резкие повороты под прямым углом. Что делать? Как с ней справиться? Буря утихнет, циклон пронесется мимо, ветер уляжется, взамен сломанной мачты вырастет новая, пробойну, куда хлещет вода, задраят, пламя потушат, но как обуздать этого бронзового хищника? Как к нему подступить? Можно лаской уговорить свирепого пса, можно ошеломить быка, усыпить удава, обратить в бегство тигра, смягчить гнев льва; но все бессильно против этого чудовища — против сорвавшейся с цепей пушки. Убить вы ее не можете — она и так мертва; и в то же время она живет. Живет своей зловещей жизнью, которую в нее вдохнула бесконечность. Пол ей не опора, он лишь подбрасывает ее. Ее раскачивает корабль, корабль раскачивают волны, а волны раскачивает ветер. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Она сама во власти корабля, волн, ветра, у них заимствует она свое наводящее ужас бытие. Как разъять звенья в этой цепи? Как обуздать этот чудовищный механизм катастрофы? Как предугадать кривую бега, повороты, резкие остановки, внезапные удары? Каждый такой удар по борту может стать причиной крушения. Как разгадать хитрости каронады? Ведь это словно выпущенный из жерла снаряд, который заупрямился, задумал что-то свое и ежесекундно меняет данное ему первоначально направление. Как же остановить то, к чему опасно прибли-

зиться? Страшное орудие ярится, бросается напролом, отступает, разит налево, разит направо, бежит, проносится мимо, пугает все расчеты, сметает все препятствия, давит людей, как мух. И трагизм положения усугубляется еще тем, что пол ни на минуту не остается в покое. Как вести бой на наклонной плоскости, которая норовит ускользнуть из-под ваших ног? Представьте, что в чреве судна заточена молния, ищущая выхода, гром, гремящий в минуту землетрясения.

Через секунду весь экипаж был на ногах. Виновником происшествия оказался канонир, который небрежно завинтил гайку пушечной цепи и не закрепил как следует четыре колеса; вследствие этого подушка ездila по раме, станок расшатался, и в конце концов брюк ослаб. Пушка неустойчиво держалась на лафете, ибо канат лопнул. В ту пору еще не вошел в употребление постоянный брюк, тормозящий откат орудия. В ставень порта ударила волна, плохо прикрепленная каронада откатилась, порвав цепь, и грозно двинулась по нижней палубе.

Чтобы лучше представить себе это удивительное скольжение, представьте себе дождевую каплю, скатывающуюся по оконному стеклу.

В ту минуту, когда лопнула цепь, все канониры находились при батарее. Кучками по несколько человек или в одиночку они выполняли ту работу, которая требуется от каждого моряка в предвидении боевой тревоги. Повинуясь килевой качке, каронада ворвалась в толпу людей и первым же ударом убила четырех человек, потом, послушная боковой качке, отпрянула, перерезала пополам пятую жертву и сбила с лафета одно из орудий левого борта. Вот почему на верхней палубе Буабертло и Ла Вьевиль услышали такой отчаянный крик. Вся прислуга бросилась к трапу. Батарея сразу опустела.

Огромное орудие осталось одно. Осталось на свободе. Оно стало само себе господином, а также господином всего корабля. Оно могло сделать с ним все, что заблагорассудится. Экипаж «Клеймора», с улыбкой встречавший вражеские ядра, задрожал от страха. Невозможно передать ужас, охвативший все судно.

Капитан дю Буабертло и его помощник Ла Вьевиль — два отважных воина — остановились на верхней ступеньке трапа и, побледнев как полотно, молча смот-

рели вниз, не решаясь действовать. Вдруг кто-то, отстранив их резким движением локтя, стал спускаться на батарейную палубу.

Это был Мужик, тот самый пассажир, о котором они говорили за минуту до происшествия.

Добравшись до последней ступеньки трапа, он тоже остановился.

V

Vis et vir ¹

Пушка беспрепятственно разгуливала по нижней палубе. Невольно приходила на мысль ожившая колесница Апокалипсиса. Фонарь, раскачивавшийся под одним из бимсов, еще усугублял фантастичность этой картины головокружительной сменой света и тени. Пушка то попадала в полосу света, вся ярко-черная, то скрывалась во мраке, тускло и белесо поблескивая оттуда, и вихревой бег скрадывал ее очертания.

Каронада продолжала расправляться с кораблем. Она разбила еще четыре орудия и в двух местах повредила обшивку корабля, к счастью, выше ватерлинии, но при шквальном ветре в пробоины могла хлынуть вода. С какой-то неестественной яростью обрушивалась каронада на корпус судна, тимберсы еще держались, так как изогнутое дерево обладает редкой прочностью, но даже и они начали трещать под ударами исполинской дубины, которая била во все стороны одновременно, являя собой образ удивительной вездесущности. Даже дробинка, которую трясут в пустой бутылке, не выписывает таких нелепых и стремительных кривых. Четыре колеса каронады многократно прошли по телам убитых ею людей, рассекли их на части, измололи, искромсали на десятки кусков, и куски перекатывались по нижней палубе; казалось, мертвые головы вопят; ручейки крови то и дело меняли свое направление в зависимости от качки. Внутренняя обшивка корвета, поврежденная во многих местах, начинала поддаваться. Все судно сверху донизу наполнял дьявольский грохот.

Капитан быстро обрел свое обычное хладнокровие, и по его приказанию через люк стали швырять вниз все,

¹ Сила и мужество (лат.).

что могло задержать или хотя бы замедлить бешеный бег каронады,— матрасы, койки, запасные паруса, бухты тросов, матросские мешки и кипы с фальшивыми ассигнатами, которыми были завалены все трюмы корвета,— эта подлая выдумка англичан считалась допустимым приемом войны.

Но какую пользу могло принести все это тряпье? Ведь никто не решался спуститься и разместить, как следовало, сброшенные вниз предметы! И через несколько минут всю нижнюю палубу усеяли словно обрывки корпии.

Море волновалось ровно настолько, чтобы усугубить размеры бедствия. Сильная буря пришлось бы кстати: налетевший ураган мог бы перевернуть пушку колесами вверх, а тогда уже укротить ее не составило бы труда.

Тем временем разрушения становились все серьезнее. Уже треснули и надломились мачты, которые, опираясь о киль корабля, проходят через все палубы, наподобие толстых и круглых колонн. Под судорожными ударами пушки фок-мачта дала трещину и начала поддаваться грот-мачта. Батарея пришла в полное расстройство. Десять орудий из тридцати выбыли из строя; с каждой минутой увеличивалось число пробоев в обшивке корвета, и он дал течь.

Старик пассажир застыл на нижней ступеньке трапа, словно каменное изваяние. Суровым взглядом следил он за разрушениями. Но не двигался с места. Казалось, немислимо сделать даже шаг по батарейной палубе.

Каждый поворот непокорной каронады приближал гибель судна. Еще минута, другая — и кораблекрушение неминуемо.

Нужно было или погибнуть, или не медля ни мгновения предотвратить катастрофу, что-то предпринять. Но что?

Да, неутомимый боец эта пушка!

Требовалось остановить эту обезумевшую глыбу металла.

Требовалось схватить на лету эту молнию.

Требовалось обуздать этот шквал.

Буабертло обратился к Ла Вьевиллю:

— Вы верите в бога, шевалье?

Ла Вьевиль ответил:

— Да. Нет. Иногда верю.

— Во время бури?

— Да. И в такие вот минуты — тоже.

— Вы правы, только бог может нас спасти, — промолвил Буабертло.

Все молча следили за лязгающей и гремящей каронадой.

Волны били в борт корабля, — на каждый удар пушки море отвечало ударом. Словно два молота состязались в силе.

Вдруг на этой неприступной арене, где на свободе металась пушка, появился человек с металлическим брусом в руках. Это был виновник катастрофы, канонир, повинный в небрежности, приведшей к бедствию, хозяин каронады. Сотворив зло, он решил его исправить. Зажав в одной руке ганшпуг, а в другой — конец с затяжной петлей, он ловко соскочил через люк прямо на нижнюю палубу.

И вот начался страшный поединок — зрелище поистине титаническое: борьба пушки со своим канониром, битва материи и разума, бой неодушевленного предмета с человеком.

Человек притаился в углу, держа наготове ганшпуг и конец; прислонившись спиной к тимберсу, прочно стоя на крепких, словно стальных, ногах, смертельно бледный, трагически спокойный, точно вросший в палубу, он ждал.

Он ждал, чтобы пушка пронеслась мимо него.

Канонир знал свою каронаду, и, как ему казалось, она также должна его знать. Долгое время прожил он с нею рядом. Десятки раз вкладывал он руку ей в пасть! Пушка была зверем, но зверем ручным. И он заговорил с нею, словно подзывая собаку. «Иди, иди сюда», — повторял он. Может быть, он даже любил ее.

Казалось, он желал, чтобы она подошла к нему.

Но подойти к нему — значило пойти на него. И тогда — он погиб. Как избежать смерти под ее колесами? Вот в чем заключалась вся трудность. Присутствующие, оцепенев от ужаса, не спускали глаз с канонира. В груди у каждого спирало дыхание, и, быть может, только старик пассажир — мрачный секундант ужасного поединка — дышал ровно, как всегда.

Его тоже могла раздавить пушка. Но он даже не пошевелился.

Под их ногами слепая стихия сама руководила боем.

В ту минуту, когда канонир, решив вступить в грозную рукопашную схватку, бросил вызов своей каронаде, морское волнение случайно затихло, и каронада на миг остановилась, как бы в раздумье. «Поди ко мне», — говорил ей человек. И пушка будто прислушивалась к его словам.

Вдруг она ринулась на человека. Человек отпрянул и избежал удара.

Завязалась борьба. Неслыханная борьба. Хрупкая плоть схватилась с неуязвимым металлом. Человек-укротитель пошел на бронзового зверя. На одной стороне — сила, на другой — душа.

Битва происходила в полумраке. Это было как смутное видение, как чудо.

Душа; как ни странно, но, казалось, что у пушки тоже была душа; правда, душа, исполненная ненависти и злобы. Незрячая бронза точно обладала парой глаз. И словно подстерегала человека. Можно было подумать, что у этой махины имелись свои коварные замыслы. Она тоже ждала своего часа. Какое-то небывало огромное насекомое из металла было наделено сатанинской волей. Временами этот гигантский кузнечик, подпрыгнув, задевал низкий потолок палубы, потом прядал на все четыре колеса — так тигр после прыжка опускается на все четыре лапы — и кидался в погоню за человеком. А человек, изворотливый, проворный, ловкий, скользил ужом, стараясь избежать удара молнии. Ему удавалось уклониться от опасных встреч, но удары, предназначенные канониру, доставались кораблю, и разрушение продолжалось.

За пушкой волочился обрывок порванной цепи. Цепь непонятным образом обмоталась вокруг винта казенной части. Один конец цепи оказался закрепленным на лафете, а другой, свободный конец вращался как бешеный вокруг пушки, отчего прыжки ее становились еще страшнее. Винт держал этот обрывок зажатый, словно в кулаке, каждый удар тарана-пушки сопровождался ударом бича-цепи; вокруг пушки крутился неудержимый вихрь, будто железная плеть в медной длани. Битва от этого становилась еще опаснее.

И все же человек боролся. Минутами не пушка нападала на человека, а человек переходил в наступление:

он крался вдоль борта, держа в руке брус и конец троса, но пушка словно разгадывала его замысел и, почуяв засаду, ускользала. А человек неумолимо следовал за ней.

Так не могло длиться вечно. Пушка вдруг точно решила: «Довольно! Пора кончать!» — и остановилась. Зрители поняли, что развязка близится. Каронада застыла на мгновение, как бы в нерешительности, и вдруг приняла жестокое решение, ибо в глазах всех она стала мыслящим существом. Она вдруг бросилась на канонира. Канонир ловко увернулся от удара, пропустил ее мимо себя и, смеясь, крикнул вслед: «Что, не вышло?» В ярости пушка подбила еще одну из каронад левого борта, затем снова, как пущенная из невидимой пращи, метнулась к правому борту, но человеку вновь удалось избежать опасности. Зато рухнули под ее мощным ударом еще три каронады; потом, будто слепая, не зная, на что еще решиться, она повернулась и покатила назад, подсекла форштевень и пробила борт в носу корвета. Человек, ища защиты, укрылся возле трапа, в нескольких шагах от старика секунданта. Канонир держал наготове свой брус. Пушка, очевидно, заметила его маневр и, даже не дав себе труда повернуться, ринулась задом на человека, быстрая, как взмах топора. Человек, прижавшийся к трапу, был обречен. Все присутствующие испустили громкий крик.

Но старик пассажир, стоявший до этой минуты, как каменное изваяние, вдруг бросился, опередив соперничающих в быстроте человека и металл. Он схватил тук с фальшивыми ассигнатами и, пренебрегая опасностью, ловко бросил его между колес каронады. Это движение, которое могло стоить ему жизни, решило исход битвы; даже человек, в совершенстве усвоивший все приемы, которые предписываются Дюрозелем в его книге *Служба при судовых орудиях*, и тот не мог бы действовать более точно и умело.

Брошенный тук сыграл роль стопора. Незаметный камешек предотвращает падение глыбы, веточка иной раз задерживает лавину. Каронаду пошатнуло. Канонир воспользовался этой грозной заминкой и всадил брус между спицами одного из задних колес. Пушка замерла на месте.

Она накренилась. Действуя брусом, как рычагом, человек налег всей своей тяжестью на свободный конец.

Машина тяжело перевернулась, прогудев на прощание, как рухнувший с колокольни колокол, а человек, обливаясь потом, забросил затяжную петлю на глотку поверженной к его ногам бездыханной бронзе.

Все было кончено. Победителем вышел человек. Муравей одолел мастодонта, пигмей полонил громы небесные.

Солдаты и матросы захлопали в ладоши.

Весь экипаж бросился к орудию с тросами и цепями, и в мгновение ока его принятозили.

Канонир склонился перед пассажиром.

— Сударь,— сказал он,— вы спасли мне жизнь.

Но старик снова замкнулся в своем невозмутимом спокойствии и ничего не ответил.

VI

На чаше весов

Победил человек, но с тем же основанием можно было сказать, что победила и пушка. Правда, непосредственная опасность кораблекрушения миновала, но, однако ж, корвет еще не был спасен. Вряд ли представлялось возможным исправить нанесенные повреждения. В борту насчитывалось пять пробоин, при этом самая большая — в носовой части судна; из тридцати каронад двадцать лежали на лафетах мертвой грудой металла. Да и сама укрошенная и вновь посаженная на цепь пушка тоже вышла из строя: ее подъемный винт был погнут, из-за чего стала невозможной точная наводка. Батарея теперь состояла всего из девяти действующих орудий. В трюм набралась вода. Необходимо было принять срочные меры для спасения корабля и пустить в ход насосы.

Нижняя палуба, доступная теперь для осмотра, являла собой поистине плачевное зрелище. Разъяренный слон и тот не мог бы так изломать свою клетку.

Как ни важно было для корвета пройти незамеченным, еще важнее было предотвратить неминуемое крушение. Пришлось осветить палубу, прикрепив фонари к борту.

Пока длилась трагическая борьба, от исхода которой зависела жизнь и смерть экипажа, никто не обращал внимания на то, что творилось в море. Тем временем

сгустился туман, погода резко переменилась, ветер свободно играл кораблем; выйдя из-под прикрытия Джерсея и Гернсея, судно отклонилось от курса и оказалось значительно южнее, чем следовало; теперь корвет находился лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Огромные валы лобзали зияющие раны корабля — опасная ласка! Баюкающая зыбь таила в себе опасность. Слабый ветер переходил в штормовой. Нахмурившийся горизонт сулил шторм, а быть может, и ураган. Взор различал в потемках лишь три-четыре ближайших гребня волн.

Пока весь экипаж спешно исправлял наиболее серьезные повреждения на нижней палубе, пока заделывали пробойны, расставляли по местам уцелевшие орудия, старик пассажир выбрался на верхнюю палубу.

Он стоял неподвижно, прислонившись к грот-мачте.

Погруженный в свои думы, он не замечал движения, начавшегося на судне. Шевалье Ла Вьевиль приказал солдатам морской пехоты выстроиться в две шеренги по обе стороны грот-мачты; услышав свисток боцмана, матросы, рассыпавшиеся по реям, бросили работу и застыли на местах.

Граф дю Буабертло подошел к пассажиру.

Вслед за капитаном шагал какой-то человек в порванной одежде, растерянный, задыхающийся, однако вид у него был довольный.

То был канонир, который только что весьма кстати показал себя искусным укротителем чудовища и одолел пушку.

Граф отдал старику в крестьянской одежде честь и произнес:

— Господин генерал, вот он.

Канонир стоял по уставу навывыжку, опустив глаза.

Граф дю Буабертло добавил:

— Генерал, не считаете ли вы, что командиры должны отметить чем-нибудь поступок этого человека?

— Считаю,— сказал старец.

— Соболаговолите отдать соответствующие распоряжения,— продолжал дю Буабертло.

— Отдайте сами. Ведь вы капитан.

— А вы генерал,— возразил дю Буабертло.

Старик бросил на канонира быстрый взгляд.

— Поди сюда,— приказал он.

Канонир сделал шаг вперед.

Старик повернулся к графу дю Буабертло, снял с груди капитана крест Святого Людовика и прикрепил его к куртке канонира.

— Ур-ра! — прокричали матросы.

Солдаты морской пехоты взяли на караул.

Но старый пассажир, указав пальцем на сиявшего от счастья канонира, добавил:

— А теперь расстрелять его.

Радостные клики смолкли, уступив место оцепенению.

Тогда среди воцарившейся мертвой тишины раздался громкий голос старика:

— Из-за небрежности одного человека судну грозит опасность. Кто знает, удастся ли спасти его от крушения. Быть в открытом море — значит быть лицом к лицу с врагом. Корабль в плавании подобен армии в бою. Буря притаилась, но это не значит, что ее нет. Море — засада. Смертной казни заслуживает тот, кто допустил оплошность перед лицом врага. Всякая оплошность непоправима. Мужество достойно вознаграждения, а небрежность достойна кары.

Эти слова падали в тишине медленно и веско, с той неумолимой размеренностью, с какой топор удар за ударом вонзается в ствол дуба.

Властно взглянув на солдат, старик добавил:

— Выполняйте приказ.

Человек, на лацкане куртки которого блестел крест Святого Людовика, потупил голову.

По знаку графа дю Буабертло два матроса спустились на нижнюю палубу и принесли оттуда морской саван; корабельный священник, который с момента прибытия на судно не выходил из кают-компания, где он читал молитвы, шел за ними следом; сержант вызвал из рядов двенадцать человек и построил их по шестеро в две шеренги, канонир молча стал между ними. Священник, держа распятие в руке, выступил вперед и подошел к канониру.

— Шагом марш, — скомандовал сержант.

Взвод медленно двинулся к носу корабля. Два матроса, несшие саван, замыкали шествие.

Гнетущее безмолвие воцарилось на корвете. Слышались только далекие завывания бури.

Через несколько мгновений раздался залп, блеснуло во мраке огнь выстрелов, потом все смолкло, и лишь всплеск воды, принявшей труп в свое лоно, нарушил тишину.

Старик пассажир по-прежнему стоял в раздумье, прислонясь к грот-мачте и скрестив на груди руки.

Буабертло указал на него пальцем и, обращаясь к Ла Вьевиллю, вполголоса произнес:

— Отныне у Вандей есть глава.

VII

Кто ставит парус, ставит все на карту

Но какая участь ожидала корвет?

Тучи, еще с вечера льнувшие к волнам, теперь почти слились с водой и заслонили весь горизонт, окутав море плотной завесой. Всюду туман. Даже для неповрежденного корабля такое положение чревато опасностями.

К туману присоединилось волнение на море.

На корвете не теряли зря времени; судно постарались облегчить, выбросив за борт все, что удалось собрать после разгрома, учиненного каронадой,— поврежденные орудия, разбитые лафеты, смятые или оторванные тимберсы, бесформенные обломки дерева и металла; орудийные порты открыли и, приставив к ним доски, опустили в бушующее море искалеченные трупы, завернутые в парусину.

Море становилось все своенравнее. Не то чтобы неминуемо должна была разразиться буря; наоборот, казалось, где-то далеко за горизонтом стихает ураган и шквал пронесется севернее; но по-прежнему высоко вздымались валы, верный признак неровного дна, и не такому израненному судну, как «Клеймор», было устоять против напора волн; любая волна повыше грозила гибелью.

Гакуаль задумчиво стоял у руля.

Бестрепетно смотреть в лицо опасности — таков обычай капитанов.

Ла Вьевиль, человек, не терявший веселости даже в беде, подошел к Гакуалю.

— Ну что, лоцман,— сказал он,— ураган, как видно, не состоялся. Как ни тужился,чихнуть не смог. Теперь

мы выкарабкаемся. Ветер, конечно, будет. Но не более того.

— Где ветер, там и волна,— серьезно заметил Гакуаль.

Ни улыбки, ни уныния — таков уж истинный моряк. Смысл его слов вселял беспокойство. Судно, давшее течь, боится волны: в мгновение ока могут наполниться водой трюмы. Как бы желая придать больше веса своему предсказанию, Гакуаль слегка нахмурил брови. Должно быть, в душе он считал, что после трагического происшествия с пушкой и канониром Ла Вьевиль слишком рано заговорил в таком небрежном, даже легкомысленном тоне. Есть слова, приносящие в плавании беду. У моря свои тайны, и кто знает, что у него на уме. С ним нужно быть начеку.

Ла Вьевиль почувствовал, что надо переменить тон.

— Где мы сейчас, лоцман? — спросил он серьезно.

— В руже божией,— ответил лоцман.

Лоцман — хозяин на корабле; не следует ему мешать действовать, а иногда не следует и перечить.

Впрочем, лоцманская братия немногоречива. И Ла Вьевиль счел за благо отойти прочь.

Ла Вьевиль задал вопрос лоцману — ответ ему дал сам горизонт.

Море вдруг очистилось.

Пелена тумана, цеплявшегося за волны, разодралась, темное взбаламученное море до самого небосклона стало доступно глазу, и вот что увидел экипаж «Клеймора» в предрассветных сумерках.

Облака, словно крыша, закрывали небо, но они теперь не касались поверхности вод, восток прочертила бледная полоска, предвестница близкой зари, и точно такая же полоска появилась на западе, где заходила луна. И оба этих белесых просвета, блеснувшие друг против друга, узенькими, тускло светящимися ленточками протянулись между хмурившимся морем и сумрачным небом.

На фоне этих белесых полосок прямо и недвижно вырисовывались черные силуэты.

На западе, освещенном заходящей луной, высоко вздымались три скалы, похожие на кельтские дольмены.

На востоке, на бледном предрассветном горизонте, виднелись восемь парусных судов, выстроенных в боевом

порядке, и в самом их расположении чувствовался грозный умысел.

Три скалы были вершиною рифа; восемь парусов — французской эскадрой.

Итак, позади лежал Менкье, риф, пользующийся у моряков недоброй славой, впереди ждала французская эскадра. На западе — морская пучина, на востоке — кровавая резня; кораблекрушение или битва — иного выбора не было.

Для борьбы против рифа корвет располагал лишь продырявленным корпусом, пришедшими в негодность снастями и расшатанными в основании мачтами; для боя в его распоряжении были девять уцелевших орудий вместо тридцати прежних, к тому же самые опытные канониры погибли.

Заря чуть брезжила на горизонте, и вокруг корвета по-прежнему лежала ночная мгла. Еще не скоро суждено было ей рассеяться, особенно теперь, когда густые тучи поднялись высоко, затянув все небо, похожее на нескрушимый купол.

Ветер, уносивший вдаль последние клочья тумана, гнал корабль прямо на Менкье.

Потрепанный и полуразрушенный корвет почти не слушался руля, он уже не скользил по поверхности вод, а нырял и, подгоняемый волной, покорно отдавался ее воле.

Менкье — зловеший риф — в те времена представлял собой еще большую опасность, чем в наши дни. Море — неутомимый пыльщик — срезало теперь большинство башен этой естественной цитадели над бездной; очертания скал и сейчас еще меняются, ведь не случайно по-французски слово «волна» имеет второй смысл — «лезвие»; каждый морской прибой равносителен надрезу пилы. В те времена наскочить на Менкье — значило погибнуть.

А восемь кораблей были той самой эскадрой Канкаля, что прославилась впоследствии под командованием капитана Дюшэна, которого Лекиньо окрестил «Отцом Дюшэном».

Положение становилось критическим. Пока буйствовала сорвавшаяся с цепи каронада, корвет незаметно сбился с курса и был теперь ближе к Гранвилю, чем к Сен-Мало. Если даже судно не утратило бы плавучести

и могло бы продвигаться, скалы Менкье все равно преграждали обратный путь на Джерсей, а вражеская эскадра преграждала путь во Францию.

Впрочем, буря так и не разыгралась. Зато, как и предсказал лоцман, разыгралась волна. Сердитый ветер гнал по морю крупные валы, угрюмо перекатывая их над неровным дном.

Море никогда сразу не выдает человеку своих намерений. Эта бездна способна на все — даже на крючковительство. Можно подумать, что оно способно сутяжничать: оно наступает и отступает, оно щедро на посулы и легко отрекается от них, оно подготавливает шквал и отменяет его, оно заманивает в бездну и не разверзает бездны, оно грозит с севера, а наносит удар с юга. Всю ночь «Клеймор» шел в тумане под угрозой урагана; море отказалось от своего первоначального замысла, но отказалось весьма жестоко: посулив бурю, оно преподнесло вместо нее скалы. То есть заменило один вид катастрофы другим.

И к угрозе гибели на скалах присоединялась другая: быть уничтоженным в бою. Один враг споспешествовал другому.

Ла Вьевиль вдруг беспечно рассмеялся:

— Здесь кораблекрушение — там бой. С обеих сторон шах и мат.

VIII

9 = 380

«Клеймор» являл собой жалкое подобие былого корвета.

В мертвенном рассеянном свете, в черной гряде туч, в зыбкой дымке на горизонте, в загадочно морщившихся морских валах — во всем чувствовалась торжественность гробницы. Лишь ветер, злобно завывая, нарушал тишину. Катастрофа вставала из бездны во всем своем величии. Она подымалась в личине призрака, а не с открытым забралом бойца. Ничто не мелькнуло среди рифов, ничто не шелохнулось на кораблях. Всеобъемлющая, всеподавляющая тишина. Неужели все это действительность, а не просто мираж, проносящийся над водами? Только в легендах бывают такие видения, и

корвет очутился между демоном-рифом и флотилией-призраком.

Граф дю Буабертло вполголоса отдал необходимые распоряжения Ла Вьевиллю, который спустился на батарею, а сам капитан взял подзорную трубу и встал рядом с лоцманом.

Все усилия Гакуалья были направлены на то, чтобы идти против волны, ибо, если бы ветер и волны обрушились на судно сбоку, оно неминуемо бы опрокинулось.

— Лоцман! Где мы находимся?— спросил капитан.

— У Менкье.

— А с какой стороны?

— С самой опасной.

— Каково здесь дно?

— Сплошь камень.

— Можно стать на шпринг?

— Умереть всегда можно.

Капитан направил подзорную трубу на запад и оглядел скалы Менкье, потом повернулся к востоку и стал рассматривать видневшиеся на горизонте паруса.

А лоцман продолжал вполголоса, словно говоря сам с собой:

— Вот они, Менкье. Здесь отдыхает и белая чайка, летящая из Голландии, и большой поморник.

Капитан молча считал паруса.

Восемь кораблей, построенных в боевом порядке, действительно виднелись на востоке, силуэты их грозно рисовались над водой. В центре можно было различить высокий корпус трехпалубного судна.

— Можете узнать отсюда эти корабли? — спросил капитан лоцмана.

— Еще бы не узнать,— ответил Гакуаль.

— Что это там такое?

— Эскадра.

— Французская?

— Чертова!

Воцарилось минутное молчание. Капитан заговорил первым:

— Что же, вся их эскадра здесь?

— Нет, не вся.

И впрямь, 2 апреля Валазе доложил Конвенту, что в водах Ламанша крейсируют десять фрегатов и шесть

линейных кораблей. Но капитан только сейчас вспомнил об этом.

— Ваша правда,— сказал он.— Ведь в их эскадре — шестнадцать судов. А здесь только восемь.

— Остальные,— заявил Гакуаль,— кружат возле берега и шпионят.

Не отрывая глаз от подзорной трубы, капитан пробормотал:

— Трехпалубный корабль, два фрегата первого ранга, пять второго ранга.

— Но я тоже,— пробормотал сквозь зубы Гакуаль,— за ними шпионил.

— Недурные суда,— похвалил капитан.— Я сам командовал такими.

— А я,— заметил Гакуаль,— видел их все, как вас вижу. Как-нибудь одно от другого отличу. С закрытыми глазами узнаю.

Капитан передал подзорную трубу лоцману.

— Лоцман! А вы узнаете это судно, вон то, с высокими бортами?

— Как же, капитан. Это «Кот д'Ор».

— Переименовали, значит,— сказал капитан.— Раньше оно называлось «Бургундские штаты». Совсем новенькое судно. Сто двадцать восемь орудий.

Он достал из кармана записную книжку и карандаш и вывел на страничке цифру «128».

— Лоцман! — произнес он затем.— А как называется судно по левую сторону от «Кот д'Ор»?

— Это «Опытный».

— Фрегат первого ранга. Пятьдесят два орудия. Два месяца тому назад его вооружили в Бресте.

И капитан записал в своей книжечке цифру «52».

— Лоцман! — продолжал он.— А второе судно слева?

— «Дриада».

— Фрегат первого ранга. Сорок восемнадцатифунтовых орудий. Ходил раньше в Индию. Славное у него боевое прошлое.

Под цифрой «52» он написал цифру «40», потом поднял голову и спросил:

— Ну, а направо?

— Там, капитан, фрегаты второго ранга. Всего пять.

— Какое судно идет первым?

— «Решительный».

— Тридцать два восемнадцатифунтовых орудия. А второй?

— «Ришмон».

— То же вооружение. Дальше?

— «Атеист»¹.

— Странное название! С таким опасно пускаться в плавание. Дальше?

— «Калипсо».

— Дальше?

— «Ловец».

— Итого пять фрегатов по тридцать два орудия каждый.

Под прежними цифрами капитан подписал цифру «160».

— Лоцман! — сказал он. — Вы действительно узнаете их с первого взгляда.

— А вы, капитан, — возразил Гакуаль, — знаете их наизубок. Узнать — полдела, вот знать — это поважнее.

Капитан пристально глядел на листок записной книжки и, бормоча что-то про себя, подсчитывал:

— Сто двадцать восемь, пятьдесят два, сорок, сто шестьдесят.

В эту минуту на палубу поднялся Ла Вьевиль.

— Шевалье! — крикнул ему капитан. — Против нас триста восемьдесят орудий.

— Превосходно, — ответил Ла Вьевиль.

— Вы осмотрели батарею, — сколько у нас орудий, годных к бою?

— Девять.

— Превосходно! — в тон ему ответил дю Буабертло.

Он взял из рук лоцмана подзорную трубу и стал всматриваться в горизонт.

Восемь черных безмолвных кораблей, казалось, не двигаются, и все же они неотвратимо увеличивались в размерах.

Они незаметно приближались.

Ла Вьевиль отдал честь.

— Капитан! — заговорил он. — Разрешите доложить. С первой же минуты я не доверял нашему «Клеймору».

¹ Архивы морского министерства. Состояние флота на март 1793 года. (Прим. автора.)

И нет, по-моему, ничего хуже, как внезапно очутиться на корабле, к которому ты не привык или который тебя не любит. Судно английское — значит, для нас, французов, предательское. Тому доказательство хотя бы эта чертова каронада, я все осмотрел. Якоря крепкие. Металл хороший, без раковин. Якорные кольца надежные. Канаты превосходные, отдавать их легко, длина обычная — сто двадцать сажень. Ядер и прочего достаточно. Шесть канониров убито. На каждую пушку приходится сто семьдесят один выстрел.

— Только потому, что у нас всего девять орудий,— пробормотал капитан.

Он навел подзорную трубу на горизонт. Эскадра по-прежнему медленно приближалась.

У каронады есть свои преимущества — она требует всего трех человек прислуги; но у нее есть и недостатки — стреляет она на меньшее расстояние и поражает цель не так метко, как обычная пушка. Следовательно, надо было подпустить вражескую эскадру на расстояние выстрела из каронады.

Капитан вполголоса отдавал приказания. На корвете воцарилась тишина. Боевой тревоги не пробили, но все готовились к бою. Корвет был в такой же мере не пригоден к битве с людьми, как и со стихиями. Однако все, что можно сделать, было сделано, дабы придать боеспособность этой тени военного корабля. Команда собрала у роствра на шкафуте все запасные перлины и кабельтовы, чтобы в случае необходимости укрепить рангоут. Привели в порядок лазарет. По тогдашним морским обычаям, на судне устанавливались защитные заслоны, что предохраняло от пуль, но отнюдь не от ядер. Принесли даже прибор для проверки калибра ядер, хотя сейчас уже вряд ли стоило проверять калибровку; но никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Каждый матрос получил подсумок и засунул за пояс пару пистолетов и кинжал. Койки были скатаны, пушки наведены, заряжены мушкетоны, разложены по местам топоры и кошки; крьюйт-камера и бомбовый погреб открыты. Люди заняли свои места. Все делалось бесшумно, словно у одра умирающего. Делалось быстро и мрачно.

Корвет поставили на якоря. На «Клейморе», как и на фрегатах, имелось шесть якорей. Отдали все шесть: становой якорь бросили с носа, стоп-анкер — с кормы, один

из больших верпов — со стороны открытого моря, другой — со стороны бурунов, второй становой якорь — со штирборта, запасной якорь — с бакборта.

Девять уцелевших каронад построили в боевом порядке, все девять на одном борту, в сторону врага.

Эскадра так же бесшумно закончила свой маневр. Восемь судов выстроились полукругом, хорду которого составляли скалы Менкье. «Клеймор», запертый в этом полукольце и к тому же связанный собственными якорями, был почти прижат к скалам, другими словами, — прижат к стене.

Так свора гончих насаждает на кабана, не подавая голоса, но уже ощерив зубы.

Казалось, противники выжидали, кто начнет первым. Канониры «Клеймора» припали к орудиям.

Буабертло повернулся к Ла Вьевилю.

— Я хотел бы открыть огонь первым, — произнес он.

— Прихоть кокетки; — ответил Ла Вьевиль.

IX

Некто спасается

Старик пассажир не покидал палубы, невозмутимо наблюдая за всем происходящим.

Буабертло подошел к нему.

— Сударь! Все приготовления к бою закончены. Мы прикованы к нашей могиле, и мы не отступимся. Мы — пленники вражеской эскадры или рифов. Сдаться врагу или погибнуть в бурунах — другого выбора нет. У нас единственный выход — смерть. Лучше вступить в бой, нежели просто пойти ко дну. Я предпочитаю картечь пучине; умирать — так в огне, а не в воде. Впрочем, смерть — это наше дело, но отнюдь не ваше. На вас пал выбор королевских особ, на вас возложена высокая миссия — возглавить вандейскую войну. Не будет вас, возможно, не станет и монархии; следовательно, вы должны жить. Наша честь повелевает нам остаться на судне, а ваша — покинуть судно. Посему, генерал, вам придется немедленно расстаться с корветом. Я дам вам провожатого и шлюпку. Попытайтесь добраться до берега окольным путем. Еще не рассвело. Волна сейчас высокая, на

море темно, вам удастся проскользнуть незамеченным. В иных случаях бегство с поля боя равносильно победе.

Старик утвердительно склонил свое суровое чело.

Граф дю Буабертло возвысил голос.

— Солдаты и матросы! — крикнул он.

Все вдруг разом замерло на корабле от палубы до трюма, все лица повернулись к капитану.

А он продолжал:

— Человек, который находится на борту корвета, — представитель короля. Его жизнь доверили нам, и наш долг спасти его. Он нужен престолу Франции; ввиду отсутствия принца он будет, — по крайней мере, мы надеемся, что будет, — главой Вандеи. Это старый, опытный военачальник. Он должен был высадиться на французский берег вместе с нами, теперь он высадится без нас. Спасти голову — значит все спасти.

— Верно! — троекратно прокричали солдаты и матросы.

Капитан продолжал:

— И его тоже подстерегают впереди немалые опасности. Достичь берега не так-то легко. Для того чтобы пуститься сейчас, во время прилива, в открытое море, нужна большая лодка, но ускользнуть от вражеской эскадры можно лишь на маленькой шлюпке. Необходимо достичь берега в каком-нибудь безопасном месте и желательно ближе к Фужеру, чем к Кутансу. Для этой цели требуется искусный моряк, добрый гребец и добрый пловец, уроженец здешних мест, знающий каждый проливчик. Еще не рассвело, и шлюпка может отвалить от корвета незамеченной. Да и порохового дыму будет достаточно. Благодаря своим малым размерам шлюпка не боится мелководья. Там, где не проберется пантера, пролезет хорек. Для нас с вами нет выхода, для него выход есть. Шлюпка на веслах может уйти далеко, ее с неприятельских кораблей не заметят, да и мы тем временем постараемся отвлечь внимание врага. Ну как, верно?

— Верно! — снова троекратно прокричали присутствующие.

— Дорога каждая минута, — продолжал капитан. — Есть добровольцы?

Какой-то матрос, неразличимый в полумраке, шагнул вперед из рядов и произнес:

— Есть!

Спасется ли?

Через несколько минут маленькая шлюпка, называемая в матросском обиходе «гичка» и находящаяся в личном распоряжении капитана, отвалила от корабля. В гичке сидели два человека, старик пассажир — на руле, а матрос-доброволец на веслах. Ночной мрак еще не рассеялся. Следуя приказу капитана, матрос яростно греб по направлению к скалам Менкье. Иного пути не было.

На дно гички сбросили с борта корвета немного провианта: мешок с галетами, копченое мясо и бочонок с пресной водой.

В ту самую минуту, когда гичка отошла от корвета, не унывавший даже перед лицом смерти Ла Вьевиль перегнулся через ахтерштевень и напутствовал отъезжающих такой шуткой:

— На такой гичке спастись, конечно, легко, а утонуть и того легче.

— Сударь,— прервал его лощман,— сейчас не до смеха.

Через минуту гичка была уже далеко от корвета. Ветер и волна помогали гребцу, и гичка быстро неслась в темноте, временами исчезая между высоких валов.

Над необъятными морскими просторами нависло зловещее ожидание.

Вдруг безгласный ропот океана прорезал чей-то голос, которому почти нечеловеческую силу придавал металлический рупор,— казалось, что сквозь медную маску вещает античный лицедей.

Это говорил капитан дю Буабертло.

— Королевские матросы! — возгласил он.— Подымите на грот-мачте белый стяг. Сейчас перед нами в последний раз встанет солнце.

И с корвета грянул оглушительный пушечный выстрел.

— Да здравствует король! — закричали матросы.

Тогда с горизонта раздался чей-то другой крик, нескончаемый, отдаленный, неясный и все же четко донесший слова:

— Да здравствует Республика!

И грохот, подобный одновременному удару трехсот громов, отдался в глубинах океана.

Борьба начиналась.

Дым и огонь заволокли море.

Там, где в воду падало ядро, по всему гребню волны вскипали крошечные фонтанчики пены.

«Клеймор» изрыгал пламя, пушки его били по восьми вражеским кораблям. В то же время эскадра, расположившись полумесяцем вокруг корвета, открыла огонь из всех своих батарей. Небосвод запылал. Словно вулкан вырос из глубин моря. Ветер яростно свивал и скручивал этот гигантский пурпур битвы, то открывая, то застилая корабли-призраки. А впереди на фоне багряного неба четко вырисовывался темный остов «Клеймора».

Видно было, как на верхушке грот-мачты полощется по ветру стяг с королевскими лилиями.

Два человека, сидевшие в гичке, молчали.

Треугольное основание рифа Менкье, образующее под водой как бы усеченный конус, занимает большее пространство, чем весь остров Джерсей; море покрывает его, но до края плоской вершины даже в штормовые дни не доходят волны прибоя; на северо-восток тянется гряда из шести огромных утесов, выстроившихся по прямой линии, — издали они кажутся высокой стеной, обвалившейся в двух-трех местах. Через узенький пролив, отделяющий главную вершину от шести утесов, можно пробраться только на лодке, да и то имеющей мелкую осадку. По ту сторону пролива снова было открытое море.

Матрос, которому доверили судьбу гички, направил ее как раз в этот пролив. Таким образом, скалы Менкье защищали беглецов от превратностей боя. Гребец искусно вел гичку через узенький пролив, ловко избегая подводных камней с правого и левого борта; скалы заслоняли теперь картину боя. По мере удаления от «Клеймора» все бледнее становились вспышки пламени на горизонте, все глуше доносился бешеный вой орудий; но по упорству взрывов можно было судить, что корвет держится стойко и что там твердо решили с толком истратить все сто семьдесят ядер.

Вскоре гичка очутилась в открытом море, вдали от рифов, вдали от боя, вне предела досягаемости ядер.

Мало-помалу поверхность вод посветлела: сверкающие полосы, на которые еще набегала ночная мгла, становились шире, взбаламученная пена рассыпалась свето-

выми фонтанчиками, по граням волн пробегали белесоватые отсветы. Вставал день.

Гичка ушла далеко от врага, но впереди ее поджидала еще более грозная опасность. Она спаслась от картечи, но в любую минуту ее могли поглотить волны. Неприметная скорлупка пустилась в плавание без парусов, без мачт, без компаса, и вся сила этой молекулы, отдавшей себя на милость двух колоссов — океана и бури,— заключалась лишь в паре весел.

Тогда, среди бескрайних просторов моря, среди окружающего безмолвия, человек, сидевший на веслах, вскинул бледное в предрассветном сумраке лицо и, пристально посмотрев на человека, сидевшего на корме, произнес:

— Я брат канонира, которого расстреляли по вашему приказу.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГАЛЬМАЛО

I

Слово есть глагол

Старик медленно поднял голову.

Тому, кто произнес эти слова, было около тридцати лет. На лбу его лежала полоска морского загара; страшен был его взгляд — в простодушных глазах крестьянина светилась пронизательность матроса. В мощных руках весла казались двумя перышками. Вид у него был незлобивый.

За матросским поясом рядом с четками виднелся кинжал и пара пистолетов.

— Кто вы? — переспросил старик.

— Я же вам сказал.

— Что вы от меня хотите?

Матрос бросил весла, скрестил на груди руки и ответил:

— Я хочу вас убить.

— Как вам угодно, — бросил старик.

Матрос возвысил голос:

— Готовьтесь!

— К чему готовиться?

— К смерти.

— Почему? — спросил старик.

Воцарилось молчание. Матрос словно опешил от такого вопроса. Потом он промолвил:

— Я же сказал, что хочу вас убить.

— А я спрашиваю, почему?

Глаза матроса метнули молнию.

— Потому что вы убили моего брата.

Старик спокойно продолжал:

- Но ведь до этого я спас ему жизнь.
- Верно. Сначала спасли, а потом убили.
- Нет, не я его убил.
- А кто же?
- Его вина.

Матрос, разинув рот, смотрел на старика, потом его брови снова грозно нахмурились.

— Как вас зовут? — спросил старик.

— Зовут меня Гальмало; впрочем, вам вовсе не обязательно знать имя того, кто вас убьет!

Как раз в эту минуту над горизонтом поднялось солнце. Первый луч упал прямо на лицо матроса, подчеркнув дикарскую выразительность черт. Старик внимательно вглядывался в своего спутника.

Пушки все еще продолжали грохотать, но теперь стреляли беспорядочно, судорожно, как в агонии. Клубы дыма заволокли все небо. Гичка, не управляемая гребцом, неслась по прихоти волн.

Матрос выхватил из-за пояса пистолет и взял в левую руку четки.

Старец поднялся во весь свой рост.

— Ты веришь в бога? — спросил он.

— Отче наш, иже еси на небесех, — пробормотал матрос и осенил себя крестным знаменiem.

— Есть у тебя мать?

— Есть.

Он снова осенил себя крестным знаменiem. Потом добавил:

— Решено. Даю вам всего одну минуту, ваша светлость.

И взвел курок.

— Почему ты так меня величаешь?

— Потому что вы сеньор. Это сразу видно.

— А у тебя-то самого есть сеньор?

— Есть. Да еще какой важный. Как же без сеньора жить!

— А где он сейчас?

— Не знаю. Уехал куда-то из наших краев. Звали его маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, принц Бретани; он всем Семилесьем владел. Хотя я его никогда в глаза не видал, а все-таки он мой хозяин.

— Ну, а если бы ты его увидел, повиновался бы ты ему или нет?

— Разумеется. Я ведь не нехристь какой-нибудь, как же не повиноваться. Первым делом мы должны повиноваться господу богу, потом королю, потому что король вроде бога на земле, потом сеньору, потому что сеньор для нас почти что король. Да все это к делу не относится, вы убили моего брата, значит, я должен убить вас.

Старик ответил:

— Я убил твоего брата и тем сделал доброе дело.

Матрос судорожно сжал рукоятку пистолета.

— Готовьтесь! — сказал он.

— Я готов, — молвил старик и спокойно спросил:

— А где же священник?

Матрос удивленно поднял на него глаза:

— Священник?

— Да, священник. Я ведь позвал к твоему брату священника. Стало быть, и ты должен позвать.

— Где же я его возьму? — ответил матрос и добавил: — Да разве в открытом море найдешь священника?

Издали доносились отрывистые отзвуки боя, становившиеся все тише.

— У тех, кто умирает там, есть священник, — произнес старик.

— Что верно, то верно, — пробормотал матрос. — У них есть кюре.

Старик спокойно заметил:

— Вот ты хочешь погубить мою душу, а ведь это грех.

Матрос в раздумье потупил голову.

— И губя мою душу, — продолжал старик, — ты тем самым губишь и свою душу. Слушай. Мне жаль тебя. Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. А я выполнил свой долг — я сначала спас жизнь твоему брату, потом отнял у него жизнь, и сейчас я выполняю свой долг, стараясь спасти твою душу. Подумай хорошенько. Ведь дело идет о тебе самом. Слышишь выстрелы? Там на корвете в эту минуту гибнут люди, там они стонут в предсмертных муках, там мужья, которые никогда больше не увидят своих жен, там отцы, которые никогда больше не увидят своих детей, братья, которые, подобно тебе, не увидят своего брата. А по чьей вине? По вине твоего брата. Ты ведь веруешь в бога? Так знай же, что бог страдает сейчас, бог страдает в лице

своего сына, христианнейшего короля Франции, который еще дитя, подобно дитяти Иисусу, и который ныне заточен в тюрьме Тампль; бог страдает в лице своей святой бретонской церкви; бог страдает в поруганных своих храмах, в уничтоженных священных книгах, в оскверненных домах молитвы; бог страдает в лице убиенных пастырей церкви. А мы — что мы делали на том судне, которое сейчас гибнет? Мы старались помочь господу. Если бы брат твой был добрый слуга, если бы он нес свою службу, как положено человеку разумному и полезному для нашего общего дела, не произошло бы несчастья с каронадой, корвет не был бы искалечен, не сбился бы с пути, миновал бы эту гибельную эскадру и мы бы сейчас — а ведь нас немало, — мы, доблестные воины на суше и на море, счастливо высадились бы на французский берег и с мечом в руке, с гордо развевающимся белым стягом радостно помогали бы отважным вандейским крестьянам спасти Францию, спасти короля, спасти бога. Вот что бы мы делали, вот что мы могли бы сделать. И вот то, что я, единственный оставшийся в живых, буду делать. Но ты противишься этому. В борьбе нечестивцев против священников, в борьбе цареубийц против короля, в борьбе Сатаны против бога ты держишь руку Сатаны. Брат твой был первым пособником дьявола, а ты второй его пособник. Он начал дурное дело, а ты довершишь начатое. Ты вместе с цареубийцами против престола, ты вместе с нечестивцами против церкви. Ты хочешь лишить господа бога последнего его оплота. Ведь если я, я, представляющий ныне короля, не попаду на французскую землю, по-прежнему будут полыхать в огне хижины, стенать осиротевшие семьи, проливать свою кровь священнослужители, страдать Бретань, король пребудет в темнице, а Иисус Христос в скорби. И кто тому будет виной? Ты. Что ж, действуй, если желаешь. Я надеялся на тебя. Видно, я ошибся. Ах да, верно, ты прав, я убил твоего брата. Твой брат оказался храбрцом, и я наградил его; он оказался виноватым, и я его покарал. Он изменил своему долгу, но я не изменил своему. И, приведись еще раз, я поступил бы точно так же. Клянусь святой Анной Орейской, что смотрит на нас с небес: так же, как я приказал расстрелять твоего брата, я приказал бы расстрелять и своего собственного сына. А теперь ты волен поступать как знаешь. Да, мне жаль

тебя. Ты солгал своему командиру. У тебя, христианина, нет веры, у тебя, бретонца, нет чести; я был вверен твоей честности, а оказался во власти твоей измены; ты преподнесешь мою смерть тем, кому обещал сохранить мою жизнь. А знаешь ли, кого ты губишь? Самого себя. Ты отнимаешь мою жизнь у короля и вручаешь свою бессмертную душу Сатане. Что ж, твори свое черное дело, твори. Недорого же ты ценишь свое место в раю. По твоей милости победит дьявол, по твоей милости падут храмы, по твоей милости безбожники будут по-прежнему переливать колокола на пушки, и то, что должно служить спасению души человека, обратится в смертоносное орудие против него. И вот сейчас, в ту самую минуту, когда я с тобой говорю, медь колокола, который благовестил на твоих крестинах, может быть, сразила твою родную мать. Что ж, торопись, помогай дьяволу, не медли. Да, я покарал твоего брата, но знай: я лишь орудие в руке божьей. Ого, да ты, как видно, берешься судить пути господни, ты, чего доброго, будешь осуждать и гром, который разит с небес! Он падет на твою голову, несчастный. Берегись! А уверен ли ты, что я нахожусь в состоянии благодати? Не знаешь? Ну что ж, действуй. Делай то, что задумал. Ты волен ввергнуть меня, да и самого себя в ад. В твоей власти погубить в геенне огненной наши бессмертные души. Но отвечать перед богом будешь ты один. Здесь нет никого, кроме нас с тобой да морской пучины. Что ж, начинай, действуй, рази. Я стар, а ты молод, я без оружия, а ты вооружен, так убей же меня!

Старик говорил, стоя во весь рост, и голос его покрывал рокот моря; в лад с ударами волны о днище гички высокая фигура попадала то в полосу света, то в полосу тени; матрос побледнел как мертвец, крупные капли пота струились по его лбу, он дрожал как осиновый лист и время от времени благоговейно подносил к губам свои четки; когда старик замолк, он отбросил в сторону пистолет и упал на колени.

— Смилуйтесь, ваша светлость! Простите меня! — вскричал он. — Сам господь глаголет вашими устами. Я виновен. И брат мой был виновен. Я все сделаю, лишь бы искупить его вину. Располагайте мною. Приказывайте. Я ваш слуга.

— Прощаю тебя, — произнес старец.

Мужицкая память стоит знаний полководца

Провизия, сброшенная с корабля на дно гички, очень пригодилась.

После вынужденного блуждания по морю беглецам удалось добраться до берега лишь на вторые сутки. Ночь они провели в море; правда, ночь выдалась на слазу, пожалуй, даже слишком лунная, особенно если требуется проскользнуть незамеченным.

Сначала гичке пришлось отойти от французского берега и держаться открытого моря в направлении острова Джерсей.

Беглецы слышали последний залп разбитого врагами корвета, разнесшийся вокруг, подобно предсмертному рычанию льва, которого настигла в лесной чаще пуля охотника. Затем на море спустилась тишина.

Корвет «Клеймор» принял ту же смерть, что и «Мститель», но слава обошла его. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны.

Гальмало оказался на редкость искусным моряком. Он совершал чудеса ловкости и сообразительности; он, как по вдохновению, мастерски провел гичку сквозь рифы и валы, под самым носом у неприятеля. Ветер утих, и плавание теперь не представляло больших опасностей.

Гальмало благополучно миновал скалы Менкье, обогнул Бычий Вал и укрылся в мелкой бухточке с северной его стороны, чтобы немного передохнуть, потом снова взял курс на юг, пробрался между Гранвилем и островами Шосси, благополучно обойдя дозорные посты у Шосси и у Гранвиля. Так он достиг бухты Сен-Мишель, что уже само по себе было весьма дерзким маневром, ввиду близости Канкаля, где стояла на якоре французская эскадра.

К вечеру второго дня, приблизительно за час до захода солнца, гичка обогнула гору Сен-Мишель и пристала к берегу, куда не ступает нога человека, ибо смельчака подстерегает здесь опасность увязнуть в зыбучих песках.

К счастью, в это время начался прилив.

Гальмало подгреб как можно ближе к берегу, ощупал веслом песок и, убедившись, что он способен выдержать

тяжесть человека, врезался носом гички в берег и выско-
чил первым.

Вслед за ним вышел старик и внимательно оглядел-
ся вокруг.

— Ваша светлость, — сказал Гальмало, — мы с вами
находимся в устье реки Куэнон. Вон там, по левому бор-
ту, — Бовуар, а по правому — Гюинь. А вон там, прямо,
видите колокольню? Так это Ардевон.

Старик нагнулся, взял одну галету, сунул ее в карман
и приказал Гальмало:

— Остальное возьми себе.

Гальмало положил в мешок остаток мяса и остаток
галет и взвалил мешок себе на плечо. Затем он спросил:

— Ваша светлость, мне вести вас или идти за вами?

— Ни то, ни другое.

Гальмало удивленно уставился на старика.

А тот продолжал:

— Сейчас, Гальмало, нам придется расстаться. Два
человека — это ничто. Тут нужно идти или с тысяча-
ным отрядом, или одному...

Не dokonчив фразы, старик вытащил из кармана зе-
леный шелковый бант, напоминавший кокарду, с выши-
той посредине золотой лилией.

— Ты читать умеешь? — спросил он.

— Нет.

— Тем лучше. Грамота — лишняя обуза. А память
у тебя хорошая?

— Да.

— Отлично. Слушай меня, Гальмало. Ты пойдешь
вправо, а я влево; я направлюсь в сторону Фужера, а
ты в сторону Базужа. Не бросай мешок, так легче сой-
дешь за крестьянина. Оружие спрячь. Вырежь себе в ку-
стах палку. Пробирайся через рожь, она нынче высока.
Крадись вдоль изгородей. Минуй околицы, иди на пря-
мик полями. Прохожих сторонись. Избегай проезжих до-
рог и мостов. Не вздумай заходить в Понторсон. Ах да,
путь тебе преграждает река Куэнон. Как ты через нее
переберешься?

— Вплавь.

— Отлично. Впрочем, ее можно перейти и вброд.
Знаешь, где брод?

— Между Ансе и Вьевилем.

— Отлично. Теперь я вижу, что ты действительно местный уроженец.

— Но ведь ночь на дворе. Где же вы будете ночевать, ваша светлость?

— Обо мне не беспокойся. А вот ты где думаешь переночевать?

— Где-нибудь во мхах. Ведь до матросской службы я был крестьянином.

— Да, кстати, выбрось матросскую шапку, а то тебя по ней опознают. А крестьянский головной убор ты достанешь без труда.

— Ну, за этим дело не станет. Любой рыбак с охотой продаст мне свою шапку.

— Отлично. А теперь слушай. Ты здешние места знаешь?

— Все до единого.

— По всей округе?

— От Нуармутье до самого Лавала.

— А как они называются, тоже знаешь?

— И леса знаю, и как они называются, знаю, все знаю.

— И все запомнишь, что я тебе скажу?

— Запомню.

— Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько лье ты можешь пройти за день?

— Десять, пятнадцать, восемнадцать, а если понадобится — и все двадцать.

— Может понадобится. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Обэнский лес.

— Тот, что рядом с Ламбалем?

— Да. На краю оврага, который идет между Сен-Бием и Пледелиаком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься. И никого не увидишь.

— А все равно там кто-нибудь да есть. Знаю, знаю.

— Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы?

Гальмало надул щеки, повернулся лицом к морю и несколько раз ухнул по-совиному.

Казалось, что звук идет из самой ночной мглы. Непонятно похожее и зловещее уханье.

— Отлично, — произнес старик. — Молодец.

И протянул Гальмало зеленый шелковый бант.

— Вот моя кокарда. Возьми ее. Не важно, что имени моего здесь никто еще не знает. Вполне достаточно этой

кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тамплъ сама королева.

Гальмало преклонил колена. С священным трепетом он принял из рук старца вышитую кокарду и приблизил ее было к губам, но тут же отдернул руку, убоявшись такого святотатства.

— Смею ли я? — спросил он.

— Конечно, ведь целуешь же ты распятие!

Гальмало коснулся губами золотой лилии.

— Встань, — сказал старик.

Гальмало встал с колен и спрятал бант на груди.

А старик продолжал:

— Слушай меня хорошенько. Запомни пароль: «Подымайтесь. Будьте беспощадны». Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек.

— Из ямы, что под корнями. Знаю.

— Человек этот некто Планшено, его прозвали также «Королевское Сердце». Покажешь ему кокарду. Он все поймет. Затем пойдешь в Астиллейский лес по любой дороге, которая тебе приглянется; там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускетон, от этого не жди пощады. Скажи ему, что я его помню и люблю и что пора ему подымать все окрестные приходы. Оттуда иди в Куэсбонский лес, он всего в одном лье от Плэрмеля. Там прокричишь по-совиному, из берлоги выйдет человек, — это господин Тюо, сенешаль Плэрмеля, бывший член так называемого Учредительного собрания, но придерживается он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэсбон, который принадлежит маркизу Гюэ, ныне эмигрировавшему. Местность там пересеченная, овраги, перелески — словом, самая для нас подходящая. Господин Тюо — человек решительный и умный. Оттуда пойдешь в Сент-Уэн-ле-Туа и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англозский лес, увидишь там Гитте, его зовут также Святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курменилем, зятем старика Гупиль де Префельна, который возглавляет в Аржантане якобинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя. Ларуари написал несколько строк, и это его погубило. Оттуда ты

пойдешь в Ружфейский лес, где встретишь Миэлета, он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест.

— У нас такой шест зовется жердиной.

— Ты умеешь ею пользоваться?

— Еще бы, неужто я не бретонец, неужто я не крестьянин? Да у нас жердь первый друг; с нею и руки крепче, и ноги длиннее.

— Другими словами, с нею враг слабее и расстояние короче. Хорошая штука.

— Как-то раз я со своей жердиной отбилсЯ от трех жандармов, а у них были сабли.

— Когда же это?

— Лет десять тому назад.

— При короле?

— Ну да.

— Значит, ты сражался еще при короле?

— Ну да.

— Против кого сражался?

— Хоть убей, не знаю. Я соль тайком привозил.

— Отлично.

— У нас это называлось бороться против соляных налогов. Да разве соляные налоги и король одно и то же?

— Да. Нет. Впрочем, тебе это знать не обязательно.

— Прошу прощения, ваша светлость, что осмелился задать вашей светлости вопрос!

— Хорошо, слушай дальше. Ты знаешь Ла Тург?

— Это я-то? Да я сам оттуда.

— Как так?

— Да так, я ведь родом из Паринье.

— Правильно. Тург рядом с Паринье.

— Знаю ли я Тург — да это же родовой замок моих господ, большой такой, с круглой башней. Старое здание отделено от нового крепкой железной дверью, ее и пушкой не прошибешь. В новом замке хранится книга про святого Варфоломея, многие нарочно приезжали в Тург поглядеть эту книжку. А лягушек там вокруг — пропасть. Сколько я их мальчишкой переловил! И подземный ход там тоже есть. Может, кроме меня, никто этого хода и не знает.

— Какой подземный ход? О чем это ты? Ничего не понимаю.

— Старинный ход, его еще в те времена прорыли, когда враг осадил Тург. Те, что сидели в замке, спас-

лись только потому, что прошли подземным ходом, а ход выводит прямо в лес.

— Такой подземный ход в замке Жюпельер, это верно, есть ход в замке Юнодэй и в Кампеонской башне тоже, но в Турге никакого хода нет.

— Да есть, ваша светлость, есть. Вот о тех ходах, что вы, ваша светлость, сейчас говорили, никогда не слышивал. Знаю только один ход — в Турге, потому что я сам из тех краев. Кроме меня, об этом ходе ни одна живая душа не знает. Да никто о нем никогда и не заикался. Запрещено было, потому что этим ходом пользовались во время войн, которые вел господин Роган. Мой отец знал про этот ход и мне показал. И я знаю, как войти и как выйти. Из лесу я могу попасть прямо в башню, а из башни прямо в лес. И никто меня не увидит. Враг ворвется, а там пусто. Вот он какой наш Тург. Я-то его хорошо знаю.

Старик стоял в раздумье.

— Да нет, ты, должно быть, ошибаешься, будь в Турге тайный ход, мне было бы это известно.

— Уж поверьте совести, ваша светлость. Там еще камень такой есть, который поворачивается.

— Так бы и сказал! Ведь вы, мужики, во что только не верите; у вас камни вращаются, камни поют, камни ночью на водопой к ручью ходят. Словом, басни и басни.

— Да я сам видел, как этот камень поворачивается.

— А другие сами слышали, как камни поют. Слушай, приятель, Тург — хорошая, надежная крепость, и защищать ее легко; но тот, кто станет рассчитывать на ваши подземные ходы, тот жестоко просчитается.

— Да как же, ваша светлость...

Старик нетерпеливо пожал плечами:

— Не будем зря терять время. Поговорим о делах.

Слова эти были произнесены столь решительным тоном, что Гальмало перестал настаивать на существовании подземного хода.

Старик продолжал:

— Итак, слушай дальше. Из Ружфе пойдешь в лес Моншеврие, где верховодит Бенедиктус, командир Двенадцати. Он тоже славный малый. Читает *Benedicite*, пока по его приказу расстреливают людей. На войне не до сантиментов. Из Моншеврие пойдешь...

Он не dokonчил фразы.

— Да, я забыл о деньгах.

Старик вынул из кармана кошелек и бумажник и протянул их Гальмало.

— В этом бумажнике тридцать тысяч франков в ассигнатах, что составляет приблизительно три ливра десять су; надо сказать, ассигнаты фальшивые, впрочем, и настоящие стоят не дороже; а в кошельке — смотри хорошенько — сто золотых. Отдаю тебе все, что у меня есть. Мне теперь ничего не нужно. Впрочем, это и к лучшему, по крайней мере, при мне не найдут денег. Продолжаю: из Моншеврие пойдешь в Антрэн и встретишься там с господином Фротте; из Антрэна иди в Жюпельер, где увидишься с господином Рошкоттом; из Жюпельера отправляйся в Нуарье, где повидашь аббата Бодуэна. Запомнил?

— Как «Отче наш».

— Встретишься с господином Дюбуа-Ги в Сен-Брисан-Когль, с господином Тюрпэном в Моранне, — Моранн — это укрепленный городок, — а в Шато-Гонтье отыщешь принца Тальмона.

— Неужели принц станет со мной говорить?

— Я же с тобой говорю.

Гальмало почтительно обнажил голову.

— Тебе повсюду обеспечен хороший прием, раз у тебя лилия, вышитая руками самой королевы. Не забудь еще вот что: выбирай такие места, где живут горцы и мужики потемнее. Переоденься. Это нетрудно. Республиканцы — разини: в синем мундире и треуголке с трехцветной кокардой можно беспрепятственно пройти всюду. Сейчас нет ни полков, ни единой формы; армии и те не имеют номеров, каждый напяливает на себя любое тряпье, по своему вкусу. Непременно побывай в Сен-Мерве. Там повидайся с Голье, или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь Парне, увидишь там мужиков, у которых лица почернели от солнца. Они кладут в ружье двойную порцию пороха, да еще добавляют песку, чтобы выстрел получился погромче; что ж, молодцы. Скажешь им одно: убивать, убивать и убивать. Пойдешь в лагерь «Черная корова», который расположен на возвышенности в Шарнийском лесу, потом в «Овсяный лагерь», потом в «Зеленый», а оттуда в «Муравейник». Пойдешь в Гран-Бордаж, который иначе зовется О-де-Пре, там живет вдова, на дочери кото-

рой женился некто Третон, прозванный «Англичанином». Гран-Бордаж — один из приходов Келена. Непременно загляни к Эпине ле Шеврейль, Силле ле Гильом, к Парану и ко всем тем, что прячутся по лесам. Словом, друзей ты заведешь немало и пошлешь их к границе Верхнего и Нижнего Мэна; ты встретишься с Жаном Третоном в приходе Вэж, с Беспечальным — в Биньоне, с Шамбором — в Бошампе, с братьями Корбэн — в Мэзонселле и — в Сен-Жан-сюр-Эрв с Бесстрашным Малышом. Иначе его зовут Бурдуазо. Затем, пройдя повсюду с лозунгом: «Подымайтесь, будьте беспощадны», ты присоединишься к великой армии, армии католической и королевской, где бы она ни находилась. Ты увидишься с господами д'Эльбе, Лескюром, Ларошжакелем — словом, со всеми вождями, которые еще будут живы к тому времени. Предъявляй им мою кокарду. Они сразу поймут, в чем дело. Ты простой матрос, но ведь и Кателино тоже простой ломовик. Скажешь им от моего имени следующее: «Пришел час вести разом две войны: войну большую и войну малую. От большой войны большой шум, от малой большие хлопоты. Вандейская война — хороша, шуанская — хуже, но в годину гражданских междоусобиц худшее подчас становится лучшим. Война тем лучше, чем больше зла она причиняет».

Старик помолчал немного.

— Я не зря тебе все это говорю, Гальмало. Пусть ты не поймешь моих слов, зато поймешь суть дела. Я поверид в тебя, когда ты так искусно вел гичку; геометрии ты не знаешь, зато мореход ты умелый, а кто умеет править лодкой, тот сумеет направлять мятеж; и уж по одному тому, как ты ловко управлялся в море, обходя все его ловушки, я понял, что ты отлично справишься с моими поручениями. Продолжаю. Всем вандейским вождям ты передашь вот что, — конечно, не этими самыми словами, а как сумеешь, и то слава богу: я отдаю все преимущества войне лесной перед войной в открытом поле; я вовсе не намерен подставлять сотысянную крестьянскую армию под картечь и пушки господина Карно; через месяц, а то и раньше, мне необходимо иметь пятьсот тысяч надежных убийц, залегших в лесной чаще. Республиканская армия — это моя дичь. Браконьерствовать — значит воевать. Я — стратег лесных зарослей. Опять трудное слово — не важно, если ты его и не пой-

мешь, улови хотя бы смысл: действовать беспощадно, и засады, всюду и везде засады! Я хочу, чтобы дрались пошуански, а не по-вандейски. Добавишь еще, что англичане с нами. Зажмем республику меж двух огней. Европа нам помогает. Покончим с революцией. Короли ведут с ней войну королей, а мы поведем с ней войну прихожан. Скажи им это. Понял ты меня?

— Понял. Все надо предать огню и мечу.

— Совершенно верно.

— Не щадить.

— Никого. Совершенно верно.

— Всех обойду.

— Только будь осторожен. В этом краю не так-то уж трудно стать мертвецом.

— А что мне смерть? Тот, кто делает свой первый шаг, возможно, снашивает свои последние башмаки.

— Ты храбрый малый.

— А если меня спросят, как вас звать, ваша светлость?

— Пока еще никто не должен знать моего имени. Скажешь, что не знаешь, и не солжешь.

— А где я увижусь с вами, ваша светлость?

— Там, где я буду.

— А как я узнаю?

— Все узнают, и ты тоже. Через неделю всюду говорят обо мне, я первый подам вам всем пример, я отошшу за короля и нашу веру, и ты догадаешься, что говорят обо мне.

— Понимаю.

— Смотри, не забудь ничего.

— Будьте спокойны.

— Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя бог. Иди.

— Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду. Я скажу. Не выйду из повиновения. Передам приказ.

— Отлично.

— И если все мне удастся...

— Я награжу тебя орденом Святого Людовика.

— Как моего брата. Ну, а если мне не удастся, вы прикажете меня расстрелять?

— Как твоего брата.

— Хорошо, ваша светлость.

Старец уронил голову на грудь и вновь ушел в свои

суровые думы. Когда он вскинул глаза, никого уже не было. Лишь вдалеке смутно виднелась черная точка.

Солнце только что скрылось.

Чайки и поморники возвращались на берег; все-таки море — не родное гнездо.

В воздухе была разлита смутная тревога, предвестница наступающей ночи; лягушки пронзительно квакали, кулички со свистом взлетали с мочегин, чайки, чирки, грачи, скворцы подняли обычный вечерний гомон, звонко перекликались морские птицы, только не слышно было человеческого голоса. Ни души! Ни паруса в море, ни крестьянина в поле. Куда ни кинешь взор, всюду пустынные просторы. Огромные чертополохи вздрагивали под порывами ветра. Бесцветное сумеречное небо заливало землю мертвенным светом. Озерца, разбросанные по темной равнине, издали казались аккуратно разложенными оловянными монетками. Ветер дул с моря.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ТЕЛЬМАРШ

I

С вершины дюны

Старик подождал, пока вдали исчезнет фигура Гальмало, затем плотнее закутался в матросский плащ и двинулся в путь. Шагал он медленно, задумчиво. Он направлялся в сторону Гюина, а Гальмало тем временем пробирался к Бовуару.

Позади огромным черным треугольником возвышалась знаменитая гора Сен-Мишель, Хеопсова пирамида пустыни, именуемой океаном; у горы Сен-Мишель есть своя тиара — собор и своя броня — крепость с двумя высокими башнями, круглой и квадратной, и вся она принимает на себя тяжесть каменных церковных стен и деревенских домов.

В бухточке, лежащей у подошвы Сен-Мишель, идет непрерывное движение зыбучих песков, то и дело вырастают и рассыпаются дюны. В ту пору между Гюином и Ардевоном особенно славилась высокая дюна, исчезнувшая ныне с лица земли. Дюна эта, которую как-то в дни равноденствия до основания смыли волны, насчитывала, — что редкость для дюн, — не один век, и на вершине ее красовался каменный верстовой столб, воздвигнутый еще в XII веке в память Собора, осудившего в Авранше убийц святого Фомы Кентерберийского. Отсюда открывалась как на ладони вся округа, и путнику легче было выбрать дорогу.

Старик направился к дюне и стал взбираться на вершину.

Достигнув цели, он присел на одну из четырех тумб, стоявших у камня, служившего верстовым столбом, при-

слонился к столбу и стал внимательно изучать географическую карту, разостланную у его ног самой природой. Казалось, он силится припомнить дорогу в знакомых местах. В беспредельно огромной панораме, затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне неба.

Отчетливо были видны сбившиеся в кучу крыши одиннадцати селений и деревень; можно было различить за много лье шпилье всех колоколен, которые здесь, как и во всех прибрежных селениях, с умыслом строят значительно выше обычного: мореплаватели могут по ним, как по маяку, определять курс судна.

Через несколько минут старик, очевидно, обнаружил то, что искал в полумраке; он не отрывал теперь взора от купы деревьев, осенявших крыши и ограду мызы, затерявшейся среди перелесков и лугов; он удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая верность своей догадки: «Ага, вот оно!» — и указательным пальцем прочертил в воздухе линию — кратчайший путь между живых изгородей и нив. Время от времени он пристально вглядывался в какой-то бесформенный и неразличимый предмет, раскачивавшийся над крышей самого крупного строения фермы, и словно пытался мысленно разрешить загадку — что это такое? Однако темнота скрадывала очертания и цвет загадочного предмета; флюгером это быть не могло, раз он колыхался на ветру, а флаг водружать здесь было незачем.

Старик устал; он долго не поднимался с тумбы, отдавшись тому смутному полузабытью, которое в первую минуту охватывает утомленного путника, присевшего отдохнуть.

Есть в сутках час, который справедливо было бы называть часом безмолвия, — безмятежный час, час предвечерний. И этот час наступил. Путник вкушал блаженство этого часа, он вглядывался, он вслушивался — вслушивался в тишину. Даже у самых жестоких людей бывают минуты меланхолии. Вдруг эту тишину не то чтобы нарушили, а еще резче подчеркнули близкие голоса. Два женских голоса и детский голосок. Так иногда в ночную мглу внезапно врывается веселый перезвон колоколов. Густой кустарник скрывал говоривших, но ясно было, что они пробираются у самого подножия дюны в сторону равнины и леса. Свежие и чистые голоса легко

доходили до погруженного в свои думы старца; они звучали так явственно, что можно было расслышать каждое слово.

Женский голос произнес:

— Поторопитесь, Флешарша. Сюда, что ли, идти?

— Нет, сюда.

Два голоса, один поглубей, другой помягче, продолжали беседу:

— Как зовется та ферма, где мы сейчас стоим?

— «Соломинка».

— А это далеко?

— Минут пятнадцать ходьбы, не меньше.

— Пойдемте быстрее, тогда, может, и успеем к ужину.

— Верно. Мы и так запоздали.

— Бегом бы успели. Да ваших малышей совсем разморило. Куда же нам двоим на себе троих ребят тащить. И так вы, Флешарша, ее с рук не спускаете. А она прямо как свинец. Отняли ее, обжору, от груди, а с рук она у вас все равно не слезает. Привыкнет — сами будете жалеть. Пускай себе ходит. Эх, жалко, суп остынет.

— А какие вы мне башмаки славные подарили! Совсем впору, словно по заказу сделаны.

— Какие ни на есть, а все лучше, чем босиком шлепать.

— Прибавь шагу, Рене-Жан.

— Из-за него-то мы и опоздали. Ни одной девицы в деревне не пропустит, с каждой ему, видите ли, надо поговорить. Настоящий мужчина растет.

— А как же иначе? Ведь пятый годок пошел.

— Отвечай, Рене-Жан: почему ты разговорился с той девчонкой в деревне, а?

Детский, вернее мальчишеский, голосок ответил:

— Потому что я ее знаю.

Женский голос подхватил:

— Господи боже мой, да откуда же ты ее знаешь?

— А как же не знать,— произнес мальчик,— ведь она мне утром разных зверушек дала.

— Ну и парень! — воскликнула женщина.— Трех дней нет, как сюда прибыли, а этот клоп уже завел себе милую!

Голоса затихли вдали. Все смолкло.

II

*Aures habet et non audiet*¹

Старик сидел не шевелясь. Он не думал ни о чем, даже не грезил. Вокруг него разливался безмятежный покой: все дышало доверчивой дремой, одиночеством. На вершине дюны было еще совсем светло, зато на равнину уже спускался мрак, а лесом мрак завладел совсем. На востоке всходила луна. Сияние первых звезд пробивалось сквозь бледно-голубое в зените небо. И старик, как ни был он полон самых жестоких замыслов, растворялся душою в невыразимой благодати бесконечного. Пока это было лишь неясное просветление, схожее с надеждой, если только можно применить слово «надежда» к чаяниям гражданской войны. Сейчас ему казалось, что, счастливо избегнув козней неумолимого моря и ступив на твердую землю, он миновал все опасности. Никто не знает его имени, он один, вдалеке от врагов, он не оставил за собой следов, ибо морская гладь не хранит следов, и здесь он сейчас скрыт, никому не ведом, никто не подозревает об его присутствии. Его охватило блаженное умиротворение. Еще минута, и он спокойно уснул бы.

Глубокое безмолвие, царившее на земле и в небе, придавало незабываемую прелесть этим мирным мгновениям, случайно выпавшим на долю человека, над головой и в душе которого пронеслось столько бурь.

Слышен был только вой ветра с моря, но этот неумолчно рокошующий бас, став привычным, почти не воспринимается.

Вдруг старик вскочил на ноги.

Что-то внезапно привлекло его внимание, он впился глазами в горизонт. Его взгляд сразу приобрел сверхъестественную зоркость.

Теперь он глядел на колокольню Кормере, которая стояла в долине прямо напротив дюны. Там действительно творилось что-то странное.

На фоне неба четко вырисовывался силуэт колокольни, с дюны ясно была видна башня с островерхой крышей и квадратная, без навесов, сквозная звонница, открытая, по бретонскому обычаю, со всех четырех сторон.

¹ Имеет уши, но не услышит (лат.).

Отсюда, с дюны, казалось, что звонница то открывается, то закрывается: через ровные промежутки времени ее высокий проем то проступал белым квадратом, то заполнялся тьмою; сквозь него то виднелось, то переставало виднеться небо, свет сменялся чернотой, будто его заслоняли гигантской ладонью, а потом отводили ее с размеренностью молота, бьющего по наковальне.

Колокольня Кормере, стоявшая против дюны, находилась на расстоянии приблизительно двух лье; старик посмотрел направо, на колокольню Баге-Пикана, приютившуюся в правом углу панорамы; звонница и этой колокольни так же равномерно светлела и темнела.

Он посмотрел налево, на колокольню Таниса, и ее звонница мерно открывалась и закрывалась, как на колокольне Баге-Пикана.

Старик постепенно, одна за другой, оглядел все колокольни, видимые в округе: по левую руку — колокольни Куртиля, Пресэ, Кроллона и Круа-Авраншена; по правую руку — колокольни Ра-сюр-Куэнон, Мордре, Депа; прямо — колокольни Понторсона. Звонницы всех колоколен становились то темными, то светлыми.

Что это могло означать?

Это означало, что звонили на всех колокольнях.

Просветы потому и появлялись и исчезали, что кто-то яростно раскачивал колокола.

Что же это могло быть? По-видимому, набат.

Да, набат, неистовый набатный звон повсюду, со всех колоколен, во всех приходах, во всех деревнях. Но ничего не было слышно.

Объяснялось это дальностью расстояния, скрадывавшего звук, а также тем, что ветер дул сейчас с противоположной стороны и уносил все шумы земли куда-то вдаль, за горизонт.

Зловещая минута — круговой, бешеный трезвон колоколов и ничем не нарушаемая тишина.

Старик смотрел и слушал.

Он не слышал набата, он видел его. Странное чувство — видеть набат.

На кого же так прогневались колокола?

О чем предупреждал набат?

III

Когда бывает полезен крупный шрифт

Кого-то выслеживали.

Но кого?

Трепет охватил этого поистине железного человека.

Нет, только не его. Никто не мог догадаться о его прибытии сюда; невозможно даже предположить, что уже успели известить представителей Конвента; ведь он только что ступил на сушу. Корвет пошел ко дну раньше, чем хоть один человек из экипажа успел спастись. Да и на самом корвете только дю Буабертло и Ла Вьезиль знали его настоящее имя.

А колокола надрывались в яростном перезвоне. Он снова оглядел все колокольни и даже машинально пересчитал их, не в силах ни на чем сосредоточить мысль, отбрасывая одну догадку за другой, в том состоянии смятения чувств, когда глубочайшая уверенность вдруг сменяется пугающей неизвестностью. Но ведь бить в набат можно по разным причинам, и старик мало-помалу успокоился, твердя про себя: «В конце концов никто не знает о моем прибытии, никто не знает моего имени».

Вот уже несколько минут откуда-то сбоку и сверху доносился легкий шорох. Словно на потревоженном ветром дереве зашуршал лист. Сначала старик даже не поглядел в ту сторону, но так как шорох не смолкал, а как будто нарочно старался привлечь к себе внимание, он обернулся. Действительно, это был лист, но только лист бумаги. Ветер пытался сорвать с дорожного столба большое объявление. По всей видимости, его приклеили недавно, так как бумага еще не успела просохнуть, и ветер, играя, отогнул ее край.

Старик подымался на дюну с противоположной стороны и поэтому не заметил раньше объявления.

Он влез на тумбу, где только что спокойно отдыхал, и прихлопнул ладонью угол объявления, которое отдувало ветром. Июньские сумерки не сразу сменяет ночная мгла, и по-вечернему прозрачное небо лило свой бледный свет на вершину дюны, подножие которой уже окутала ночь; почти весь текст объявления был набран крупным шрифтом, еще различимым в наступающих потемках. Старик прочел следующее:

«Французская республика, единая и неделимая.

Мы, Приер из Марны, представитель народа при береговой Шербургской республиканской армии, приказываем: бывшего маркиза де Лантенака, виконта де Фонтенэ, именующего себя бретонским принцем, высадившего тайком на землю Франции близ Гранвиля, объявить вне закона. Голова его оценена.

Доставивший его мертвым или живым получит шестьдесят тысяч ливров. Названная сумма выплачивается не в ассигнатах, а в золоте. Один из батальонов Шербургской береговой армии незамедлительно отрядить на поимку бывшего маркиза де Лантенака. Предлагаем сельским общинам оказывать войскам всяческое содействие. Дано в Гранвиле 2 сего июня 1793 года. Подписано

Приер из Марны».

Ниже этого имени стояла вторая подпись, набранная мелким шрифтом, и разобрать ее при угасающем свете дня не представлялось возможным.

Старик нахлобучил на глаза шляпу, закутался до самого подбородка в матросский плащ и поспешно спустился вниз. Мешкать здесь, на освещенной дюне, было просто бессмысленно.

Возможно, он и так уж слишком задержался, ведь вершина дюны была последней светлой точкой во всей округе.

Внизу темнота сразу поглотила путника, и он замедлил шаги.

Он направился в сторону фермы, следуя намеченному еще на дюне маршруту, который он, очевидно, считал наиболее безопасным.

На пути он не встретил никого. В этот час люди предпочитают сидеть по домам.

Войдя в густую заросль кустарника, старик остановился, снял плащ, вывернул куртку мехом вверх, снова накинул свой нищенский плащ, только подвязал его теперь у шеи веревочкой, и снова зашагал вперед.

Старик дошел до перекрестка двух дорог, где стоял древний каменный крест. У подножия креста смутно виднелся белый квадрат — должно быть, все то же объявление, которое он только что прочел. Старик подошел поближе.

— Куда вы идете? — послышался чей-то голос.

Старик обернулся.

По ту сторону зеленой изгороди стоял человек; ростом он был не ниже старика, годами не моложе его, волосом так же сед, только, пожалуй, рубище у него было еще более жалкое. Почти двойник.

Опираясь он на длинную палку.

— Я вас спрашиваю, куда вы идете? — продолжал незнакомец.

— Скажите прежде, где я нахожусь, — ответил старик спокойно, почти высокомерно.

Незнакомец ответил:

— Находитесь вы в сеньории Танис. Я здешний нищий, а вы здешний сеньор.

— Я?

— Да, вы маркиз де Лантенак.

IV

Нищерброд

Маркиз де Лантенак — впредь мы так и будем его именовать — строго вымолвил:

— Что ж! Идите и сообщите обо мне.

Но незнакомец продолжал:

— Мы тут с вами оба дома: вы у себя в замке, а я у себя в лесу.

— Довольно. Идите. Сообщите обо мне, — повторил маркиз.

Незнакомец спросил:

— Вы, я вижу, держите путь на ферму «Соломинка». Так?

— Да.

— Не советую туда ходить.

— Почему?

— Потому что там синие.

— Сколько дней?

— Уже три дня.

— Жители фермы и деревни оказали им сопротивление?

— Какое там! Отперли перед ними все двери.

— Ах так! — сказал маркиз.

Незнакомец показал пальцем в сторону фермы, крыша которой еле виднелась из-за купы деревьев.

— Вот она, крыша, видите, господин маркиз?

— Вижу.

— А видите, что там такое наверху?

— Что-то вьется.

— Да.

— Флаг вьется.

— Трехцветный, — заключил незнакомец.

Еще с вершины дюны маркиз обратил внимание на этот предмет.

— Что это? Кажется, в набат бьют?

— Да.

— А что тому причиной?

— Вы, должно быть.

— А почему ничего не слышно?

— Ветер относит.

Незнакомец спросил:

— Объявление видели?

— Видел.

— Вас разыскивают.

Бросив беглый взгляд в сторону фермы, он до-
бавил:

— Там целый полубатальон.

— Республиканцев?

— Парижан.

— Ну что ж, — ответил маркиз, — идем

И сделал шаг по направлению к ферме.

Нищий схватил его за руку:

— Не ходите туда!

— А куда же, по-вашему, я должен идти?

— Ко мне.

Маркиз молча взглянул на нищего.

— Послушайте, господин маркиз: у меня не сказать чтобы очень богато, зато надежно. Землянка не высока, вроде погреба. Вместо кровати — сухие водоросли, вместо кровли — ветки и трава. Идемте ко мне. На ферме вас расстреляют. А у меня вы спокойно отдохнете. Вы, должно быть, устали; завтра утром синие уйдут, и можете отправляться куда вам угодно.

Маркиз по-прежнему глядел на незнакомца.

— А вы-то на чьей стороне? — спросил он. — Вы что — республиканец? Роялист?

— Я — нищий.

— Не республиканец, не роялист?

- Как-то не думал об этом.
- За короля вы или против?
- Времени не было решить.
- А что вы думаете о происходящих событиях?
- Думаю, что жить мне не на что.
- Однако же вы решили меня спасти.
- Я узнал, что вас объявили вне закона. А что такое закон, раз можно быть вне его? Никак в толк не возьму. Вот — я. Что я — вне закона? Или наоборот? Ничего не понимаю. С голоду помереть — это по закону выходит или нет?
- Вы давно умираете с голоду?
- Всю жизнь.
- И все-таки решили меня спасти?
- Да.
- Почему?
- Потому что я подумал: этому человеку еще хуже, чем мне. Я хоть имею право дышать, а он и этого права не имеет.
- Это верно. И вы хотите меня спасти?
- Конечно. Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость. Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие.
- А вы знаете, что моя голова оценена?
- Да.
- А как вы об этом узнали?
- Объявление прочел.
- Вы умеете читать?
- Умею. И писать тоже умею. Почему же я должен неграмотным скотом быть?
- Раз вы умеете читать и раз вы прочитали объявление, вы должны знать, что тот, кто меня выдаст, получит шестьдесят тысяч ливров.
- Знаю.
- И не в ассигнатах.
- Знаю, в золоте.
- А знаете ли вы, что шестьдесят тысяч — это целое состояние?
- Да.
- И следовательно, тот, кто меня выдаст, станет богачом?
- Знаю, ну и что?
- Богачом!

— Как раз я об этом и подумал. Увидел вас и сразу сообразил: тот, кто выдаст этого человека, получит шестьдесят тысяч ливров и станет богачом. Значит, придется его спрятать, да побыстрее.

Маркиз молча последовал за нищим.

Они углубились в чащу. Здесь и находилась землянка нищего. Огромный старый дуб пустил к себе человека, устроившего под его сенью свое жилье, под корнями была вырыта землянка, прикрытая сверху густыми ветвями. Землянка была темная, низкая, надежно укрытая от глаз. В ней могли поместиться двое.

— Словно я знал, что придется принимать гостя, — сказал нищий.

Такие землянки гораздо чаще попадаются в Бретани, чем принято думать, и зовутся на местном диалекте «пещерками». Так же здесь называют тайники, которые устраиваются в толще стен.

Все убранство такой пещерки обычно составляют несколько горшков, ложе из соломы или из промытых и высушенных на солнце морских водорослей, дерюга вместо одеяла, два-три светильника, наполненных животным жиром, и десяток сухих стебельков в замену спичек.

Согнувшись, почти на четвереньках, они вползли в пещерку, перерезанную толстыми корнями дуба на крохотные каморки, и уселись на кучу сухих водорослей, заменявших ложе. Меж двух корней, образовывавших узкий вход, в пещерку проникал слабый свет. Спустилась ночь, но человеческий глаз приспособляется к любому освещению и в конце концов даже в полном мраке сумеет отыскать светлую точку. Лунный луч бледным пятном расплывался у входа. В углу виднелся кувшин с водой, лепешка из гречневой муки и кучка каштанов.

— Давайте поужинаем, — предложил нищий.

Они поделили каштаны, маркиз вынул из кармана матросскую галету, они откусывали от одного куска и пили по очереди из одного кувшина.

Завязался разговор.

Маркиз заговорил первым.

— Следовательно, — спросил он, — случаются какие-нибудь события, или вовсе ничего не случается, вам все равно?

— Пожалуй, что и так. Вы — господа, вы — другое дело. Это уж ваша забота.

— Но ведь то, что сейчас происходит...

— Происходит-то наверху, — заметил нищий и добавил: — А многое происходит еще выше: вот солнце подымается, или месяц на убыль идет, или полнолуние наступит, вот это мне не все равно.

Он отхлебнул глоток из кувшина и произнес:

— Хорошая вода, свежая. А вам она по вкусу, ваша светлость?

— Как вас зовут? — спросил маркиз.

— Зовут меня Тельмарш, а кличут «Нищеврод».

— Слышал такое слово. В здешних местах так говорят.

— Нищеврод — значит нищий. И еще одно прозвище у меня есть — «Старик», — сказал он и добавил: — Вот уже сорок лет, как меня Стариком величают.

— Сорок лет! Да вы тогда были еще совсем молодым.

— Никогда я молодым не был. Вот вы, маркиз, всегда были молоды. У вас и сейчас ноги, как у двадцатилетнего, смотрите, как легко вы на дюну взобрались; а я еле двигаюсь, пройду четверть лье, и конец, из сил выбился. А ведь мы с вами однолетки; ну да у богатых против нас есть одно преимущество — каждый день обещают. А еда человека сохраняет.

Помолчав немного, нищий заговорил снова:

— Бедняки, богачи — страшное это дело. Оттого и все беды бывают. По крайней мере, так, на мой взгляд, выходит. Бедные хотят стать богатыми, а богачи не хотят стать бедными. В этом-то вся суть, по моему разумению. Я в это не вмешиваюсь. События они и есть события. Я не за кредитора и не за должника. Знаю только, что раз есть долг — надо его уплатить. Вот и все. По мне, лучше, если бы короля не убивали, а почему — сказать не могу. Мне на это возражают: «В прежние времена господа ни за что ни про что людей на сук вздергивали». Что и говорить, я своими глазами видел, как один бедняга подстрелил не в добрый час королевскую косулю, и за это его повесили, а у него осталась жена и семеро ребятишек. Так что тут надвое можно сказать.

Он помолчал и опять заговорил:

— Поверьте, никак я в толк не возьму: одни приходят, другие уходят, события разные случаются, а я все сижу на отшибе под звездами.

Тельмарш задумался, потом произнес:

— Я, видите ли, немножко костоправ, немножко лекарь, в травах разбираюсь, знаю, какая на пользу человеку идет, а здешние крестьяне заметят, что я гляжу на что-нибудь задумавшись, ну и говорят, будто я колдун. Я просто размышляю, а они считают, что мне невесть что открыто.

— Вы местный житель? — спросил маркиз.

— Всю жизнь здесь прожил.

— А меня вы, стало быть, знаете?

— Как же не знать. Последний раз я вас видел два года тому назад, в последний ваш приезд. Отсюда вы в Англию отправились. А вот сейчас заметил какого-то человека на вершине дюны. Смотрю, человек высокого роста. А высокие здесь в диковинку; в Бретани народ все низкорослый. Пригляделся получше, прочел объявление и подумал: «Гляди-ка ты!» А когда вы спустились, тут уж луна взошла, я вас сразу и признал.

— А я вас не знаю.

— Вы меня и видели и не видели.

Тельмарш-Нищеврод пояснил:

— Я-то вас видел. Прохожий и нищий по-разному друг на друга глядят.

— Стало быть, я вас и раньше встречал?

— Частенько, ведь я как бы ваш нищий. Тот нищий, что просил в конце дороги, которая ведет от вашего замка. При случае вы мне тоже подавали; но тот, кто милостыню подает, не смотрит, а тот, кто получает, все заметит, все оглядит. Нищий, говорят, тот же соглядатай. Хоть мне подчас и горько приходится, однако я стараюсь, чтобы мое соглядайство во зло никому не пошло. Я протягивал руку, вы только мою руку и видели; бросите, проходя, монету, а она мне как раз утром нужна, чтобы дотянуть до вечера и не умереть с голоду. Подчас круглые сутки маковой росинки во рту не бывает. Иной раз грош — это жизнь. Я вам обязан жизнью, а теперь только заплатил долг.

— Совершенно верно, вы меня спасли.

— Да, я вас спас, ваша светлость.— В голосе Тельмарша прозвучали торжественные ноты.— Только при одном условии.

— Каком условии?

— При том, что вы явились сюда не ради зла.

— Я явился сюда ради добра,— ответил маркиз.
— Ну, пора спать,— сказал нищий.

Они устроились рядом на ложе из водорослей. Нищий тут же заснул. А маркиз, несмотря на сильную усталость, с минуту еще думал о чем-то, потом взглянул на лежавшего с ним рядом в потемках Тельмарша и лег. Спать на нищенском ложе — значит спать прямо на голой земле; воспользовавшись этим обстоятельством, маркиз припал ухом к земле и стал слушать. До него донесся глухой шум — как известно, звук легко распространяется под землей; маркиз различил далекий перезвон колоколов.

По-прежнему били в набат.
Маркиз уснул.

V

Подписано: «Говэн»

Когда он проснулся, уже брезжил свет.

Нищий стоял не в землянке, так как в землянке невозможно было выпрямиться, а у порога своей пещерки. Он опирался на палку. Лицо его было освещено солнцем.

— Ваша светлость,— начал Тельмарш,— на колокольне Таниса уже пробило четыре часа; ветер переменялся, теперь он с суши дует. А кругом тихо, ни звука, стало быть, в набат больше не бьют. Все спокойно и на ферме и в деревне. Синие или еще спят, или уже ушли. Теперь опасности нет, разумнее всего нам с вами распрощаться. В этот час я обычно уйду из дому.— Он показал куда-то вдаль.— Вот туда я и пойду.— Затем показал в обратную сторону.— А вы вот туда идите.

И нищий важно махнул рукой на прощание.

Потом указал на остатки вчерашнего ужина:

— Если вы голодны, можете взять себе каштаны.

Спустя мгновение он уже скрылся в чаще.

Маркиз поднялся со своего ложа и пошел в направлении, указанном Тельмаршем.

Был тот восхитительный час, который в старину нормандские крестьяне именовали «птичьи пересуды». Со всех сторон доносился пересвист щеглов и воробьиное чириканье. Маркиз шагал по тропинке, по которой он шел вчера в сопровождении нищего. Он выбрался из лес-

ной чащи и направился к перекрестку дорог, где стоял каменный крест. Объявление по-прежнему было здесь, белое и даже какое-то нарядное в лучах восходящего солнца. Маркиз вспомнил, что внизу объявления имеется строчка, которую он не мог прочесть накануне, так как в темноте не разобрал мелкого шрифта. Он подошел к подножию креста. И действительно, ниже подписи «Приер из Марны», две строчки, набранные мелкими буквами, гласили:

«В случае установления личности маркиза де Лантенака он будет немедленно расстрелян». Подписано: «Командир батальона, начальник экспедиционного отряда Говэн».

— Говэн! — промолвил маркиз.

С минуту он стоял неподвижно, не отрывая глаз от объявления.

— Говэн! — повторил он.

Он зашагал вперед, потом вдруг оглянулся, посмотрел на крест, повернул обратно и прочел объявление еще раз.

Затем медленно отошел прочь. И повстречайся с ним в эту минуту прохожий, он услышал бы, как маркиз вполголоса твердит про себя: «Говэн!»

Высокий обрывистый откос дороги, по которой он шел, закрывал от него крыши фермы, оставшейся по левую руку. Путь маркиза лежал мимо крутого холма, покрытого цветущим терновником. Вершину холма венчал голый земляной выступ, именовавшийся в здешних краях «Кабанья Голова». Подножие холма густо поросло кустарником, и взгляд терялся в зеленой чаще. Листва словно вбирала в себя солнечный свет. Вся природа дышала безмятежной радостью утра.

Вдруг мирный пейзаж стал страшен. Это было как внезапное нападение из засады. Лавина диких криков и ружейных залпов внезапно обрушилась на эти леса и нивы, залитые солнцем; над фермой высоко поднялся огромный клуб дыма, пронизанный языками огня, словно запылал стог соломы. Как зловец и скор был этот переход от спокойствия к ярости, эта вспышка адского пламени на фоне розовеющей зари, внезапность этой жестокой развязки! Бой шел возле фермы «Соломинка». Маркиз остановился.

Нет человека, который в подобных обстоятельствах

не поддался бы чувству жгучего любопытства, чувству более сильному, нежели чувство самосохранения. Погибнуть — лишь бы только знать. Старик взошел на холм, у подножия которого пролегалa дорога. Пусть отсюда будет видно его, зато он увидит все. Через несколько минут он достиг Кабаньей Головы. Он огляделся по сторонам.

И впрямь там раздавались выстрелы, там разгорался пожар. Сюда доносились крики, отсюда видно было пламя. Ферма оказалась в центре какой-то непонятной катастрофы. Какой именно? Неужели «Соломинка» подверглась нападению? Но кто же напал на нее? Да и бой ли это? Вероятнее всего, это просто карательная экспедиция. Нередко синие, во исполнение революционного декрета, карали мятежные деревни и фермы, предавая их огню; чтобы другим неповадно было, они сжигали каждый хутор и каждую хижину, не сделавших в лесу завала, как от них требовалось, или же своевременно не расчистивших прохода в чаще для следования республиканской кавалерии. Совсем недавно подобная экзекуция была совершена в приходе Бургон, неподалеку от Эрне. Неужели и «Соломинка» подверглась такой каре? Даже простым глазом было видно, что среди кустарника и лесов, окружавших Танис и «Соломинку», никто не позаботился, вопреки требованию декрета, проложить стратегическую просеку. Значит, расправа обрушилась и на ферму? Уж не получили ли занявшие ферму солдаты соответствующего приказа? И уж не входит ли этот авангардный батальон в состав летучих отрядов, именуемых «адскими отрядами»?

К холму, с которого маркиз обозревал округу, со всех четырех сторон подступал густой, почти непроходимый лес. Известный больше под именем рощи, но вполне достойный по своим размерам зваться бором, лес этот тянулся вплоть до фермы «Соломинка» и, подобно всем бретонским чащам, скрывал глубокие складки оврагов, лабиринты тропинок и дорог, где сутками блуждали в поисках пути республиканские армии.

Экзекуция, если только это действительно была экзекуция, по-видимому, была свирепой, потому что была краткой. Как все зверское, она совершилась мгновенно. Жестокость гражданских войн предполагает эти дикие расправы. Пока маркиз терялся в догадках, не зная,

спуститься ли ему вниз или оставаться здесь, на холме, пока он вслушивался и вглядывался, шум побоища утих или, вернее, рассеялся. Маркиз догадался, что теперь среди густого кустарника растеклась во всех направлениях яростная и торжествующая орда. Под сенью деревьев кишел человеческий муравейник. Расправившись с фермой, каратели бросились в лес. Барабаны били сигнал атаки. Выстрелы смолкли; очевидно, теперь началась облава, люди как бы преследовали, выслеживали кого-то, гнались за кем-то. Ясно было, что шли поиски, кругом стоял глухой и раскатистый шум; слышались попеременно крики гнева и ликования, из общего гула вдруг вырывался радостный возглас, но слов нельзя было различить. Подобно тому как сквозь густой дым вдруг начинают вырисовываться очертания предметов, так и сквозь этот гам пробилось одно четко и раздельно произнесенное слово, вернее, имя, имя, повторенное тысячью голосов, и маркиз ясно различил:

— Лантенак! Лантенак! Маркиз де Лантенак!

Стало быть, искали именно его.

VI

Превратности гражданской войны

И внезапно вокруг маркиза, разом со всех сторон, перелесок ошетинился дулами ружей, штыками и саблями; в пороховом дыму заплескалось трехцветное знамя, крики «Лантенак!» достигли слуха маркиза, а у ног его, между колючек и веток, показались свирепые физиономии.

Одинокая фигура маркиза, стоявшего неподвижно на вершине пригорка, была заметна из каждого уголка леса. Хотя сам он с трудом различал тех, кто выкликал его имя, его было видно отовсюду. Если в лесу имелась тысяча ружей, то он, стоя здесь, являл собою превосходную мишень для каждого. В густом кустарнике сверкали зрачки устремленных на него глаз.

Маркиз снял шляпу, отогнул поля, сорвал с терновника длинную сухую колючку, вытащил из кармана белую кокарду и приколот ее колючкой вместе с поднятым бортом к тулье, надел шляпу, так что кокарда сразу же бросалась в глаза, и произнес громким голосом, как бы требуя внимания от лесной чащи:

— Я тот, кого вы ищете. Да, я маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских армий. Кончайте быстрее! Целься! Огонь!

Схватившись обеими руками за отвороты своей козье-й куртки, он широко распахнул ее, подставив под дуло голую грудь.

Опустив глаза, он искал взглядом нацеленные на него ружья, а увидел коленопреклоненную толпу.

Громогласный крик единодушно вырвался из сотен глоток:

— Да здравствует Лантенак! Да здравствует его светлость! Да здравствует наш генерал!

Над деревьями замелькали брошенные в воздух шляпы, весело закружились над головами клинки сабель, и над зеленым кустарником поднялся частокол палок с нацепленными на них коричневыми вязаными колпаками.

Люди, толпившиеся вокруг Лантенака, оказались отрядом вандейцев.

Увидев его, вандейцы преклонили колена.

Старинная легенда гласит, что некогда в тюрингских лесах жили удивительные существа, из породы великанов, похожие на людей и вместе с тем не совсем люди, коих римлянин почитал дикими зверьми, а германец — богами во плоти, и, в зависимости от того, кому попался на пути такой бог-зверь, его ждал смертоносный удар или слепое преклонение.

В эту минуту маркиз ощутил нечто подобное тому, что должны были испытывать те сказочные существа, — он ожидал, как зверь, удара, и вдруг ему, как божеству, воздаются почести.

Сотни глаз, горевших грозным огнем, впились в маркиза с выражением дикарского обожания.

Весь этот сброд был вооружен карабинами, саблями, косами, мотыгами, палками; у каждого на широкополой войлочной шляпе или на коричневом вязаном колпаке красовалась белая кокарда, и у каждого была целая гроздь амулетов и четок; на всех были широкие штаны, не доходившие до колен, плащи, кожаные гетры, открывавшие голые лодыжки; космы волос падали на плечи; у многих был свирепый вид, но во всех взглядах светилось простодушие.

Какой-то молодой человек с красивым лицом растолкал толпу коленопреклоненных вандейцев и твердым шагом направился к маркизу. Голову его украшала простая войлочная шляпа с белой кокардой на приподнятом борту, одет он был, как и все прочие, в плащ из грубой шерсти, но руки отличались белизной, а сорочка — качеством полотна; под распахнутой на груди курткой виднелась белая шелковая перевязь, служившая португеей для шпаги с золотым эфесом.

Добравшись до верха Кабаньей Головы, молодой человек швырнул наземь шляпу, отцепил перевязь и, опустившись на одно колено, протянул ее маркизу вместе со шпагой.

— Да, мы искали вас, — сказал он, — и мы вас нашли. Разрешите вручить вам шпагу командующего. Все эти люди отныне в полном вашем распоряжении. Я был их командиром, теперь я получил повышение в чине: я ваш солдат. Примите, ваша светлость, наше глубочайшее почтение. Мы ждем ваших приказаний, господин генерал.

Он махнул рукой, и из леса выступили люди, несшие трехцветное знамя. Они тоже подошли к маркизу и опустили знамя к его ногам. Именно это знамя заметил маркиз тогда сквозь ветви деревьев.

— Господин генерал, — продолжал молодой человек, сложивший к ногам маркиза свою шпагу с перевязью, — мы только что отбили это знамя у синих, засевших на ферме «Соломинка». Имя мое Гавар. Я служил под началом маркиза де Ларуари.

— Что ж, чудесно, — ответил старик.

Уверенным и спокойным движением он перепоясал себя шарфом.

Потом выхватил из ножен шпагу и, потрясая ею над головой, воскликнул:

— Встать! Да здравствует король!

Коленопреклоненная толпа поднялась.

И в чаще леса прокатился неудержимый ликующий крик:

— Да здравствует король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует Лантенак!

Маркиз повернулся к Гавару:

— Сколько вас?

— Семь тысяч.

Спускаясь с пригорка за Лантенаком, перед которым услужливые руки крестьян раздвигали колючие ветки, Гавар продолжал:

— И ничего удивительного, ваша светлость. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Мы ждали лишь первой искры. Узнав из объявления республиканцев о вашем прибытии, мы призвали всю округу встать за короля. К тому же нас тайком известил мэр Гранвиля — наш человек, тот самый, что спас аббата Оливье. Нынче ночью ударили в набат.

— Ради чего?

— Ради вас.

— А!.. — произнес маркиз.

— И вот мы здесь, — подхватил Гавар.

— Все семь тысяч?

— Сегодня всего семь. А завтра будет пятнадцать. Да и эти пятнадцать — дань лишь одной округе. Когда господин Анри Ларошжакелен отбывал в католическую армию, мы тоже ударили в набат, и в одну ночь шесть приходов — Изернэ, Коркэ, Эшобруань, Обье, Сент-Обэн и Нозль — выставили десять тысяч человек. Не было боевых припасов, — у какого-то каменотеса обнаружилось шестьдесят фунтов пороха, и господин Ларошжакелен двинулся в путь. Мы предполагали, что вы должны находиться где-нибудь поблизости, в лесах, и отправились на поиски.

— Значит, это вы перебили синих на ферме «Соломинка»?

— Ветром отнесло колокольный звон в другую сторону, и они не слышали набата. Потому-то они и не поостереглись; жители фермы — безмозглое мужичье — встретили их с распростертыми объятиями. Сегодня утром, пока синие еще мирно почивали, мы окружили ферму и покончили с ними в одну минуту... У меня есть лошадь. Разрешите предложить ее вам, господин генерал?

— Хорошо.

Какой-то крестьянин подвел генералу белую лошадь под кавалерийским седлом. Маркиз, словно не заметив подставленной руки Гавара, без посторонней помощи вскочил на коня.

— Ур-ра! — крикнули крестьяне. Возглас «ура», как и многие другие английские словечки, широко распрост-

ранен на бретонско-нормандском берегу, издавна связанном с островами Ламанша.

Гавар отдал честь и спросил:

— Где изволите выбрать себе штаб-квартиру, господин генерал?

— Пока в Фужерском лесу.

— В одном из семи принадлежащих вам лесов, маркиз?

— Нам необходим священник.

— Есть один на примете.

— Кто же?

— Викарий из прихода Шапель-Эрбре.

— Знаю такого. Если не ошибаюсь, он бывал на Джерсее.

Из рядов выступил священник.

— Трижды,— подтвердил он.

Маркиз обернулся на голос.

— Добрый день, господин викарий.хлопот у вас будет по горло.

— Тем лучше, ваша светлость.

— Вам придется исповедовать сотни людей. Но только тех, кто изъявит желание. Насильно никого.

— Маркиз,— возразил священник,— Гастон в Гемениэ насильно гонит республиканцев на исповедь.

— На то он и цирюльник,— ответил маркиз.— В смертный час нельзя никого неволить.

Гавар отдавал солдатам последние распоряжения; сейчас он выступил вперед.

— Жду ваших приказаний, господин генерал.

— Прежде всего встреча состоится в Фужерском лесу. Пусть пробираются туда поодиночке.

— Приказ уже дан.

— Помнится, вы говорили, что жители «Соломинки» встретили синих с распростертыми объятиями?

— Да, господин генерал.

— Вы сожгли ферму?

— Да.

— А деревню сожгли?

— Нет.

— Сжечь немедленно.

— Синие пытались сопротивляться, но их было всего сто пятьдесят человек, а нас семь тысяч.

— Что это за синие?

— Из армии Сантерра.

— А, того самого, что командовал барабанщиками во время казни короля? Значит, это парижский батальон?

— Вернее, полбатальона.

— А как он называется?

— У них на знамени написано: «Батальон Красный Колпак».

— Зверье!

— Как прикажете поступить с ранеными?

— Добить!

— А с пленными?

— Расстрелять всех подряд.

— Их человек восемьдесят.

— Расстрелять.

— Среди них две женщины.

— Расстрелять.

— И трое детей.

— Захватите с собой. Там посмотрим.

И маркиз дал шпоры коню.

VII

Не миловать (девиз Коммуны) Пощады не давать (девиз принцев)

В то время как все эти события разыгрывались возле Таниса, нищий брел по дороге в Кроллон. Он спулся в овраги, исчезал порой под широколиственными кронами деревьев, то не замечая ничего, то замечая что-то вовсе недостойное внимания, ибо, как он сам сказал недавно, он был не мыслитель, а мечтатель; мыслитель — тот имеет определенную цель, а мечтатель не имеет никакой, и поэтому Тельмарш шел куда глаза глядят, сворачивал в сторону, вдруг останавливался, срывал на ходу пучок конского щавеля и отправлял его в рот, то, припав к ручью, пил прохладную воду, то, заслышав вдруг отдаленный гул, удивленно вскидывал голову, потом вновь подпадал под колдовские чары природы; солнце припекало его лохмотья, до слуха его, быть может, доносились голоса людей, но он внимал лишь пению птиц.

Он был стар и медлителен; дальние прогулки стали ему не под силу; как он сам говорил маркизу де Лан-

тенаку, уже через четверть лье у него начиналась одышка; поэтому он добрался кратчайшим путем до Круа-Авраншен, а к вечеру отправился в обратный путь.

Чуть подальше Масэ тропка вывела его на голый безлесный холм, откуда было видно далеко во все четыре стороны; на западе открывался бескрайний простор небес, сливавшийся с морем.

Вдруг запах дыма привлек его внимание.

Нет ничего слаще дыма, но нет ничего и страшнее его. Дым бывает домашний, мирный, и бывает дым-убийца. Дым — густота его клубов, их окраска, — в этом вся разница между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и мрачным склепом, между жизнью и смертью. Дым, вьющийся над кроной деревьев, может означать самое милое сердцу — домашний очаг и самое ужасное — пожар; и все счастье человека, равно как и все его горе, заключено подчас в этой субстанции, послушной воле ветра.

Дым, который заметил с пригорка Тельмарш, вселял тревогу.

В густой его черноте пробегали быстрые красные язычки, словно пожар то набирался сил, то затихал. Подымался он над фермой «Соломинка».

Тельмарш ускорил шаг и направился туда, откуда шел дым. Он очень устал, но ему не терпелось узнать, что там происходит.

Нищий взобрался на пригорок, к подножию которого прилепились ферма и селение.

Ни фермы, ни деревни не существовало более.

Тесно сбитые в ряд пылающие хижины — вот что осталось от «Соломинки».

Если бывает на свете зрелище более печальное, чем горящий замок, то это зрелище горячей хижины. Охваченная пожаром хижина вызывает слезы. Есть какая-то удручающая несообразность в бедствии, обрушившемся на нищету, это как коршун, раздирающий земляного червя.

По библейскому преданию, всякое живое существо, смотрящее на пожар, обращается в каменную статую; и Тельмарш тоже на минуту застыл как изваяние. Он замер на месте при виде открывшегося перед ним зрелища. Огонь творил свое дело в полном безмолвии. Ни человеческого крика не доносилось с фермы, ни человече-

ского вздоха не летело вслед уплывающим клубам; пламя в сосредоточенном молчании пожирало остатки фермы, и лишь временами слышался треск балок и тревожный шорох горящей соломы. Минутами ветер разгонял клубы дыма, и тогда сквозь рухнувшие крыши виднелись черные провалы горниц; горящие угли являли взору всю россыпь своих рубинов; окрашенное в багрец тряпье и жалкая утварь, одетая пурпуром, на мгновение возникали среди разруженных огнем стен, так что Тельмарш невольно прикрыл глаза перед зловеющим великолепием бедствия.

Каштаны, росшие возле хижины, занялись и уже пылали.

Тельмарш напряженно прислушивался, стараясь уловить хоть звук человеческого голоса, хоть призыв о помощи, хоть стон; но все было недвижно, кроме языков пламени, все молчало, кроме ревающего огня. Значит, люди успели разбежаться?

Куда делось все живое, что населяло «Соломинку» и трудилось здесь? Что стало с горсткой ее жителей?

Тельмарш зашагал с пригорка вниз.

Он старался разгадать трагическую тайну. Он шел не торопясь, вперив взгляд в пожарище. Медленно, словно тень, подходил он к этим руинам и сам себе казался призраком, посетившим безмолвную могилу.

Он подошел к воротам фермы, вернее, к тому, что было раньше ее воротами, и заглянул го двор: ограды уже не существовало, и ничто не отделяло теперь ферму от деревни.

Все увиденное им раньше было ничто. Он видел лишь страшное, теперь перед ним предстал сам ужас.

Посреди двора чернела какая-то грудa, еле очерченная с одной стороны отсветом зарева, а с другой — сиянием луны; эта грудa была грудой человеческих тел, и люди эти были мертвы.

Вокруг натекла лужа, над которой подымался дымок, отблески огня играли на ее поверхности, но не они окрашивали ее в красный цвет; то была лужа крови.

Тельмарш приблизился. Он начал осматривать лежащие перед ним тела, — тут были только трупы

Луна лила свой свет, пожарище бросало свой

То были трупы солдат. Все они лежали босые; кто-то поторопился снять с них сапоги, кто-то поторопился уне-

сти их оружие. Но на них уцелели мундиры — синие мундиры; на груди мертвых тел валялись простреленные каски с трехцветными кокардами. То были республиканцы. То были парижане, которые еще вчера, живые и невредимые, расположились на ночлег на ферме «Соломинка». Этих людей предали мучительной смерти, о чем свидетельствовала аккуратно сложенная гора трупов; людей убили на месте, и убили обдуманно. Все были мертвы. Из груди тел не доносилось даже предсмертного хрипа.

Тельмарш провел смотр этим мертвецам, не пропустив ни одного; всех изрешетили пули.

Те, кто выполнял приказ о расстреле, по всей видимости, спешили и не позаботились похоронить мертвцов.

Уже собираясь уходить, Тельмарш бросил последний взгляд на низенький частокол, чудом уцелевший посреди двора, и заметил две пары ног, торчавших из-за угла.

Ноги эти были обуты и казались меньше, чем все прочие. Тельмарш подошел поближе. То были женские ноги.

По ту сторону частокола лежали рядом две женщины, — их тоже расстреляли.

Тельмарш нагнулся. На одной женщине была солдатская форма, возле нее валялась продырявленная пулей пустая фляга. Это оказалась маркитантка. Череп ее пробили четыре пули. Она уже скончалась.

Тельмарш осмотрел ту, что лежала с ней рядом. Это была простая крестьянка. Бледное лицо, оскаленный рот. Глаза плотно прикрыты веками. Но раны на голове Тельмарш не обнаружил. Платье, превратившееся от долгой носки в лохмотья, разорвалось при падении и открывало почти всю грудь. Тельмарш раздвинул лохмотья и увидел на плече круглую пулевую ранку, — очевидно, была перебита ключица. Старик взглянул на безжизненно посиневшую грудь.

— Мать-кормилица, — прошептал он.

Он дотронулся до тела женщины. Оно не окоченело, подобно другим.

Иных повреждений, кроме перелома ключицы и раны в плече, он не заметил.

Тельмарш положил руку на сердце женщины и уловил робкое биение. Значит, она еще жива.

Он выпрямился и прокричал диким голосом:

— Эй, кто тут есть? Выходи!

— Да это, никак, ты, Нищеврод,— тут же отозвался голос, но прозвучал он приглушенно, еле слышно.

И в ту же минуту между двух рухнувших балок просунулась чья-то физиономия.

Затем из-за угла хижины выглянуло еще чье-то лицо.

Два крестьянина успели вовремя спрятаться, только им двоим и удалось спастись от пуль.

Услышав знакомый голос Тельмарша, они приободрились и рискнули выбраться на свет божий.

Их обоих до сих пор била дрожь.

Тельмарш мог только кричать, говорить он уже не мог; таково действие глубоких душевных потрясений.

Он молча показал пальцем на тело женщины, распростертое на земле.

— Неужели жива? — спросил крестьянин.

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

— А другая тоже жива? — осведомился второй крестьянин.

Тельмарш отрицательно покачал головой.

Тот крестьянин, что выбрался из своего укрытия первым, заговорил:

— Стало быть, все прочие померли? Видел я все, своими глазами видел. Сидел в погребе. Вот в такую минуту и поблагодаришь господа, что у тебя семьи нет. Дом мой сожгли. Боже мой, господи, всех поубивали. А у этой вот женщины были дети. Трое детишек. Мал мала меньше. Уж как ребятки кричали: «Мама! Мама!» А мать кричала: «Дети мои!» Мать, значит, убили, а детей увели. Сам своими глазами видел. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Те, что всех здесь перебили, ушли потом. Да еще радовались. Маленьких, говорю, увели, а мать убили. Но ведь она не умерла, ты говоришь? Как, по-твоему, Нищеврод, удастся тебе ее спасти? Хочешь, мы тебе поможем перенести ее в твою пещерку?

Тельмарш утвердительно кивнул головой.

Лес подступал к самой ферме. Не мешкая зря, крестьяне смастерили из веток и папоротника носилки. На носилки положили женщину, по-прежнему не подававшую признаков жизни, один крестьянин впрягся в носилки в головы, другой в ноги, а Тельмарш шагал рядом и держал руку раненой, стараясь нащупать пульс.

По дороге крестьяне продолжали разговаривать, и их испуганные голоса как-то странно звучали над израненным телом женщины, чье бледное лицо освещала луна.

— Всех погубили.

— Все сожгли.

— Святые угодники, что-то теперь будет?

— А все это длинный старик натворил.

— Да, это он всем командовал.

— Я что-то его не заметил, когда расстрел шел.

Разве он был тут?

— Не было его. Уже уехал. Но все равно по его приказу действовали.

— Значит, он всему виной.

— А как же, ведь это он приказал: «Убивайте, жгите, никого не милуйте».

— Говорят, он маркиз.

— Конечно, это наш маркиз.

— Погоди, а как его зовут?

— Да это же господин де Лантенак.

Тельмарш поднял глаза к небесам и прошептал сквозь стиснутые зубы:

— Если б я знал!

Часть вторая
В ПАРИЖЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

СИМУРДЭН

I

Улицы Парижа тех времен

Вся жизнь протекала на людях, столы вытаскивали на улицу и обедали тут же перед дверьми; на ступеньках церковной паперти женщины щипали корпию, распевая *Марсельезу*; парк Монсо и Люксембургский сад стали плацем, где новобранцев обучали воинским артикулам; на каждом перекрестке работали оружейные мастерские, здесь изготовляли ружья, и прохожие восхищенно хлопали в ладоши; одно было у всех на устах: «Терпение. Мы делаем революцию». И люди улыбались, как улыбаются герои. Зрелища привлекали толпы, как в Афинах во время Пелопонесской войны; на углах пестрели афиши: *Осада Тионвиля*, *Мать семейства*, *спасенная из пламени*, *Клуб беспечных*, *Папесса Иоанна*, *Солдаты-философы*, *Сельское искусство любви*. Немцы стояли у ворот столицы; ходил слух, будто прусский король приказал оставить для него ложу в Опере. Все было страшно, но никто не ведал страха. Зловещий «закон о подозрительных», который останется на совести Мерлена из Дуэ, вздымал над каждой головой призрак гильотины. Некто Сэран, прокурор, узнал, что на него поступил донос, сидел в ожидании ареста у окна в халате и ночных туфлях и играл на флейте. Всем было недосуг. Все торопились. На каждой шляпе красовалась кокарда. Женщины говорили: «Нам к лицу красный колпак». Казалось, весь Париж стронулся с насиженного места. Лавчонки старьевщиков уже не вмещали корон, митр, позолоченных деревянных скипетров и геральдических лилий — старья из королевских дворцов. Это шла на слом

отжившая свой век монархия. Ветошники бойко торговали церковным облачением. В Поршероне у Рампоно люди, наряженные в стихари и епитрахили, важно восседа на ослах, покрытых вместо чепраков ризами, протягивали разливавшим вино кабатчикам священные дароносицы. На улице Сен-Жак босоногие каменщики властным жестом останавливали тачку разносчика, торговавшего обувью, покупали в складчину пятнадцать пар сапог и тут же отправляли в Конвент в дар нашим воинам. На каждом шагу красовались бюсты Франклина, Руссо, Брута и, добавим, Марата; под одним из бюстов Марата на улице Клош-Перс была прибита в застекленной черной рамке обвинительная речь против Малуэ с полным перечнем улик и припиской сбоку: «Все эти подробности сообщены мне любовницей Сильвена Байи — доброй патриоткой, не раз доказывавшей мне свою доброту». Подпись: «Марат». На площади Пале-Рояль прежняя надпись на фонтане: *Quantos effundit in usus!*¹ — исчезла под двумя огромными холстами, писанными темперой, — на одном был изображен Кайе де Жервилль, открывающий Национальному собранию пароль арльских «тряпичников», а на другом — Людовик XVI, возвращающийся из Варенна; снизу к королевской карете была привязана длинная доска, и по обоим выступающим ее концам стояли два гренадера с примкнутыми штыками. Почти все лавки не торговали; женщины развозили по улицам тележки с галантерейными товарами и разной мелочью; вечерами торговля шла при свечах, и оплывающее сало падало на разложенные сокровища; на улицах, под открытым небом, держали ларьки бывшие монахини в белокурых париках; штопальщица чулок, устроившаяся в углу лавчонки, оказывалась графиней, портниха оказывалась маркизой; госпожа де Буфле перебралась на чердак, откуда могла любоваться своим собственным особожком. С криком сновали мальчишки, предлагая прохожим «новости дня». Тех, кто щеголял в высоких галстуках, обзывали «зобастыми». Весь город кишел бродячими певцами. Толпа улюлюкала вслед песеннику — роялисту Питу, человеку, впрочем, мужественному, ибо его сажали за решетку двадцать два раза и, наконец, предали революционному суду за то, что, произно-

¹ Многим на пользу бьет его струя (лат.).

ся слова «гражданские добродетели», он щелкнул себя по мягкому месту; видя, что ему грозит гильотина, Питу воскликнул: «Уж если рубить мне что-нибудь, так не голову! Она-то здесь ни при чем», — и, рассмешив судей, спас свою жизнь. Этот самый Питу высмеивал моду на греческие и латинские имена; охотнее прочих он распевал песенку о некоем сапожнике, который именовал себя Цезарем, а супругу свою — Цесаркой. На улицах плясали карманьолу; никто не называл даму дамой, а кавалера — кавалером, говорили просто «гражданка» и «гражданин». В разоренных монастырях устраивали танцы; украсив алтарь лампами, плясали под сенью двух палок, сбитых крестом, с четырьмя свечами по концам, и пристукивали каблуками по могильным плитам. В моде были синие камзолы «а-ля тиран». В галстук втыкали булавку в форме «колпака свободы», в которой последовательно перемежались белые, синие и красные камешки. Улицу Ришелье переименовали в улицу Закона, Сент-Антуанское предместье — в предместье Славы; на площади Бастилии водрузили статую Природы. Любимцами уличных зевак были в ту пору Шатле, Дидье, Никола и Гарнье-Делонэ, дежурившие у дверей дома столяра Дюпле; Вуллан, который не пропускал ни одной казни и провожал каждую телегу, везущую осужденных на смерть, вплоть до самой гильотины, называя свои прогулки посещением «красной обедни»; Монфлабер, маркиз и революционный присяжный, который требовал, чтобы его величали «Десятое августа». Прохожие любовались на маршировавших по улицам учеников военной школы, переименованных декретом Конвента в «воспитанников школы Марса», а народной молвой — в «робеспьеровых пажей». Зачитывались прокламациями Фрерона, разоблачавшего заподозренных в «негоциантизме»; мюскадены торчали у дверей мэрии, высмеивая церемонию гражданского брака; они улюлюканьем встречали молодоженов и кричали им вслед: «Омуниципализируйтесь!» В Доме инвалидов на статуи святых и королей нацепили фригийские колпаки. На каждом перекрестке, присев на тумбы, картежники резались в карты, но и в игральную колоду ворвался вихрь революции: королей заменили «гениями», дам — «свободами», вальтов — «равенствами», а тузов — «законами». Перепахивали публичные парки: в Тюильри пустили плуг. При

всем том, особенно у приверженцев побежденных партий, чувствовалось какое-то высокомерное утомление жизнью. Фукье-Тензиль получил от кого-то следующее письмо: «...Будьте любезны, освободите меня от бремени жизни. Адрес свой при сем прилагаю». Шансене был арестован за то, что крикнул на весь Пале-Рояль: «А когда же начнется революция в Порте? Хорошо бы республику турнуть в Турцию!» И повсюду газеты. Пока подмастерья цирюльника на глазах зрителей завивали дамские парики, хозяин читал им вслух *Монитор*, а рядом, разбившись на кучки, люди, взволнованно размахивая руками, комментировали статьи из газеты *Согласие*, издаваемой Дюбуа-Крансэ, или из *Трубача* дядюшки Бельроза. Нередко цирюльники совмещали свое ремесло с торговлей колбасами, и рядом с манекенами в золотых локонах в окне выставлялись окорока и связки сосисок. Торговцы предлагали на площадях «эмигрантские вина»; один даже хвалился в объявлении, что у него имеются вина «пятидесяти двух марок»; другие пускали в продажу часы в форме лиры и кушетки «а-ля дюшесс»; один брадобрей намалевал на своей вывеске: «Брею духовенство, стригу дворянство, прихорашиваю третье сословие». Охотно посещали гадалщика Мартена, проживавшего в доме № 173 по улице Анжу, бывшей Дофиновой. Хлеба не хватало, угля не хватало, мыла не хватало; по улицам гнали целые гурты молочных коров, закупленных в провинции. В Валле фунт баранины стоил пятнадцать франков. Объявление Коммуны гласило, что каждый едок получает на декаду фунт мяса. У лавок выстраивались очереди; одна из них прославилась своей невиданной протяженностью — начиналась она у дверей бакалейщика на улице Пти-Карро и тянулась до середины улицы Монторгейль. Стоять в очереди называлось тогда «держаться веревочку», так как каждый, стоя в затылок переднему, держался правой рукой за длинную веревку. Женщины среди этих бед и лишений вели себя мужественно и кротко. Целые ночи дежурили они у булочных, дожидаясь своей очереди. Крайние меры удавались революции; она стремилась вытащить страну из нищеты двумя рискованными средствами: с помощью ассигнатов и максимума; ассигнаты служили рычагом, а максимум — точкой опоры. Этот здравый подход и спас Францию. Враг — враг из Кобленца, в

той же мере что и враг из Лондона,— устраивал ажиотаж с ассигнатами. Развязные девицы, бродя по улицам, для вида предлагали прохожим лавандовую воду, подвязки и фальшивые косы, а на самом деле спекулировали; торговали ассигнатами и темные личности с улицы Вивьен в стоптанных башмаках, прикрывавшие свои сальные космы меховыми шапками, увенчанными лисьими хвостами, а также менялы с улицы Валуа, щеголявшие в начищенных до блеска сапожках, с зубочисткой в зубах, в плюшевых шляпах, и уличные девицы обращались к ним на «ты». Народ преследовал их, как и воров, которых роялисты ехидно называли «сверхактивными гражданами». Впрочем, воровство стало явлением редким. Жесточайшие лишения, стоическая честность. Оборванцы, живые скелеты, проходили, сурово потупив глаза, мимо сверкающих витрин ювелиров в Пале-Эгальтэ. Во время обыска у Бомарше, проводившегося секцией Антуан, какая-то женщина сорвала в саду цветок; ей надавали пощечин. Вязанка дров стоила четыреста франков серебром, и нередко можно было видеть на улице, как какой-нибудь гражданин распиливал на топливо собственную кровать; зимой фонтаны замерзли; за два ведра воды просили двадцать су; все парижане стали водоносами. Луидор стоил три тысячи девятьсот пятьдесят франков. Поездка на фиакре обходилась в шестьсот франков в один конец. Нередко можно было слышать такой диалог между седоком, нанимавшим экипаж на целый день, и возницей: «Сколько с меня?» — «Шесть тысяч ливров». Зеленщицы выручали за день двадцать тысяч франков. Нищий, протягивая руку за милостыней, канючил: «Подайте, люди добрые, совсем обносился, двести тридцать ливров не хватает, чтобы башмаки купить!» У мостов высились вырезанные из дерева колоссы, разрисованные Давидом, которых Мерсье презрительно именовал: «Деревянные петрушки». Фигуры эти должествовали изображать поверженные в прах Федерализм и Коалицию. Ни малейших признаков упадка духа в народе. И угрюмая радость оттого, что раз навсегда свергнуты троны. Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица представляла батальон. Проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз. На знамени округа Капуцинов значилось: «Нас голыми руками не возь-

мешь!» На другом: «Благородным должно быть лишь сердце!» На всех стенах афиши и объявления — большие, маленькие, белые, желтые, зеленые, красные, отпечатанные в типографии и написанные от руки — провозглашали: «Да здравствует Республика!» Крохотные ребятишки лепетали: *Ça ira*.

В этих ребятишках жило неизмеримо огромное будущее.

Позже на смену трагическому городу пришел город циничный; парижские улицы в годы революции являли собой два совершенно различных облика: один — до, другой — после 9 термидора; Париж Сен-Жюста сменился Парижем Тальена; такова извечная антитеза Творца: Синай и вслед за ним — Золотой телец.

Повальное безумие не такая уж редкость. Нечто подобное было еще за восемьдесят лет до описываемых событий. После Людовика XIV, как и после Робеспьера, захотелось вздохнуть полной грудью; вот почему век начался Регентством, а закончился Директорией. Тогда и теперь террор сменился разгулом. Когда Франция вырвалась на волю из пуританского затворничества, как прежде из затворничества монархии, ею овладела радость спасшейся от гибели нации.

После 9 термидора Париж веселился, но каким-то иступленным весельем. Его охватило тлетворное ликование. Готовность отдать свою жизнь сменилась бешеной жаждой жить любой ценой, и величье померкло. В Париже появился свой Тримальхион в лице Гримо де ла Реньера; увидел свет *Альманах гурманов*. Вошли в моду обеды на антресолях Пале-Рояля под бравурные звуки оркестра, где женщины-музыканты били в барабаны и трубили в трубы; смычок скрипача управлял движением толпы; в ресторации Мео ужинали «по-восточному» среди курильниц с благовониями. Живописец Боз написал двух своих шестнадцатилетних дочек — двух невинных, чарующих красоток — в «гильотинном» уборе, то есть в красных рубашечках с обнаженными шейками. Миновало время неистовых плясок в разоренных церквях; на смену им пришли балы у Руджииери, Люке, Венцеля, Модюи и госпожи Монтансье; на смену гражданкам, степенно щипавшим корпию, пришли маскарадные султанши, дикарки, нимфы; на смену солдатам с босыми ногами, покрытыми кровью, грязью и пылью, пришли красотки с го-

лыми ножками, украшенными бриллиантами; одновременно с распутством вернулось бесчестье: наверху орудовали поставщики, а внизу — мелкие воришки; Париж наводнили жулики всех рангов, и рекомендовалось зорко следить за своим бумажником; любимым развлечением парижан было ходить на заседания окружного суда — смотреть воровок, которых сажали на высокие табуреты, связав им из соображений скромности юбки; выходившим из театров «гражданам» и «гражданкам» мальчишки предлагали занять места в кабриолете «на двоих»; газетчики уже не выкрикивали *Старый Кордельер* и *Друг народа*, а бойко торговали *Письмами Полишинеля* и *Петицией сорванцов*; в секции Пик на Вандомской площади председательствовал маркиз де Сад. Реакция веселилась и свирепствовала; «Драгуны свободы» девяносто второго года возродились под кличкой «Рыцари кинжала». На подмостках появился простофиля — Жокрис. «Несравненные» и «ослепительные» щеголяли последними модами. Вместо «честного слова» говорили: «даю суово жегтвы» или клялись в непристойных выражениях. От Мирабо сползли к Бобешу. Таков Париж, вся его жизнь — приливы и отливы; он гигантский маятник цивилизации, который касается то одного полюса, то другого, и широта его размаха — от Фермопил до Гоморры. После девяносто третьего года революция прошла через какое-то странное затмение; казалось, век забыл завершить то, что начал; какая-то оргия вмещалась в его ход, вылезла на передний план, оттеснив апокалипсические ужасы, если прибегать к эпическим образам, и, натерпевшись страха, захохотала; трагедия превратилась в пародию, и лик Медузы, еще видневшийся на горизонте, затянуло дымом карнавальных факелов.

Но в описываемое нами время, в девяносто третьем году, парижские улицы хранили еще величественный и суровый облик начальной поры. У парижан были свои уличные ораторы, как, например, Варле, который разъезжал по всему городу в фургоне и держал оттуда речи перед толпой; были свои герои, одного из которых прозвали «капитаном молодцов с железным посохом»; были свои любимцы, как, например, Гюффруа, автор памфлета «Ружиф». Одни из этих знаменитостей сеяли зло, другие очищали души. И был среди них некто, проживший роковую и поистине славную жизнь, — Симурдэн.

Симурдэн

Симурдэн был совестью чистой, но угрюмой. Он носил в себе абсолют. Он был священником, а это не проходит даром. Душа человека, подобно небу, может быть сумеречно-ясной, для этого достаточно соприкосновения с тьмой. Иерейство погрузило во мрак дух Симурдэна. Тот, кто был священником, останется им до конца своих дней.

Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути. Симурдэн был полон добродетелей и достоинств, но сверкали они во тьме.

Историю его жизни можно рассказать в двух словах. Он был священником в безвестном селении и наставником в знатной семье; потом подросло небольшое наследство, и он стал свободным человеком.

Прежде всего он был упрямец. Он пользовался мыслью, как другой пользуется тисками; уж если какая-нибудь мысль западала ему в голову, он считал своим долгом додумать ее до конца и лишь после этого отбрасывал прочь; он мыслил с каким-то ожесточением. Он владел всеми европейскими языками и знал еще два-три языка; он учился беспрестанно, и день и ночь, что помогало ему нести бремя целомудрия; но нет ничего опаснее постоянного обуздания чувств.

Будучи священником, он, из гордыни ли, в силу ли стечения обстоятельств или из благородства души, ни разу не нарушил данных обетов; но веру сохранить не сумел. Знания подточили веру; догматы рухнули сами собой. Тогда, строгим оком заглянув в свою душу, он почувствовал себя нравственным калекой и решил, что раз уж невозможно убить в себе священника, нужно возродить в себе человека; но средства для этого он избрал самые суровые: его лишили семьи — он сделал своей семьей родину, ему отказали в супруге — он отдал свою любовь человечеству. Этот избыток, в сущности, та же пустота.

Его родители, простые крестьяне, отдав сына в духовную семинарию, мечтали отторгнуть его от народа, — он возвратился в народные недра.

И возвратился в каком-то страстном порыве. Он смотрел на страждущих с грозной нежностью. Священ-

ник стал философом, а философ — могучим борцом. Еще при жизни Людовика XV Симурдэн уже был республиканцем. Какая республика грезилась ему? Быть может, республика Платона, а быть может, республика Дракона.

Раз ему запретили любить, он стал ненавидеть. Он ненавидел всяческую ложь, ненавидел самодержавие, власть церкви, свое священническое облачение; он ненавидел настоящее и громко призывал будущее; он предчувствовал грозное завтра, провидел заранее, угадывал его пугающий и великолепный облик; он понимал, что конец прискорбной драме человеческих бедствий положит некий мститель, который явится в то же время и освободителем. Он предвкушал грядущую катастрофу.

В 1789 году катастрофа наконец пришла, и он встретил ее в полной готовности. Симурдэн отдался высокому делу обновления человечества со всей присущей ему логикой, что у человека такой закалки означает: со всей неумолимостью; логика не знает жалости. Он прожил великие годы революции, всем существом отзываясь на каждое ее дуновение: восемьдесят девятый год — взятие Бастилии, конец мукам народным; четвертое августа — конец феодализма; девяносто первый год — Варенн, конец монархии; девяносто второй год — установление республики. Он видел, как поднималась революция; но не таким он был человеком, чтобы испугаться пробудившегося гиганта, — напротив, этот сказочно быстрый рост влил в жилы Симурдэна новую жизнь; и он, почти старик, — в ту пору ему минуло пятьдесят лет, а священник старится вдвое быстрее, чем прочие люди, — он тоже начал расти. На его глазах год от года все выше вздымалась волна событий, и он сам как бы становился выше. Вначале он опасался, что революция потерпит поражение; он зорко наблюдал за ней: на ее стороне был разум и право, а он желал ей и успеха; чем грознее становилась ее поступь, тем спокойнее становилось у него на душе. Он хотел, чтобы эта Минерва, в венце из звезд грядущего, была также и Палладой и чтобы щитом ей служила голова Медузы. Он хотел, чтобы божественное ее око сжигало демонов адским пламенем, хотел воздать им ужасом за ужасы.

Так дожил он до девяносто третьего года.

Девяносто третий год — это война Европы против Франции и война Франции против Парижа. Чем же была революция? Победой Франции над Европой и победой Парижа над Францией. Именно в этом весь необъятный смысл грозной минуты — девяносто третьего года, — более великой, чем все прочие столетия в их совокупности.

Что может быть трагичнее: Европа, обрушившаяся на Францию, и Франция, обрушившаяся на Париж? Драма поистине эпического размаха.

Девяносто третий год — год неслыханной напряженности, пришла гроза гневная и величественная. Симурдэн дышал полной грудью. Эта дикая, иступленная и великолепная стихия соответствовала его масштабам. Он был подобен морскому орлу — глубочайшее внутреннее спокойствие и жажда опасностей. Иные окрыленные существа, суровые и невозмутимые, как бы созданы для могучих порывов ветра. Да, да, бывают такие грозовые души.

Жалость Симурдэна была особого рода — она распространялась только на обездоленных. Самое отталкивающее страдание находило в нем самоотверженного целителя. И тут ничто не вызывало в нем омерзения. Такова была отличительная черта его доброты. Как врача-вателя его боготворили, но отворачивались от него с брезгливостью. Он искал язвы, чтобы лобызать их. Труднее всего даются прекрасные поступки, вызывающие в зрителях дрожь отвращения; он предпсчитал именно такие. Однажды в больнице для бедных умирал человек — его душила опухоль в горле, зловонный и страшный с виду нарыв. Болезнь была, по всей видимости, заразной, требовалось удалить гной немедленно. Симурдэн, оказавшийся при больном, прижал губы к опухоли, рот его наполнился гноем, который он высасывал, пока не очистилась рана, — человек был спасен. Так как он в ту пору еще не расстался со священнической рясой, кто-то сказал: «Если бы вы решились сделать это для короля, — быть бы вам епископом». «Я не сделал бы этого для короля», — ответил Симурдэн. Этот поступок и эти слова прославили Симурдэна в мрачных кварталах парижской бедноты.

С тех пор все страждущие, все обездоленные, все недовольные беспрекословно выполняли его волю. В дни

народного гнева против спекулянтов, вспышки которого нередко приводили к прискорбным ошибкам, не кто иной, как Симурдэн, одним-единственным словом остановил у пристани Сен-Никола людей, расхищавших груз мыла с прибывшего судна, и он же рассеял разъяренную толпу, задерживавшую возы у заставы Сен-Лазар.

И он же, через два дня после 10 августа, повел народ сбрасывать статуи королей. Падая с пьедестала, они убивали. Так, на Вандомской площади некая Рэн Виоле, накинув на шею Людовику XIV веревку, яростно тащила его вниз и погибла под тяжестью рухнувшего монумента. Этот памятник простоял ровно сто лет; его воздвигли 12 августа 1692 года, а сбросили 12 августа 1792 года. На площади Согласия у подножия статуи Людовика XV толпа растерзала некоего Генгерло, обозвавшего «сволочью» тех, кто дерзновенно поднял руку на короля. Статую эту разбили на куски. Позднее из нее начеканили мелкую монету. Уцелела лишь одна рука, правая,— та, которую Людовик XV простирает вперед жестом римского императора. По ходатайству Симурдэна народная депутация торжественно вручила эту руку Латюду, томившемуся целых тридцать семь лет в Бастилии. Когда Латюд с железным ошейником вокруг шеи, с цепью, врезавшейся ему в бока, заживо гнил в подземном каземате по приказу короля, чья статуя горделиво возвышалась над Парижем, мог ли он хотя бы в мечтах представить себе, что стены его темницы падут, что падет статуя, а сам он выйдет из склепа, куда будет ввергнута монархия, и что он, жалкий узник, получит в собственность бронзовую руку, подписавшую приказ о его заточении, а от этого поверженного в прах деспота уцелеет лишь эта длань?

Симурдэн принадлежал к числу людей, в чьей душе немолчно звучит некий голос, к которому они прислушиваются. Такие люди на первый взгляд могут показаться рассеянными,— ничуть не бывало, они, напротив того, сосредоточенны.

Симурдэн познал все и не знал ничего. Он познал все науки и совсем не знал жизни. Отсюда его непреклонность. Он, словно гомеровская Фемида, носил на глазах повязку. Он устремлялся вперед со слепой уверенностью стрелы, которая видит лишь цель и летит

только к цели. В революции нет ничего опаснее слишком прямых линий.

Так Симурдэн неотвратно шел вперед.

Симурдэн верил, что при рождении нового социального строя только крайности — надежная опора: заблуждение, свойственное тому, кто подменяет разум логикой. Он не удовольствовался Конвентом, он не удовольствовался Коммуной, он вступил в члены Епископата.

Собрания этого общества, происходившие в одной из зал бывшего епископского дворца, откуда и пошло само название, меньше всего напоминали обычные собрания политических клубов, — это было пестрое собрание людей. Так же как и на собраниях Коммуны, здесь присутствовали те безмолвные, но весьма внушительные личности, у которых, по меткому выражению Гара, «в каждом кармане было по пистолету». Странную смесь являли собрания в Епископате: смесь парижского с всемирным, что, впрочем, и понятно, ибо в Париже билось тогда сердце всех народов мира. Здесь добела накалялись страсти плебеев. По сравнению с Епископатом Конвент казался холодным, а Коммуна чуть теплой. Епископат принадлежал к числу революционных образований, подобных образованиям вулканическим; в нем было всего понемножку: невежества, глупости, честности, героизма, гнева и — полицейских. Герцог Брауншвейгский держал там своих агентов. Там собирались люди, достойные украсить собою Спарту, и люди, достойные украсить собою каторжные галеры. Но большинство составляли честные безумцы. Жиронда, устами Инара, тогдашнего председателя Конвента, бросила страшное пророчество: «Берегитесь, парижане. От вашего города не останется камня на камне, и тщетно наши потомки будут искать то место, где стоял некогда Париж». В ответ на эти слова и возник Епископат. Люди, — как мы только что сказали, люди всех национальностей, — ощутили потребность плотнее сплотиться вокруг Парижа. Симурдэн примкнул к их числу.

Группа эта боролась с реакционерами. Ее породила та общественная потребность в насилии, которая являлась одной из самых грозных и самых загадочных сторон революции. Сильный этой силой, Епископат сразу же занял вполне определенное место. В годину потрясений,

колебавших почву Парижа, из пушек стреляла Коммуна, а в набат били люди Епископата.

Симурдэн верил со всем своим неумолимым простодушием, что все совершающееся во имя торжества истины есть благо; в силу этого он очень подходил для роли вожака крайних партий. Мошенники видели, что он честен, и радовались этому. Любому преступлению лестно, когда его направляет рука добродетели. Хоть и стеснительно, да приятно. Архитектор Паллуа, тот самый, что нажился на разрушении Бастилии, продав камни из ее стен, а будучи уполномочен окрасить стены узилища Людовика XVI, переусердствовал, покрыв их изображениями решеток, цепей и наручников; Гоншон, подозрительный оратор Сент-Антуанского предместья, денежные расписки которого были впоследствии обнаружены; Фурнье — американец, который 17 июля стрелял в Лафайета из пистолета, купленного, по слухам, на деньги самого Лафайета; Анрио — питомец Бисетра, который побывал и лакеем, и уличным гаером, воришкой и шпионом, прежде чем стать генералом и обратить пушки против Конвента; Ларейни, бывший викарий Шартрского собора, сменивший требник на *Отца Дюшена*, — всех этих людей Симурдэн держал в узде; и в иные минуты, когда слабые душонки уже готовы были предать, их останавливало зрелище грозной и непоколебимой чистоты. Так при виде Сен-Жюста замирал в ужасе Шнейдер. Однако большинство Епископата составляли бедняки — горячие головы и добрые сердца, которые свято верили Симурдэну и шли за ним. В качестве викария, или, если угодно, в качестве адъютанта, при Симурдэне состоял тоже священник — республиканец Данжу, которого в народе любили за огромный рост и прозвали «Аббат Шестифут». За Симурдэном пошел бы в огонь и в воду бесстрашный вожак, по прозвищу «Генерал Пика», и отважный Никола Трюшон, по кличке «Верзила»; этот Верзила задумал спасти госпожу де Ламбаль и уже перевел было ее через гору трупов, но затея эта не увенчалась успехом из-за жестокой шутки цирюльника Шарло.

Коммуна следила за Конвентом. Епископат следил за Коммуной. Прямодушный Симурдэн, ненавидевший всяческие интриги, не однажды разрушал козни, которые исподтишка строил Паш, прозванный Бернонвилем «Черный человек». В Епископате Симурдэн был со всеми на

равной ноге. Он выслушивал советы Добсана и Моморо. Он говорил по-испански с Гусманом, по-голландски с Перрейра, по-немецки с австрийцем Проли, побочным сыном какого-то принца. Его стараниями разногласия превращались в согласие. Он оставался в тени, но влияние его было значительным. Сам Эбер побаивался Симурдэна.

Симурдэн обладал властью, которая в те дни и в той трагической по духу среде давалась неумолимым. Он был праведник и сам считал себя непогрешимым. Никто ни разу не видел, чтобы взор его увлажнили слезы. Вершина добродетели, недоступная и леденящая. Он был справедлив и страшен в своей справедливости.

Для священника в революции нет середины. Превратности революции могут привлечь к себе священника лишь из самых низких либо из самых высоких побуждений; он или гнусен, или велик. Симурдэн был велик, но это величие замкнулось в себе, ютилось на недостижимых кручах, в негостеприимно мертвенных сферах: величие, окруженное безднами. Иные горные вершины бывают так зловеще чисты.

Внешность у Симурдэна была самая заурядная. Одевался он небрежно, даже бедно. В молодости ему выбрили тонзуру, к старости тонзуру сменила плешь. Редкие волосы поседели. На его высоком челе внимательный взор прозрел бы особую мету. Говорил Симурдэн отрывисто, торжественно и страстно — непререкаемым тоном; в углах его рта лежала горькая, печальная складка, взгляд был светлый и пронзительный, а лицо поражало своим гневным выражением.

Таков был Симурдэн.

Ныне никто его не помнит.

В истории встречаются такие грозные, никому не ведомые имена.

III

То, чего не смыли воды Стикса

Да был ли такой человек человеком? Мог ли этот верный служитель всего человеческого рода иметь какие-нибудь привязанности? Не вытеснила ли душа этого человека его сердца? Способны ли объятия, готовые при-

нять всех и вся, заключить одного? Мог ли Симурдэн любить? Ответим на этот вопрос утвердительно. Да, мог.

В молодости он жил в одном весьма аристократическом семействе в качестве воспитателя; воспитанник его был единственным сыном и наследником. Симурдэн любил этого мальчика. Но ведь так легко любить ребенка. Чего только не простишь дитяти? Ему прощается даже то, что он аристократ, что он принц, что он король. Невинность юного отпрыска заставляет забывать все преступления его рода; хрупкое крошечное существо заставляет забывать все сословные привилегии. Оно так мало, что ему прощают самое высокое положение. Раб прощает ему, что он его господин. Старик негр боготворит белого мальчугана. Симурдэн страстно привязался к своему ученику. Детство уж потому так неизъяснимо прекрасно, что на него можно излить все силы любви. Весь запас любви, жившей в его душе, Симурдэн обрушил, если так можно выразиться, на этого ребенка; беззащитное существо стало, пожалуй, даже добычей для этого сердца, обреченного на одиночество. Симурдэн любил мальчика со всей, какая только существует, нежностью, любил его, как отец, как брат, как друг, как творец. Это был его сын; сын не по плоти, а по духу. Симурдэн не был его отцом, не он родил его; но он был подлинным художником, и мальчик стал лучшим его творением. Из маленького аристократа он сделал человека. И кто знает, быть может, даже великого человека. Об этом он мечтал. Не ставя в известность родных (да и требуется ли разрешение тому, кто замыслил выковать ум, волю и прямоту?), Симурдэн передал юному виконту, своему воспитаннику, все лучшее, что жило в нем самом: он привил ребенку грозный недуг добродетели; он влил в его жилы свою веру, свою совесть, свой идеал; в эту аристократическую голову он вложил дух народа.

Дух — кормилица, ум — материнская грудь. Существует несомненное сходство между кормилицей, вскармливающей младенца своим молоком, и наставником, вскармливающим его своей мыслью. Иной раз воспитатель больше отец, чем родной отец, подобно тому как кормилица нередко больше мать, чем мать, родившая ребенка.

Это глубокое духовное отцовство привязало Симурдэна к его ученику. При виде этого ребенка он всякий раз умилялся душой.

Добавим еще: заменить отца было тем легче, что ребенок рос сиротой, его отец скончался, скончалась и мать; мальчик остался на попечении старой слепой бабки и двоюродного деда, который всегда отсутствовал. Бабка умерла, дед — глава семьи — прирожденный военный, знатный вельможа, призываемый службой ко двору, покинул родные пенаты, поселился в Версале, участвовал в походах и оставил сиротку одного в опустевшем замке. Таким образом, учитель стал воспитателем в полном смысле этого слова.

К тому же ученик Симурдэна родился у него на глазах. В младенчестве мальчик тяжело заболел. Смерть витала над его изголовьем, и Симурдэн бодрствовал возле ребенка день и ночь; пусть от болезни лечит врач, но выхаживает больного сиделка, — и Симурдэн выходил дитя. Ученик был обязан своему учителю не только воспитанием, образованием, обширными знаниями — он был обязан ему также выздоровлением и здоровьем; он был обязан ему не только способностью мыслить — он был обязан ему жизнью. Мы боготворим тех, кто всем обязан нам; Симурдэн боготворил этого ребенка.

Наступило неизбежное в жизни расставание. Воспитание было закончено, Симурдэну пришлось расстаться со своим учеником, теперь уже взрослым юношей. Сколько холодной и бессознательной жестокости скрыто в подобных разлуках! С каким равнодушием рассчитывают родители человека, отдавшего их ребенку сокровище своей мысли, и кормилицу, передавшую ему свои жизненные соки! Симурдэну заплатили сполна все причитающиеся ему деньги и вежливо выпроводили; так он покинул верхи общества и возвратился в низы; дверца между великими мира сего и обездоленными захлопнулась; молодой виконт, записанный уже с детства в полк в чине капитана, уехал в отдаленный гарнизон; безвестный воспитатель, в тайниках души восставший против своего сана, спустился в полутемную прихожую католической церкви, именуемую низшим духовенством, и потерял из виду воспитанника.

Началась революция; воспоминание о том, кого он сделал человеком, по-прежнему жило в тайниках души Симурдэна,— его не мог развеять даже вихрь великих событий.

Прекрасно изваять статую и вдохнуть в нее жизнь, но куда прекраснее вылепить сознание и вдохнуть в него истину. Симурдэн был Пигмалионом, создавшим человеческую душу.

Дух тоже может произвести живое существо.

Итак, этот ученик, этот ребенок, этот сирота был единственным на земле существом, которого любил Симурдэн.

Но, любя так нежно, стал ли он уязвим в своей привязанности?

Это будет видно из дальнейшего.

КНИГА ВТОРАЯ

КАБАЧОК НА ПАВЛИНЬЕЙ УЛИЦЕ

I

Минос, Эак и Радамант

Был на Павлиньей улице кабачок, который называли кофейней. Имевшееся при кофейне помещение стало ныне исторической достопримечательностью. Здесь время от времени встречались, чуть ли не тайком, люди, наделенные таким могуществом власти, являвшиеся предметом такого тщательного надзора, что беседовать друг с другом публично они не решались. Здесь 23 октября 1792 года Гора и Жиронда обменялись знаменитым поцелуем. Сюда Гара, хотя он и оспаривает этот факт в своих *Мемуарах*, явился за сведениями в ту зловещую ночь, когда, отвезя Клавьера в безопасное место на улицу Бон, он остановил карету на Королевском мосту, прислушиваясь к тревожному гулу набата.

Двадцать восьмого июня 1793 года в этой знаменитой комнате вокруг стола сидели три человека. Они занимали три стороны стола; четвертая сторона пустовала. Было около восьми часов вечера; на улице еще не стемнело, но в комнате стоял полумрак, так как свисавший с потолка кенкет — роскошь по тем временам — освещал только стол.

Первый из трех сидевших был бледен, молод, важен, губы у него были тонкие, взгляд холодный. Щеку подергивал нервный тик, и потому улыбка давалась ему с трудом. Он был в пудренном парике, тщательно причесан, застегнут на все пуговицы, в перчатках. Светло-голубой кафтан сидел на нем как влитой. Он носил нанковые панталоны, белые чулки, высокий галстук, плиссированное жабо, туфли с серебряными пряжками. Второй, си-

девший за столом, был почти гигант, а третий — почти карлик. На высоком был небрежно надет алый суконный кафтан; развязавшийся галстук, с повисшими ниже жабо концами, открывал голую шею, на расстегнутом камзоле не хватало половины пуговиц, обут он был в высокие сапоги с отворотами, волосы торчали во все стороны, хотя, видимо, их недавно расчесали и даже напмадили; гребень не брал эту львиную гриву. Лицо его было в рябинах, между бровями залегла гневная складка, но морщинка в углу толстогубого рта с крупными зубами говорила о доброте; он сжимал огромные, как у грузчика, кулаки, и глаза его блеснули. Третий, низкорослый, желтолицый человек в сидячем положении казался горбуном; голову с низким лбом он откинул назад, глаза были налиты кровью; лицо его покрывали синеватые пятна, жирные прямые волосы он повязал носовым платком, огромный рот был страшен. Он носил длинные панталоны со штрипками, большие, не по мерке, башмаки, жилет некогда белого атласа, поверх жилета какую-то кацавейку, под складками которой вырисовывались резкие и прямые очертания кинжала.

Имя первого из сидевших было Робеспьер, второго — Дантон, третьего — Марат.

Кроме них в комнате никого не было. Перед Дантоном стояли запыленная бутылка вина и стакан, похожий на знаменитую кружку Лютера, перед Маратом — чашка кофе, перед Робеспьером лежали бумаги.

Рядом с бумагами виднелась тяжелая круглая свинцовая чернильница с волнистыми краями, вроде тех, какими еще на нашей памяти пользовались школьники. Возле валялось брошенное перо. Бумаги были придавлены большой медной печаткой, представлявшей собою точную копию Бастилии, сбоку была выгравирована надпись: *Palloy fecit*¹.

Середину стола занимала разостланная карта Франции.

За дверью дежурил известный Лоран Басс — сторожевой пес Марата, рассыльный из дома №18 по улице Кордельер; именно ему 13 июля, приблизительно через две недели после описанного дня, суждено было оглушить ударом стула девицу, именовавшуюся Шарлоттой

¹ Работы Паллуа (лат.).

Корде, которая в этот летний вечер находилась еще в Кане и лишь вынашивала свои замыслы. Тот же Лоран Басс разносил корректурные листы *Друга народа*. Нынче вечером, проводив своего хозяина в кофейню на Павлинью улицу, он получил строгий приказ охранять двери комнаты, где находились Марат, Дантон и Робеспьер, и не пропускать никого, за исключением некоторых членов Комитета общественного спасения, Коммуны или Епископата.

Робеспьер не желал закрывать дверей от Сен-Жюста, Дантон не желал закрывать дверей от Паша, Марат не желал закрывать дверей от Гусмана.

Совещание началось уже давно. Предметом обсуждения являлись лежавшие на столе донесения, которые Робеспьер прочитал вслух. Голоса начинали звучать громче. В них слышались теперь гневные ноты. Временами какое-нибудь восклицание доносилось даже на улицу. В ту пору все так привыкли слушать речи, произносимые с публичной трибуны, что каждый считал себя вправе прислушиваться к тому, что говорят. Ведь как раз в те времена секретарь суда Фабриций Пари подглядывал в замочную скважину за тем, что делалось в Комитете общественного спасения. Заметим кстати, что это занятие оказалось бесполезным, ибо тот же Пари предупредил Дантона в ночь с 30 на 31 марта 1794 года. Лоран Басс приткнул ухом к двери комнаты, где сидели Дантон, Марат и Робеспьер. Басс честно служил Марату, но сам принадлежал к членам Епископата.

II

*Magna testantur voce per umbras*¹

Дантон вскочил с места, резко отодвинув стул.

— Послушайте меня! — закричал он. — Есть только один важный вопрос: Республика в опасности. Я знаю лишь одно — необходимо освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Все, все и все! Когда опасность грозит со всех сторон, все средства хороши; никакой оглядки; когда я боюсь всего, я иду на все. Моя мысль как львица. В революции никаких полумер. Не-

¹ Громогласно клянутся тенями (лат.).

мезида не жеманница. Будем сеять спасительный страх. Разве слон смотрит, куда ступает? Раздавим врага.

Робеспьер ответил кротким голосом:

— И я хочу того же.— И добавил: — Вопрос в том — где враг.

— Он за пределами Франции, и я изгнал его,— сказал Дантон.

— Он в пределах Франции, и я слежу за ним,— сказал Робеспьер.

— Я буду гнать его и впредь! — воскликнул Дантон.

— Внутреннего врага не изгонишь.

— Что же с ним делать?

— Уничтожить.

— Согласен,— сказал Дантон и добавил: — Повторяю, Робеспьер: враг за пределами страны.

— Повторяю, Дантон: враг внутри страны.

— Он на границе, Робеспьер.

— Он в Вандее, Дантон.

— Успокойтесь,— раздался вдруг третий голос,— враг повсюду, и вы погибли.

Это заговорил Марат.

Робеспьер взглянул на Марата и спокойно произнес:

— Довольно препирательств! Буду точен! Вот факты.

— Педант,— проворчал Марат.

Робеспьер положил руку на разбросанные по столу бумаги и продолжал:

— Я только что прочитал вам депешу, присланную Приером из Марны. Я только что сообщил вам сведения, доставленные Желамбром. Дантон, послушайте меня: война с чужеземными государствами — пустяковая царапина на локте, гражданская война — язва, разъедающая внутренности. Из всего, что я вам прочел, следует одно: силы Вандеи, до сего дня раздробленные под властью десятка вожаков, сейчас объединяются. Отныне у нее будет главный вождь.

— Главный разбойник,— буркнул Дантон.

— Этот человек,— продолжал Робеспьер,— высадился второго июня возле Понторсона. Из моих слов вы знаете, каков он. Заметьте, что высадка этого человека совпадает с арестом в Байе наших представителей: Приера из Кот д'Ор и Ромма. Оба арестованы в один и тот

же день — второго июня. Предательский округ Кальвадос.

— И перевезли их в Канский замок, — вставил Дантон.

— Итак, что же следует из депеши? — продолжал Робеспьер. — Лесная война готовится с широким размахом. Одновременно готовится и высадка англичан. Вандейцы и англичане — это уже Бретань плюс Британия. Финистерские гуроны говорят на одном языке с корнуэльским сбродом. Я вам показывал перехваченное письмо Пюизэ, где черным по белому написано: «Распределите двадцать тысяч человек в красных мундирах среди инсургентов, и завтра подымется сто тысяч человек». Когда крестьянское восстание охватит всю Вандею, состоится высадка англичан. Таков план. А теперь потрудитесь взглянуть на карту.

Водя пальцем по карте, Робеспьер продолжал:

— У англичан богатый выбор мест для высадки от Канкаля до Пэмполя. По слухам, Крэг склоняется к бухте Сен-Бриек, Корнваллис — к бухте Сен-Каст. Но это не столь существенно. Левый берег Луары удерживает армия вандейских мятежников, а что касается открытой местности от Ансениса до Понторсона, протяжением в двадцать восемь лье, то сорок нормандских приходов обещали в случае надобности свою помощь. Высадка состоится в трех пунктах: в Плерене, Ифиньяке и Пленефе; из Плерене они направятся на Сен-Бриек, а из Пленефа на Ламбаль; на второй же день они достигнут Динана, где содержится девятьсот пленных англичан; в то же время они захватят Сен-Жуан и Сен-Мэен и разместят там свою кавалерию; на третий день две колонны пойдут — одна из Жуана на Бодэ, вторая из Динана на Бешерель; Бешерель, как известно, — естественная цитадель, и там неприятель установит две батареи; на четвертый день он будет уже в Ренне. А Ренн — это ключ ко всей Бретани. В чьих руках Ренн, у того победа. Если будет взят Ренн, падут Шатонеф и Сен-Мало. В Ренне имеется миллион патронов и пятьдесят полевых орудий.

— Которые они и захватят, — пробурчал Дантон.

Робеспьер продолжал:

— Разрешите кончить. Из Ренна одна колонна пойдет на Фужер, вторая — на Витре, а третья — на Редон. Мосты повсюду разрушены, но, как видно из этого

донесения, неприятель сможет навести понтонные мосты и сбить плоты; кроме того, проводники укажут кавалерийским частям подходящие места для переправы вброд. Из Фужера они направляются на Авранш, из Редона — на Ансенис, из Витре — на Лаваль. Нант сдастся, Брест сдастся. Из Редона открывается дорога по всему течению Вилены, из Фужера на Нормандию, из Витре на Париж. Через две недели в рядах разбойничьей армии будет триста тысяч человек, и вся Бретань окажется в руках французского короля.

— То есть короля английского,— поправил Дантон.

— Нет, французского.

— Французский король хуже английского. Прогнать иноземцев можно в две недели, а чтобы подорвать монархию, понадобилось восемнадцать столетий.

Дантон тем временем уселся, положил локти на стол и, подперев подбородок кулаком, задумался.

— Вы сами теперь видите, как велика опасность,— добавил Робеспьер.— Из Витре англичанам открыта дорога на Париж.

Дантон поднял голову и ударил огромными кулаками по карте, словно по наковальне.

— Скажите, Робеспьер: разве из Вердена пруссакам не открывалась дорога на Париж?

— Ну и что из этого?

— Как ну и что? Прогнали пруссаков, прогоним и англичан.

И Дантон вскочил со стула.

Робеспьер положил холодную ладонь на пылавшую, как в лихорадке, руку Дантона.

— Поймите, Дантон: Шампань не стояла за пруссаков, а Бретань стоит за англичан. Отбить Верден — значит вести обычную войну; взять Витре — значит начать войну гражданскую.

Понизив голос, Робеспьер сказал холодно и многозначительно:

— Разница огромная.— И тут же добавил: — Сядьте, Дантон, и лучше поглядите на карту, чем молотить по ней кулаками.

Но Дантон был весь поглощен своими мыслями.

— Это уж чересчур! — воскликнул он.— Ждать катастрофы с запада, когда она грозит с востока! Я согласен с вами, Робеспьер. Англия может подняться из-за

океана, но ведь из-за Пиренеев подымается Испания, но ведь из-за Альп подымается Италия, но ведь из-за Рейна подымается Германия. А там вдали — могучий русский медведь. Робеспьер! Опасность охватывает нас кольцом. Вне страны — коалиция, внутри — измена. На юге Серван пытается открыть врата Франции испанскому королю, на севере Дюмуре переходит на сторону врага. Впрочем, он всегда угрожал не столько Голландии, сколько Парижу. Нервинд зачеркивает Жемап и Вальми. Философ Рабо Сент-Этьен — изменник, да и чего еще ждать от протестанта? Он переписывается с царедворцем Монтескью. Ряды армии редуют. В любом батальоне сейчас насчитывается не более четырехсот человек; от доблестного Дефонского полка осталось всегонавсего полтораста человек; Памарский лагерь сдан. в Живэ имеется всего лишь пятьсот мешков муки, мы отступаем к Ландау; Вюрмсер теснит Клебера; Майнц пал, но защищался он доблестно, а Конде подло сдался, равно как и Валансьен. Однако же это не помешало Шанселю, защитнику Валансьена, и старику Феро, защитнику Конде, прослыть героями наравне с Менье — защитником Майнца. Но все прочие просто изменники. Дарвиль изменяет в Экс-ла-Шапель, Мутон изменяет в Брюсселе, Валанс изменяет в Бреда, Нэйи изменяет в Лимбурге, Миранда изменяет в Мейстрихте; Стенгель — изменник, Лану — изменник, Лигонье — изменник, Мену — изменник, Диллон — изменник; все они из гнусной породы Дюмуре. Нужна острастка. Мне подозрительны маневры Кюстина; я считаю, что Кюстин предпочитает взять выгоды ради Франкфурт, нежели ради пользы дела — Кобленц. Франкфурт, видите ли, может выложить четыре миллиона контрибуции. Но ведь это же ничто по сравнению с той пользой, которую принесет разгром эмигрантского логова. Утверждаю — это измена. Менье умер тринадцатого июня. Клебер, таким образом, остался один. А пока что герцог Брауншвейгский накапливает силы, переходит в наступление и водружает немецкий флаг во всех взятых им французских городах. Маркграф Бранденбургский вершит ныне дела всей Европы, он прикарманивает наши провинции; вот посмотрите: он еще приберет к рукам Бельгию; похоже, что мы хлопочем для Берлина; если так будет продолжаться и впредь, если мы немедленно не наведем порядок, фран-

цузская революция пойдет на пользу Потсдаму, ибо единственным ее результатом будет то, что Фридрих Второй округлит свои скромные владения, и получится, что мы убили французского короля ради чего?.. Ради выгоды короля прусского.

И Дантон угрожающе захохотал.

Марат улыбнулся, услышав смех Дантона.

— У каждого из вас свой конек. У вас, Дантон,— Пруссия, у вас, Робеспьер,— Вандея. Разрешите же и мне высказаться. Вы оба не видите подлинной опасности, а она здесь, в этих кофейнях и в притонах. Кофейня «Шуазель» — сборище якобинцев, кофейня «Патэн» — сборище роялистов, в кофейне Свиданий нападают на национальную гвардию, а в кофейне «Порт-Сен-Мартен» ее защищают, кофейня «Регентство» против Бриссо, кофейня «Корацца» — за него, в кофейне «Прокоп» клянутся Дидро, в кофейне Французского театра клянутся Вольтером, в кофейне «Ротонда» рвут на клочья ассигнаты, в кофейне «Сен-Марсо» негодуют по этому поводу, кофейня «Манури» раздувает вопрос о муке, в кофейне «Фуа» идут драки и кутежи, в кофейню «Перрон» слетаются трутни, то бишь господа финансисты. Вот это серьезная опасность.

Дантон уже не смеялся. Зато Марат продолжал улыбаться. Улыбка карлика страшнее смеха великана.

— Вы что же это, насмехаетесь, Марат? — проворчал Дантон.

По ляжке Марата прошла нервическая дрожь — его знаменитая судорога. Улыбка сбежала с его губ.

— Узнаю вас, гражданин Дантон. Ведь если не ошибаюсь, именно вы назвали меня перед всем Конвентом — «некто Марат». Так слушайте же. Я прощаю вас. Мы переживаем сейчас нелепейший момент. Так, по-вашему, я насмехаюсь! Еще бы. Кто я такой? Это я разоблачил Шазо, я разоблачил Петiona, я разоблачил Керсэна, я разоблачил Мортонa, я разоблачил Дюффриш-Валазе, я разоблачил Лигонье, я разоблачил Мену, я разоблачил Банвиля, я разоблачил Жансоннэ, я разоблачил Бирона, я разоблачил Лидона и Шамбона. Праз я был или нет? Я издала чую в изменнике измену, и, на мой взгляд, куда полезнее изобличить преступника, пока он не совершил преступления. Я имею привычку говорить еще накануне то, что вы все скажете только завтра. Не кто

иной, как я, предложил Собранию подробно разработанный проект уголовного законодательства. Что я делал до сих пор? Я потребовал, чтобы секции были осведомлены обо всем и тем самым вернее служили резолюции; я велел снять печати с тридцати двух папок тайных документов; я приказал изъять хранившиеся у Ролана бриллианты; я доказал, что бриссотинцы выдавали Комитету общественной безопасности пустые бланки на аресты; я первый указал на пробелы в докладе Лендэ о преступлениях Капета; я голосовал за казнь тирана и потребовал исполнения приговора в двадцать четыре часа; я защищал батальон Моконсейль и батальон Республики; я воспрепятствовал оглашению письма Нарбонна и Малуэ; я внес предложение о помощи раненым солдатам; я добился упразднения Комиссии Шести; я первый почувствовал в поражениях под Монсом измену Дюмуре; я потребовал, чтобы взяли сто тысяч родственников эмигрантов в качестве заложников за наших комиссаров, выданных врагу; я предложил объявить изменником каждого представителя, который осмелится выйти за заставу; я доказал, что в марсельских беспорядках повинен Ролан; я настоял, чтобы назначили награду за голову сына принца Эгалитэ; я защищал Бушотта; я потребовал поименного голосования, чтобы сбросить Инара с председательского кресла; благодаря мне было объявлено о выдающихся заслугах парижан перед отечеством; и вот поэтому-то Луве обозвал меня паяцем, департамент Финистер требует, чтобы меня исключили из состава депутатов, город Луден желает, чтобы меня изгнали из Франции, город Амьен хочет, чтобы мне заткнули рот. Кобург мечтает, чтобы меня арестовали, а Лекуантр-Пюираво предлагает Конвенту объявить меня сумасшедшим. А вы, гражданин Дантон, разве вы не затем позвали меня на ваше тайное свидание, чтобы выслушать мое мнение? Разве я напрашивался? Отнюдь нет! У меня нет ни малейшей охоты беседовать по душам с такими контрреволюционерами, как Робеспьер и вы. Впрочем, ни вы, ни Робеспьер меня не поняли. Где же здесь государственные мужи? Вам еще надо зубрить да зубрить азбуку революции, вам надо все разжевывать и в рот класть. Короче, я вот что хочу сказать: вы оба ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как полагает Робеспьер, и не в Берлине, как полагает Дантон; опасность в самом

Париже. И опасность эта в отсутствии единства, в том, что каждый, начиная с вас двоих, оставляет за собой право тянуть в свою сторону, опасность в разброде умов и в анархии воли...

— Анархия? — прервал его Дантон. — А откуда идет анархия, как не от вас?

Марат даже не взглянул на него.

— Робеспьер, Дантон! Опасность в другом — в этих расплывшихся без счета кофейнях, игорных домах, клубах. Судите сами — клуб Черных, клуб Федераций, Дамский клуб, клуб Беспристрастных, который обязан своим возникновением Клермон-Тоннеру и который в тысяча семьсот девяностом году был просто-напросто клубом монархистов... Затем «Социальный кружок» — изобретение попа Клода Фоше, клуб «Шерстяных колпаков», основанный газетчиком Прюдомом *et caetera*¹, не говоря уже о вашем Якобинском клубе, Робеспьер, и о вашем клубе Кордельеров, Дантон. Опасность в голоде, из-за которого грузчик Блэн вздернул на фонарь около ратуши булочника Франсуа Дени, торговавшего на рынке Палю, и опасность в нашей правосудии, которое повесило грузчика Блэна за то, что он повесил булочника Дени. Опасность в бумажных деньгах, которые обесцениваются с каждым днем. На улице Тамплъ кто-то обронил ассигнату в сто франков, и прохожий, человек из народа, сказал: «За ней и нагибаться не стоит». Барышники и скупщики ассигнатов — вот где опасность. На ратуше мы водрузили черный флаг — ну и что из этого? Вы арестовали барона де Тренка, да разве этого достаточно? Нет, вы сверните шею этому старому тюремному интригану. Вы воображаете, что все сложные вопросы решены, раз председатель Конвента увенчал венком за гражданские доблести Лабертеша, получившего под Жемапом сорок один сабельный удар, а теперь с этим Лабертешем носится Шенье. Все это комедия и фиглярство! Да, вы не видите Парижа! Вы ищете опасность где-то далеко, а она тут, совсем рядом. Ну, скажите, Робеспьер, на что годна ваша полиция? А я знаю, у вас имеются свои шпионы: Пайан — в Коммуне, Кофиналь — в Революционном трибунале, Давид — в Комитете общественной безопасности, Кутон — в Коми-

¹ И так далее (лат.).

тете общественного спасения. Как видите, я достаточно хорошо осведомлен. Так вот, запомните, опасность всюду — над вашей головой и под вашими ногами, кругом заговоры, заговоры, заговоры! Прохожие читают на улицах вслух газеты и многозначительно покачивают головой. Шесть тысяч человек, не имеющих свидетельства о благонадежности, возвратившиеся эмигранты, мяскадены и шпионы укрылись в погребках, на чердаках и в галереях Пале-Рояля; у булочных очереди; у каждого порога бедные женщины молитвенно складывают руки и спрашивают: «Когда же наконец наступит мир?» И зря вы запираетесь в залах Исполнительного совета в надежде, что вас никто не услышит, — каждое ваше слово известно всем; и вот доказательство — не далее как вчера вы, Робеспьер, сказали Сен-Жюсту: «Барбару отрастил себе брюшко, а при побеге это обременительно». Да, опасность всюду, и в первую очередь она здесь — в сердце страны, в самом Париже. Бывшие люди затевают заговоры, добрые патриоты ходят босиком, аристократы, арестованные девятого марта, уже разгуливают на свободе; великолепные кони, которых давно пора перегнать к границе и запрячь в пушки, обрызгивают нас на парижских улицах грязью; четырехфунтовый каравай хлеба стоит три франка двадцать су; в театрах играют похабные пьесы... и скоро Робеспьер пошлет Дантона на гильотину.

— Как бы не так! — сказал Дантон.

Робеспьер внимательно разглядывал разостланную на столе карту.

— Спасение только в одном! — вдруг воскликнул Марат. — Спасение в диктаторе. Вы знаете, Робеспьер, что я требую диктатора.

Робеспьер поднял голову.

— Знаю, Марат. Им должны быть вы или я.

— Я или вы, — сказал Марат.

Дантон буркнул сквозь зубы:

— Диктатура? Только попробуйте!

Марат заметил, как гневно насупил брови Дантон.

— Что ж, — сказал он. — Попытаемся в последний раз. Может быть, удастся прийти к соглашению. Положение таково, что стоит постараться. Ведь удалось же нам достичь согласия тридцать первого мая. А теперь речь идет о главном вопросе, который куда серьезнее,

чем жирондизм, в сущности являющийся вопросом частным. В том, что вы говорите, есть доля истины; но вся истина, настоящая, подлинная истина, в моих словах. На юге — федерализм, на западе — роялизм, в Париже — поединок между Конвентом и Коммуной; на границах — отступление Кюстина и измена Дюмурье. Что все это означает? Разлад. А что нам требуется? Единство. Спасение в нем одном, но надо спешить. Пусть Париж руководит революцией. Если мы упустим хотя бы один час, вандейцы завтра же войдут в Орлеан, а пруссаки — в Париж. Я согласен в этом с вами, Дантон, я присоединяюсь к вашему мнению, Робеспьер. Будь по-вашему. Итак, единственный выход — диктатура. Значит — пусть будет диктатура. Мы трое представляем революцию. Мы подобны трем головам Цербера. Одна говорит, — это вы, Робеспьер; другая рычит, — это вы, Дантон...

— А третья кусается, — прервал Дантон, — и это вы, Марат.

— Все три кусаются, — поправил Робеспьер.

Воцарилось молчание. Потом снова началась беседа, полная грозных подземных толчков.

— Послушайте, Марат: прежде чем вступать в брачный союз, нареченным не мешает поближе познакомиться. Откуда вы узнали, что я вчера говорил Сен-Жюсту?

— Это уж мое дело, Робеспьер.

— Марат!

— Моя обязанность все знать, а как я получаю сведения — это уж никого не касается.

— Марат!

— Я люблю все знать.

— Марат!

— Да, Робеспьер, я знаю то, что вы сказали Сен-Жюсту, равно и то, что Дантон говорил Лакруа; я знаю, что творится на набережной Театэн, в особняке Лабрифа — притоне, где встречаются сирены эмиграции; я знаю также, что происходит в доме Тилля, близ Гонесса, в доме, принадлежавшем Вальмеранжу, бывшему начальнику почт, — там раньше бывали Мори и Казалес, затем Сийес и Верньо, а ныне раз в неделю туда заглядывает еще кое-кто.

При слове «кое-кто» Марат взглянул на Дантона.

— Будь у меня власти хоть на два гроша, я бы знал, что делать! — воскликнул Дантон.

Марат продолжал:

— Я знаю, что сказали вы, Робеспьер, так же как я знаю, что происходило в тюрьме Тампль, знаю, как там откармливали, словно на убой, Людовика Шестнадцатого, знаю, что за один сентябрь месяц волк, волчица и волчата сожрали восемьдесят шесть корзин персиков, а народ тем временем голодал. Я знаю также, что Ролан прятался в укромном флигеле на заднем дворе по улице Ла-Гарп; я знаю также, что шестьсот пик, пущенных в дело четырнадцатого июля, были изготовлены Фором, кузнецом герцога Орлеанского; я знаю также, что происходит у госпожи Сент-Илер, любовницы Силлери; в дни балов старик Силлери сам натирает паркет в желтом салоне на улице Нев-де-Матюрен; Бюзо и Керсэн там обедали. Двадцать седьмого августа там обедал Саладэн, и с кем же? С вашим другом Ласурсом, Робеспьер!

— Вздор! — пробормотал Робеспьер, — Ласурс мне вовсе не друг. — И задумчиво добавил: — А пока что в Лондоне восемнадцать фабрик выпускают фальшивые ассигнаты.

Марат продолжал все так же спокойно, но с легкой дрожью в голосе, наводившей ужас:

— Вы — это заговор верхушки. Да, я знаю все, знаю вопреки тому, что подразумевает Сен-Жюст под формулой «молчание государства».

Последние слова Марат произнес с расстановкой и, кинув на Робеспьера быстрый взгляд, продолжал:

— Я знаю все, что говорится за вашим столом в те дни, когда Леба приглашает Давида отведать пирогов, которые печет Элизабет Дюпле, ваша будущая свояченица, Робеспьер. Я всевидящее око народа и вижу все из своего подвала. Да, я вижу, да, я слышу, да, я знаю. Вы довольствуетесь малым. Вы восхищаетесь сами собой. Робеспьер щеголяет перед своей мадам де Шалабр, дочерью того самого маркиза де Шалабр, который играл в вист с Людовиком Пятнадцатым в день казни Дамьена. О, вы научились задирать голову! Сен-Жюста из-за галстука и не видно. Лежандр всегда одет с иголочки — новый сюртук, белый жилет, жабо. Хочет, чтобы забыли, как он разгуливал в фартуке. Робеспьер воображает, что история запомнит оливковый камзол, в котором его



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть первая.* В море.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть первая.* В море.

видало Учредительное собрание, и небесно-голубой фрак, которым он пленяет Конвент. У него по всей спальне развешаны его собственные портреты...

— Зато ваши портреты, Марат, валяются во всех сточных канавах,— сказал Робеспьер, и голос его звучал еще спокойнее и ровнее, чем голос Марата.

Их беседа со стороны могла показаться безобидным пререканием, если бы не медлительность речей, подчеркивавшая ярость реплик, намеков и окрашивавшая иронией взаимные угрозы.

— Если не ошибаюсь, Робеспьер, вы называли тех, кто хотел свергнуть монархию, «донкихотами рода человеческого».

— А вы, Марат, после четвертого августа в номере пятьсот пятьдесят девятом вашего *Друга народа*,— да, да, представьте, я запомнил номер, всегда может пригодиться,— так вот, вы требовали, чтобы дворянам вернули титулы. Помните? Вы тогда заявляли: «Герцог всегда останется герцогом».

— А вы, Робеспьер, на заседании седьмого декабря защищали госпожу Ролан против Виара.

— Точно так же как вас, Марат, защищал мой родной брат, когда на вас обрушились в клубе якобинцев. Что это доказывает? Ровно ничего.

— Робеспьер! Известно даже, в каком из кабинетов Тюильри вы сказали Гара: «Я устал от революции».

— А вы, Марат, здесь, в этой самой кофейне, двадцать девятого октября облобызали Барбару.

— А вы, Робеспьер, сказали Бюзо: «Республика? Что это такое?»

— А вы, Марат, в этом самом кабаке угощали заварком марсельцев, по три человека от каждой роты.

— А вы, Робеспьер, взяли себе в телохранители рыночного силача, вооруженного дубиной.

— А вы, Марат, накануне десятого августа умоляли Бюзо помочь вам бежать в Марсель и даже собирались для этого случая нарядиться жоксем.

— Во время сентябрьских событий вы просто спрятались, Робеспьер.

— А вы, Марат, слишком уж старались быть на виду.

— Робеспьер! Вы швырнули на пол красный колпак.

— Швырнул, когда его надел изменник. То, что украшает Дюмурье, марает Робеспьера.

— Робеспьер! Вы запретили накрыть покрывалом голову Людовика Шестнадцатого, когда мимо проходили солдаты Шатовье.

— Зато я сделал нечто более важное,— я ее отрубил. Дантон счел нужным вмешаться в разговор, но только подлил масла в огонь.

— Робеспьер, Марат! — сказал он. — Да успокойтесь вы!

Марат не терпел, когда его имя произносилось вторым.

Он повернулся к Дантону.

— При чем тут Дантон? — спросил он.

Дантон вскочил со стула.

— При чем тут я? Вот при чем. При том, что не должно быть братоубийства, не должно быть борьбы между двумя людьми, раз они оба служат народу. Довольно с нас войны с иностранными державами, довольно с нас гражданской войны, недостает нам еще домашних войн. Я делаю революцию и не позволю с нею разделиться. Вот почему я вмешиваюсь.

Марат ответил ему, даже не повысив голоса.

— Представьте лучше отчет о своих действиях.

— Отчет? — завопил Дантон. — Идите спрашивать отчета у Аргонских ущелий, у освобожденной Шампани, у покоренной Бельгии, у армий, где я четырежды подставлял грудь под пули; идите спрашивайте отчеты у площади Революции, у эшафота, воздвигнутого двадцать первого января, у повергнутого трона, у гильотины, у этой вдовы...

Марат прервал Дантона:

— Гильотина не вдова, а девица; на нее ложатся, но се не оплодотворяют.

— Вам-то откуда знать? — отрезал Дантон. — Я вот ее оплодотворю.

— Что ж, посмотрим, — ответил Марат.

И улыбнулся.

Дантон заметил эту улыбку.

— Марат! — вскричал он. — Вы человек подвалов, а я живу под открытым небом и при свете дня. Ненавижу жизнь пресмыкающихся. Быть мокрицей — покорно благодарю! Вы живете в подвале, я живу на улице. Вы

не общаетесь ни с кем, а меня видит любой, и любой может обратиться ко мне.

— Еще бы!.. «Мальчик, пойдем?..» — буркнул Марат и, стерев с лица следы улыбки, властно заговорил: — Дантон! Потрудитесь дать отчет в истраченной вами сумме в тридцать три тысячи экю звонкой монетой. каковую вам вручил Монморен от имени короля якобы за то, что вы исполняли в Шатле должность прокурора.

— За меня отчитывается четырнадцатое июля, — выскомерно ответил Дантон.

— А дворцовые кладовые? А бриллианты короны?

— За меня отчитывается шестое октября.

— А хищения в Бельгии вашего *alter ego* Лакруа?

— За меня отчитывается двадцатое июня.

— А ссуды, выданные вами госпоже Монтансье?

— Я подымал народ в день возвращения короля из Варенна.

— А не на ваши ли средства построен зал в Опере?

— Я вооружил парижские секции.

— А сто тысяч ливров из секретных фондов министерства юстиции?

— Я осуществил десятое августа.

— А два миллиона, негласно израсходованные Соображением, из которых вы присвоили себе четверть?

— Я остановил наступление врага и преградил путь коалиции королей.

— Продажная тварь! — бросил Марат.

Дантон вскочил со стула; он был страшен.

— Да! — закричал он. — Я публичная девка, я продавался, но я спас мир.

Робеспьер молча грыз ногти. Он не умел хохотать, не умел улыбаться. Он не знал ни смеха, которым как громом, разил Дантон, ни улыбки, которой жалил Марат.

Дантон продолжал:

— Я подобен океану, и у меня тоже есть свои приливы и отливы; когда море отступает, видно мое дно, а в час прибоя видны мои волны.

— Вернее, ваша пена, — сказал Марат.

— Мой шторм, — сказал Дантон.

Марат тоже поднялся со стула. В голосе его звучал гнев. Уж внезапно превратился в дракона.

— Эй! — закричал он. — Эй, Робеспьер! Эй, Дантон! Вы не хотите меня слушать! Смею вас заверить, — вы оба пропали. Ваша политика зашла в тупик, перед ней нет пути, у вас обоих нет выхода, и своими собственными действиями вы захлопываете перед собой все двери, кроме дверей склепа.

— В этом-то наше величие, — ответил Дантон.

И презрительно пожал плечами.

Марат продолжал:

— Берегись, Дантон. У Верньо тоже был огромный губастый рот, и в гневе он тоже хмурил чело. Верньо тоже был рябой, как ты и Мирабо, однако тридцать первое мая свершилось. Не пожимай плечами, Дантон, — как бы голова не отвалилась. Твой громовой голос, твой небрежно повязанный галстук, твои мягкие сапожки, твои слишком тонкие ужины и слишком толстые карманы — все это прямой дорогой ведет к Луизетте.

Луизеттой Марат в приливе нежности называл гильотину.

— А ты, Робеспьер, — продолжал он, — ты хоть и умеренный, но это тебя не спасет. Что ж, пудрись, взбивай букли, счищай пылинки, щеголай, меняй каждый день сорочки, прихорашивайся, франти — все равно тебе не миновать Гревской площади; прочти-ка декларацию: в глазах герцога Брауншвейгского ты второй Дамьен и цареубийца, — одевайся с иголки, все равно от топора не уйти.

— Подголосок Кобленца, — процедил сквозь зубы Робеспьер.

— Нет, Робеспьер, я не чей-то подголосок, я голос всех. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Дантон? Тридцать четыре? Сколько тебе лет, Робеспьер? Тридцать три? Ну, а я жил вечно, я — извечное страдание человеческое, мне шесть тысяч лет.

— Верно сказано, — подхватил Дантон, — шесть тысяч лет Каин, нетленный в своей злобе, просидел жив и невредим, как жаба под камнем, и вдруг скала раскололась, Каин выскочил на свет божий, и Каин этот — Марат.

— Дантон! — крикнул Марат. И в его глазах зажглось тусклое пламя.

— Что прикажете? — спросил Дантон.

Так беседовали три грозных человека. Схватка бурь.

III

Содрожаются тайные струны

Разговор умолк; каждый из трех титанов погрузился в свои думы.

Львы настораживаются, завидев гидру. Робеспьер побледнел, Дантон побагровел. По их телу прошла дрожь. Злобный блеск погас в зрачках Марата; спокойствие, властное спокойствие запечатлелось на лице этого человека, грозного даже для грозных.

Дантон почувствовал, что потерпел поражение, но не желал сдаваться. Он первым нарушил молчание:

— Марат громогласно вещает о диктатуре и единстве, но силен лишь в одном искусстве — всех разъединять.

Нехотя разжав тонкие губы, Робеспьер добавил:

— Я лично придерживаюсь мнения Анахарсиса Клотоса и повторяю вслед за ним: ни Ролан, ни Марат.

— А я говорю: ни Дантон, ни Робеспьер, — заявил Марат и, пристально поглядев на обоих своих собеседников, произнес: — Разрешите дать вам один совет, Дантон. Вы влюблены, вы намереваетесь снова сочетаться законным браком, так оставьте политику, будьте благо-разумны.

Сделав два шага к двери, он поклонился и зловеще вымолвил:

— Прощайте, господа!

Дантон и Робеспьер вздрогнули.

Вдруг чей-то голос прозвучал из глубины комнаты:

— Ты не прав, Марат.

Все трое оглянулись. Во время гневной вспышки Марата кто-то незаметно проник в комнату через заднюю дверь.

— А, это ты, гражданин Симурдэн! — сказал Марат. — Ну, здравствуй.

Действительно, вошедший оказался Симурдэном.

— Я говорю, что ты не прав, Марат, — повторил он.

Марат позеленел; в тех случаях, когда другие бледнеют, он зеленел.

Симурдэн продолжал:

— Ты принес много пользы, но и без Робеспьера и

Дантона тоже не обойтись. Зачем же им грозить? Единение, единение, граждане! Народ требует единения.

Приход Симурдэна произвел на присутствующих действие холодного душа, и подобно тому как появление постороннего лица кладет конец семейной ссоре, распря утихла, если не в подспудных своих глубинах, то, во всяком случае, на поверхности.

Симурдэн подошел к столу.

Дантон и Робеспьер тоже знали его в лицо. Они не раз замечали в Конвенте на скамьях для публики рас-
ского незнакомца, которого приветствовал народ. Однако законник Робеспьер не удержался и спросил:

— Каким образом, гражданин, вы сюда попали?

— Он из Епископата, — ответил Марат, и голос его прозвучал даже как-то робко.

Марат бросал вызов Конвенту, вел за собой Коммуну и боялся Епископата.

Это своего рода закон.

На определенной глубине Мирабо начинает чувствовать, как зашевелился Робеспьер, Робеспьер так же чувствует Марата, Марат чувствует Эбера, Эбер — Бабефа. Пока подземные пласты находятся в состоянии покоя, политический деятель может шагать смело; но самый отважный революционер знает, что под ним существует подпочва, и даже наиболее храбрые останавливаются в тревоге, когда чувствуют под своими ногами движение, которое они сами родили себе на погибель.

Уметь отличать подспудное движение, порожденное личными притязаниями, от движения, порожденного силою принципов, сломить одно и помочь другому — в этом гений и добродетель великих революционеров.

От Дантона не укрылось смущение Марата.

— Гражданин Симурдэн здесь отнюдь не лишний, — сказал он и протянул Симурдэну руку. — Давайте же, черт побери, объясним суть дела гражданину Симурдэну. Он пришел как нельзя более кстати. Я представляю Гору, Робеспьер представляет Комитет, а Симурдэн представляет Епископат. Пусть он нас и рассудит.

— Что ж, — просто и серьезно заговорил Симурдэн, — о чем шла речь?

— О Вандее, — ответил Робеспьер.

— О Вандее? — повторил Симурдэн. — Это серьез-

ная угроза. Если революция погибнет, то погибнет она по вине Вандеи. Вандея страшней, чем десять Германий. Для того чтобы осталась жива Франция, нужно убить Вандею.

Этими немногими словами Симурдэн завоевал сердце Робеспьера.

Тем не менее Робеспьер осведомился:

— Вы, должно быть, бывший священник?

Робеспьер безошибочно определял по внешнему виду духовных особ. Он замечал в других то, что было скрыто в нем самом.

— Да, гражданин,— ответил Симурдэн.

— Ну и что тут такого? — вскричал Дантон. — Если священник хорош, так уж хорош по-настоящему, не в пример прочим. В годину революции священники переплавляются в граждан, подобно тому как колокола переплавляют в монету и в пушки. Данжу — священник, Дону — священник, Тома Лендэ — эврский епископ. Да вы сами, Робеспьер, сидите в Конвенте рядом с Масье, епископом из Бове. Главный викарий Вожуа десятого августа состоял в комитете, руководившем восстанием. Шаббо — монах-капуцин. Не кто иной, как отец Жерль, приводил людей к присяге в Зале для игры в мяч; не кто иной, как аббат Одран, потребовал, чтобы власть Национального собрания поставили выше власти короля; не кто иной, как аббат Гутт, настоял в Законодательном собрании, чтобы с кресел Людовика Шестнадцатого сняли балдахин; не кто иной, как аббат Грегуар, поднял вопрос об упразднении королевской власти.

— При поддержке этого шута горохового Колло д'Эрбуа,— ядовито заметил Марат. — Оба трудились сообща: священник опрокинул трон, а лицедей толкнул короля.

— Вернемся к Вандее,— предложил Робеспьер.

— В чем же дело? — спросил Симурдэн. — Что там случилось? Что она натворила, эта Вандея?

На этот вопрос ответил Робеспьер:

— Дело вот в чем: отныне в Вандее есть вождь. Она становится грозной силой.

— Что же это за вождь, гражданин Робеспьер?

— Это бывший маркиз де Лантенак, который именует себя принцем Бретонским.

Симурдэн сделал невольное движение.

— Я знаю Лантенака,— сказал он.— Я был священником в его приходе.

Он подумал с минуту и добавил:

— Прежде чем стать служителем Марса, он был поклонником Венеры.

— Как и Бирон, который не уступал Лозену,— бросил Дантон.

Симурдэн раздумчиво произнес:

— Да, этот Лантенак пожил в свое удовольствие. Сейчас он, должно быть, просто страшен.

— Скажите: ужасен,— подхватил Робеспьер.— Он жжет деревни, приканчивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин.

— Женщин?

— Да, представьте. Вместе со всеми прочими он приказал расстрелять одну женщину — мать троих детей. Что случилось с детьми — неизвестно. Кроме того, он военный. И умеет воевать.

— Умеет,— согласился Симурдэн.— В ганноверскую кампанию солдаты даже сложили поговорку: «Ришелье предполагает, а Лантенак располагает». Лантенак и был тогда настоящим командиром. Спросите-ка о нем у нашего коллеги Дюссо.

Робеспьер, погруженный в свои думы, не ответил, потом снова обратился к Симурдэну:

— Так вот, гражданин Симурдэн, этот человек находится сейчас в Вандее.

— И давно?

— Уже три недели.

— Надо объявить его вне закона.

— Объявлен.

— Надо оценить его голову.

— Оценена.

— Надо пообещать за его поимку много денег.

— Обещано.

— И не в ассигнатах.

— Сделано.

— В золоте.

— Сделано.

— Надо его гильотинировать.

— Гильотинируем!

— Кто же?

— Вы!

— Я?

— Да, вы. Комитет общественного спасения направляет вас туда с самыми широкими полномочиями.

— Согласен,— ответил Симурдэн.

Робеспьер был скор в выборе людей,— еще одно ценное качество государственного деятеля. Он вытащил из папки, лежавшей на столе, листок чистой бумаги с отпечатанным вверху штампом: «Французская республика, единая и неделимая. Комитет общественного спасения».

Симурдэн продолжал:

— Да, я согласен. Устрашение против устрашения. Лантенак жесток, что ж, и я буду жестоким. Объявим этому человеку войну не на жизнь, а на смерть. Я освобожу от него Республику, если на то будет воля божия.

Он помолчал, затем заговорил снова:

— Я — священник, и я верю в бога.

— Бог нынче устарел,— заявил Дантон.

— Я верю в бога,— невозмутимо повторил Симурдэн.

Робеспьер мрачно и одобрительно кивнул головой.

— А к кому меня решено прикомандировать?

— К командиру экспедиционного отряда, направленного против Лантенака,— ответил Робеспьер.— Только предупреждаю вас: он аристократ.

— Ну и что ж такого? — воскликнул Дантон.— Аристократ! Подумаешь, беда какая. То, что мы сейчас говорили о священниках, применимо и к аристократам. Когда аристократ хорош, он просто превосходен. Дворянство — предрассудок, и с этим предрассудком надо считаться, но не надо его преувеличивать: ни за, ни против. Робеспьер! Да разве Сен-Жюст не аристократ? Слава богу, Флорель де Сен-Жюст! Анахарсис Клоотс — барон. Наш друг Карл Гесс, который не пропускает ни одного заседания в клубе Кордельеров,— принц и брат ныне правящего ландграфа Гессен-Ротенбургского. Монто, ближайший друг Марата, на самом деле маркиз де Монто. Наконец, в числе присяжных Революционного трибунала имеются священник Вилат и аристократ Леруа, маркиз де Монфлабер. И оба люди вполне надежные.

— Вы забыли,— добавил Робеспьер,— председателя Революционного трибунала.

— Антоннеля?

— Да, маркиза Антоннеля,— подчеркнул Робеспьер. Дантон снова заговорил:

— Аристократ — Дампьер, который недавно при Конде пал за Республику, аристократ — Борепэр, который предпочел пустить себе пулю в лоб, но не открыл пруссакам ворота Вердена.

— Однако ж,— проворчал Марат,— когда Кондорсе сказал: «Гракхи были аристократами», это не помешало тому же Дантону крикнуть с места: «Все аристократы изменники, начиная с Мирабо и кончая тобой!»

Раздался спокойный и важный голос Симурдэна:

— Гражданин Дантон, гражданин Робеспьер! Может быть, вы оба и правы, доверяя аристократам, но народ им не доверяет, и хорошо делает, что не доверяет. Когда священнику поручают следить за аристократом, то на плечи священника ложится двойная ответственность, и священник должен быть непреклонен.

— Совершенно справедливо,— сказал Робеспьер.

Симурдэн добавил:

— И неумолим.

— Прекрасно сказано, гражданин Симурдэн,— подхватил Робеспьер.— Вам придется иметь дело с молодым человеком. Будучи старше его вдвое, вы можете оказать на него благотворное влияние. Его надо направлять, но надо его и щадить. По-видимому, он талантливый военачальник, во всяком случае, все донесения свидетельствуют об этом. Его отряд входит в корпус, который выделили из Рейнской армии и перебросили в Вандею. Он прибыл с границы, где отличился и умом и отвагой. Он умело командует экспедиционным отрядом. Вот уже две недели он не дает передышки старому маркизу де Лантенаку. Теснит и гонит его. В конце концов он окончательно оттеснит маркиза и сбросит его в море. Лантенак обладает хитростью старого вояки, а он — отвагой молодого полководца. У этого молодого человека уже есть враги и завистники. В частности, ему завидует и с ним соперничает генерал Лешель.

— Уж этот мне Лешель! — прервал Дантон.— Вбил себе в голову, что должен быть генерал-аншефом. Непло-

хой про него сложили каламбур: *Il faut Léchelle pour monter sur Charette*¹. А пока что Шаретт его бьет.

— И Лешель желает,— продолжал Робеспьер,— чтобы честь победы над Лантенаком выпала только ему, и никому другому. Все беды вандейской войны — в этом соперничестве. Если угодно знать, наши солдаты — герон, но сражаются они под началом скверных командиров. Простой гусарский капитан Шамбон подходит к Сомиюру под звуки фанфар и пение *Ça ira* и берет Сомиюру; он мог бы развить операцию и взять Шоле, но, не получая никаких приказов, не двигается с места. В Вандее необходимо сменить всех военачальников. Там зря дробят войска, зря распыляют силы, а ведь рассредоточенная армия — это армия парализованная; была крепкая глыба, а ее превратили в пыль. В Парамейском лагере остались пустые палатки. Между Трегье и Динаном без всякой пользы для дела разбросаны сто мелких постов, а их следовало бы объединить в дивизион и прикрыть все побережье. Лешель, с благословения Парена, обнажил северное побережье под тем предлогом, что необходимо-де защищать южное, и, таким образом, открыл англичанам путь в глубь страны. План Лантенака сводится к следующему: полмиллиона восставших крестьян плюс высадка англичан на французскую землю. А наш молодой командир экспедиционного отряда гонится по пятам за Лантенаком, настигает и бьет его, не дожидаясь разрешения Лешеля, а Лешель — его начальник. Вот Лешель и доносит на своего подчиненного. Относительно этого молодого человека мнения разделились. Лешель хочет его расстрелять, Приер из Марны хочет произвестить его в генерал-адъютанты.

— Насколько я могу судить,— сказал Симурдэн,— этот молодой человек обладает незаурядными достоинствами.

— Однако у него есть недостаток!

Это замечание сделал Марат.

— Какой же? — осведомился Симурдэн.

— Мягкосердечие,— произнес Марат и продолжал: — В бою мы тверды, а вне его — слабы. Милуем, прощаем, щадим, берем под покровительство благочестия.

¹ Нужен Лешель, чтобы подняться на Шаретта (франц.). Игра слов, основанная на созвучии фамилии Лешель со словом «лестница» и фамилии Шаретт со словом «повозка».

вых монахинь, спасаем жен и дочерей аристократов, освобождаем пленных, выпускаем на свободу священников.

— Серьезная ошибка,— пробормотал Симурдэн.

— Нет, преступление,— сказал Марат.

— Иной раз — да,— сказал Дантон.

— Часто,— сказал Робеспьер.

— Почти всегда,— заметил Марат.

— Если имеешь дело с врагами родины — всегда,— сказал Симурдэн.

Марат повернулся к Симурдэну:

— А что ты сделаешь с республиканским вождем, который выпустит на свободу вожака монархистов?

— В данном случае я придерживаюсь мнения Лешелля: я бы его расстрелял.

— Или гильотинировал,— сказал Марат.

— То или другое, на выбор,— подтвердил Симурдэн.

Дантон расхохотался.

— По мне, и то и другое хорошо,— сказал он.

— Не беспокойся, тебе уготовано не одно, так другое,— буркнул Марат.

Отведя взгляд от Дантона, он обратился к Симурдэну:

— Значит, гражданин Симурдэн, если республиканский вождь совершит ошибку, ты велишь отрубить ему голову?

— В двадцать четыре часа.

— Что ж,— продолжал Марат,— я согласен с Робеспьером: пошлем гражданина Симурдэна в качестве комиссара Комитета общественного спасения при командующем экспедиционным отрядом береговой армии. А как зовут этого командира?

— Он из бывших, аристократ,— ответил Робеспьер и стал рыться в бумагах.

— Пошлем священника следить за аристократом! — воскликнул Дантон.— Я лично не очень-то доверяю священнику, действующему в одиночку, так же как и аристократу в подобных обстоятельствах, но когда они действуют совместно,— я спокоен: один следит за другим, и все идет прекрасно.

Гневная складка, залегшая между бровями Симурдэна, стала еще резче, но, очевидно, он счел замечание справедливым, ибо даже не оглянулся в сторону Данто-

на, и лишь суровый его голос прозвучал громче обычного:

— Если республиканский командир, который доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь.

Робеспьер, не поднимая глаз от бумаг, произнес:

— Нашел. Гражданин Симурдэн! Командир, в отношении которого вы облечены всей полнотой власти,— бывший виконт. Зовут его Говэн.

Симурдэн побледнел.

— Говэн!— воскликнул он.

От взора Марата не укрылась бледность Симурдэна.

— Виконт Говэн,— повторил Симурдэн.

— Да,— подтвердил Робеспьер.

— Итак? — спросил Марат, не спуская с Симурдэна глаз.

Наступило молчание. Марат заговорил первым:

— Гражданин Симурдэн! Вы согласились на условиях, которые только что указали сами, принять должность комиссара при командире Говэне. Решено?

— Решено,— ответил Симурдэн.

Он побледнел еще больше.

Робеспьер взял перо, лежавшее рядом с бумагами, не спеша вывел четким почерком четыре строчки на бланке, в углу которого значилось: «Комитет общественного спасения», поставил свою подпись и протянул листок Дантону; Дантон подписал бумагу, а Марат, не спускавший глаз с мертвенно-бледного лица Симурдэна, подписался ниже подписи Дантона.

Робеспьер снова взял листок, поставил число и протянул бумагу Симурдэну; Симурдэн прочел следующее:

«II год Республики.

Сим даются неограниченные полномочия гражданину Симурдэну, чрезвычайному комиссару Комитета общественного спасения, прикомандированному к гражданину Говэну, командиру экспедиционного отряда береговой армии.

Робеспьер. Дантон. Марат».

Ниже подписей дата: «28 июня 1793 года».

Революционный календарь, именуемый также гражданским календарем, не получил еще в ту пору офици-

ального распространения и был принят Конвентом по предложению Ромма лишь 5 октября 1793 года.

Пока Симурдэн перечитывал бумагу, Марат пристально глядел на него.

Потом он заговорил вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:

— Необходимо принять соответствующий декрет в Конвенте или специальное решение в Комитете общественного спасения. Кое-что придется добавить и уточнить.

— Гражданин Симурдэн! А где вы живете? — спросил Робеспьер.

— На Торговом дворе.

— Значит, соседи, — сказал Дантон, — я тоже там живу.

— Нельзя терять ни минуты, — продолжал Робеспьер. — Завтра вы получите приказ о вашем назначении за подписью всех членов Комитета общественного спасения. Это и будет официальным подтверждением ваших полномочий для наших представителей: Филиппо, Приера из Марны, Лекуантра, Алкье и других. Мы вас знаем. Вам даются неограниченные полномочия. В вашей власти сделать Говэна генералом или послать его на плаху. Приказ будет у вас завтра в три часа. Когда вы намереваетесь выехать?

— В четыре, — ответил Симурдэн.

И собеседники разошлись по домам.

Вернувшись к себе, Марат предупредил Симонну Эварар, что завтра он идет в Конвент.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КОНВЕНТ

I

Конвент

Мы приближаемся к высочайшей из вершин.

Перед нами Конвент.

Такая вершина невольно приковывает взор.

Впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека.

Есть Гималаи, и есть Конвент.

Быть может, Конвент — кульминационный пункт истории.

При жизни Конвента, — ибо собрание людей это нечто живое, — не отдавали себе отчета в его подлинном значении. От современников ускользнуло самое главное — величие Конвента; величие это не ослепляло, а внушало страх. Все великое внушает священный ужас. Восхищаться посредственностью и невысокими пригорками — по плечу любому; но то, что слишком высоко — человеческий гений или утес, собрание людей или совершеннейшее произведение искусства, — на близком расстоянии внушает страх. Любая вершина кажется преувеличением. Восхождение утомительно. Задыхаешься на крутых подъемах, скользишь на спусках, сбиваешь ноги о выступы утесов, а ведь в них и есть красота; водопад, ревущий в дымке пены, предвещает разверзшуюся пропасть; облака окутывают пики вершин; подъем пугает не меньше, чем падение. Поэтому-то страх пересиливает восторги. И невольно проникаешься странным чувством — отвращением к великому. Видишь бездны, но не видишь возвышенного, видишь чудовищное, не видишь чудесного. Именно так судили поначалу о Конвенте.

те. Конвент мерили своей меркой близорукие, а его впо-ру было созерцать орлам.

Ныне он виден нам в перспективе времени, и на фоне бескрайних небес, в безоблачно-чистой и трагической дали вырисовывается гигантский абрис французской революции.

II

14 июля — освобождение.

10 августа — гроза.

21 сентября — заложение основ.

21 сентября — равноденствие, равновесие. *Libra* — Весы. По меткому замечанию Ромма, французская революция была провозглашена под знаком Равенства и Справедливости. Ее пришествие было возведено созвездием.

Конвент — первое из воплощений народа. С Конвентом была открыта новая великая страница, с него начался будущий день — наш сегодняшний день.

Каждая идея нуждается в осязаемом выражении, каждому принципу нужна зримая оболочка; церковь — не что иное, как идея бога, заключенная в четырех стенах: каждый догмат требует храма. Когда на свет появился Конвент, необходимо было решить прежде всего вопрос, где ему обитать.

Сначала заняли здание Манежа, потом дворец Тюильри. Там, в Тюильри, установили раму, декорацию, огромную гризайль работы Давида, расположили симметрично скамьи, воздвигли квадратную трибуну, наставили в два ряда пилястры с цоколями, похожими на чурбаны, нагородили прямоугольных тесных клетушек и назвали их трибунами для публики, натянули матерчатый навес, как у римлян, повесили греческие драпировки, и среди этих прямых углов, среди этих прямых линий поместили Конвент; в геометрическую фигуру втиснули ураган. Фригийский красный колпак на трибуне выкрасили в серый цвет. Роялисты поначалу насмехались над этим серым, то бишь красным колпаком, над этими театральными декорациями, над монументами из папье-маше, над этим картонным святилищем, над этим пантеоном в грязи и плевках. Нет, всему этому долго не продержаться! Колонны понаделали из бочарной клепки, своды из дранок, барельефы из цемента, кар-

низы из еловых досок, статуи из гипса, стены из холста, а мрамор просто нарисовали, но в этой недолговечной оболочке Франция творила вечное.

Стены зала Манежа, когда там заседал Конвент, были увешаны афишами, которые красовались по всему Парижу в дни возвращения короля из Варенна. Одна из них гласила: «Король возвращается! Бейте дубинками того, кто ему рукоплещет, вешайте тех, кто его оскорбляет». Другая: «Смирно. Шапок не снимать. Сейчас он предстанет перед судьями». Еще одна: «Король долгое время держал на мушке всю французскую нацию. Слишком долго он целился в нас. Теперь пришел черед нации взяться за оружие». И еще: «Закон! Закон!» В этих стенах Конвент судил Людовика XVI.

С 10 мая 1793 года Конвент стал заседать в Тюильри, который называли тогда Национальным дворцом; зал заседаний занимал все пространство между бывшим павильоном Часов, переименованным в павильон Единства, и павильоном Марсан, переименованным в павильон Свободы. Павильон Флоры называли павильоном Равенства. Сюда, в зал заседаний, подымались по главной лестнице работы Жана Бюллана. Весь второй этаж был занят Конвентом, а в первом этаже во всю длину дворца в огромных залах устроили караульное помещение,— здесь стояли ружья в козлах, походные койки и толпились солдаты всех родов оружия, оберегавшие Конвент. Собрание охранялось специальным почетным караулом, носившим название «гренадеров Конвента».

Лишь трехцветная лента отделяла дворец от сада, где свободно расхаживал народ.

III

Что еще сказать о зале заседаний Конвента? Все в этом грозном месте заслуживает нашего внимания.

Первое, что бросалось в глаза каждому входящему,— это большая статуя Свободы, помещавшаяся в простенке между двух высоких окон.

Сорок два метра в длину, десять метров в ширину и одиннадцать метров в высоту — таковы были размеры бывшего королевского театра, который стал театром революции. Изящная и пышная зала, построенная Вигарани для придворных развлечений, совсем исчезла под

уродливым помостом, который в девяносто третьем году выносил на себе огромную тяжесть — тяжесть народных толп. Любопытно отметить, что этот помост, где устроили трибуны для публики, имел в качестве опоры один-единственный столб. Столб этот вытесали из дерева, имевшего в обхвате десять метров. Не всякая кариатида могла потягаться с таким столбом; в течение нескольких лет он с честью выдерживал нейстовый натиск революции. Он вынес все — крики восторга, ликования, проклятия, шум, ропот, невообразимую бурю гнева и возмущения. И не погнулся. Вслед за Конвентом он видел Совет старейшин. 18 брюмера его убрали.

Персье тогда заменил деревянный столб мраморными колоннами, которые оказались менее долговечными.

Подчас идеал, к которому стремится зодчий, весьма своеобразен; зодчий, прокладывавший улицу Риволи, бесспорно, взял себе за образец траекторию полета пушечного ядра; строитель Карлсруэ в качестве образца избрал развернутый веер; гигантский ящик комода — вот каков, по-видимому, был идеал зодчего, построившего зал, где начал заседать Конвент 10 мая 1793 года, — это было нечто продолговатое, высокое и скучное. Одна из длинных сторон этого ящика примыкала к обширному полукругу; здесь для представителей народа стояли амфитеатром скамьи, — ни столов, ни пюпитров не полагалось: Гаран-Кулон, любитель записывать речи ораторов, клал бумагу на собственное колено; напротив скамей — трибуна, перед трибуной бюст Лепеллетье де Сен-Фаржо; за трибуной кресло председателя.

Мраморная голова Лепеллетье слегка выдавалась над краем трибуны; по этой причине бюст позже убрали.

Амфитеатр состоял из девятнадцати рядов скамей, шедших полукругом один над другим; по обоим краям амфитеатра стояли еще скамьи, покороче.

Внизу амфитеатра, образовывавшего как бы подкову, у подножия трибуны, стояли приставы.

По одну сторону трибуны висела в черной деревянной раме доска вышиной в десять футов, разделенная посередине скипетром, и на ней в две колонки была начертана «Декларация прав человека»; по другую сторону на стене было пустое пространство, которое позже заняли такой же рамой с текстом Конституции II года, две колонки ее были разделены мечом. Над трибуной, а следо-

вательно, и над головой оратора, реяли почти горизонтально три огромных трехцветных знамени, которые выходили из глубокой и разгороженной на два отделения ложи, где вечно теснился народ; древки знамен опирались на алтарь с надписью: «Закон». Позади этого алтаря, словно колонна, возвышался — на страже свободного слова — ликторский пучок. Гигантские статуи, вытянувшиеся вдоль стены, стояли как раз напротив мест, отведенных для представителей народа. Справа от председательского места красовался Ликург, слева Солон, над скамьями Горы была статуя Платона.

Пьедесталом статуям служили простые каменные постаменты, и расставлены они были на длинной балюстраде, опоясывавшей весь зал, отделявшей публику от членов Конвента. Зрители обычно опирались на эту балюстраду.

Черная деревянная рама, окаймлявшая «Декларацию прав человека», доходила до балюстрады, перерезая рисунки на стене и нарушая прямоту линий, чем был весьма недоволен Шабо. «Это же уродство», — жаловался он Вадье.

Чело статуй венчали венки из дубовых листьев и из лавра.

От балюстрады спускалась длинными прямыми складками зеленая ткань, на которой тоже зеленым, но только более густого оттенка, были нарисованы такие же венки; эта драпировка огибала весь низ зала, отведенного для членов Конвента, а над нею холодно поблескивала пустая белая стена. Пробитые в этой толстой стене, шли в два яруса, без всяких архитектурных украшений, трибуны для публики: внизу квадратные, а в верхнем ярусе — полукруглые; в те времена Витрувий еще царил в умах, архивольты, согласно его правилам, должны были соответствовать архитравам. С каждой длинной стороны зала шли в ряд десять трибун, а в конце каждого ряда помещались по две огромные ложи — всего, следовательно, двадцать четыре трибуны. Там всегда теснился народ.

Зрители трибун нижнего яруса, не помещаясь на отведенных им местах, влезали на все выступы, жались на карнизах, пользуясь любой возможностью, предоставленной архитектурой зала. Вдоль верхнего яруса трибун шли длинные и толстые железные брусья, служившие

переилами и предохранявшие зрителей от падения, если задние уж очень напирали. Какой-то зритель все же ухитрился свалиться вниз; он рухнул прямо на Масье, бывшего епископа из Бове, и, к счастью, не убившись, воскликнул. «Смотри-ка, и епископ на что-нибудь годится!»

Зал Конвента мог вместить две тысячи человек, а в дни народных волнений — и три тысячи.

В Конvente происходило по два заседания в день — утреннее и вечернее.

Спинка председательского кресла была округлая, с золочеными гвоздиками. Стол поддерживали четыре крылатых чудовища об одной ноге, они будто сошли со страниц Апокалипсиса, чтобы присутствовать при революции. Казалось, их выпрягли из колесницы Езекииля и впрягли в повозку Сансона.

На председательском столе красовался большой колокольчик, вернее, колокол, огромная медная чернильница и переплетенный в кожу фолиант для протоколов.

Случалось, что этот стол окропляла кровь, стекавшая с отрубленных голов, которые поддевали на пики и приносили в Конвент.

На трибуну подымались по лестнице в девять ступеней. Ступени были высокие, крутые, и взбираться по ним было нелегко; однажды Жансоннэ, направлявшийся к трибуне, споткнулся. «Да это же настоящая лестница на эшафот!» — проворчал он. «Что ж, попрактикуйся заранее!» — крикнул ему с места Каррье.

Там, где стены выглядели слишком голыми, зодчий, желая украсить их, поставил в углах ликторские пучки с торчавшей из них секирой.

Справа и слева от трибуны возвышались на цоколях два канделябра, в двенадцать футов вышиной, несущие по четыре пары кенкетов. В ложах были такие же канделябры. Цоколи под канделябрами скульптор украсил венчиками, которые в народе называли «ожерелье гильотины».

Скамьи для членов Конвента подымались в амфитрате почти к самым трибунам для публики; депутаты и народ могли обмениваться репликами.

С трибун попадали в путаный лабиринт коридоров, где временами стоял неистовый шум.

Распространившись по всему дворцу, Конвент переплеснулся и в соседние особняки, в отель Лонгвиль,

в отель Куаньи. Именно в отель Куаньи после 10 августа, если верить письму лорда Бредфорда, перенесли всю обстановку из королевских покоев. Потребовалось целых два месяца, чтобы очистить от нее Тюильри.

Комитеты были расположены поблизости от зала заседания: в павильоне Равенства — законодательный, земледельческий и торговли; в павильоне Свободы — морской, колоний, финансов, ассигнатов, а также Комитет общественного спасения; в павильоне Единства — военный комитет.

Комитет общественной безопасности сообщался с Комитетом общественного спасения темным длинным коридором, где днем и ночью горел фонарь и где толклись шпионы всех партий. Говорили там полупешотом.

Барьер в Конвенте несколько раз переносили с места на место. Обычно он помещался справа от председателя.

Переборки, которые закрывали справа и слева полукружье амфитеатра, оставляли между скамьями и стеной два тесных коридорчика, упиравшихся в две низенькие дверцы самого мрачного вида. Здесь был вход и выход для публики.

В этом зале, слабо освещенном днем бледными пятнами окон и плохо освещенном в сумерках тусклыми светильниками, было что-то от царства ночи. Полумрак сливался с вечерней мглой; заседания, проходившие при свете ламп, производили зловещее впечатление. Сосед не различал соседа; по всему залу направо и налево смутно виднелись лица яростно споривших людей. Даже сталкиваясь вплотную, не узнавали друг друга. Однажды Ленъело, взбегая на трибуну, толкнул какого-то человека, спускавшегося вниз. «Прости, Робеспьер», — сказал Ленъело. «За кого это ты меня принимаешь?» — раздался хриплый голос. «Прости, Марат!» — поправился Ленъело.

Внизу, справа и слева от председательского места, две ближние трибуны запрещалось занимать, ибо как ни странно, но и в Конвенте имелись привилегированные зрители. Только эти две трибуны были задрапированы. Посреди архитрава драпировку подхватывали витые шнуры с золотыми кистями. Трибуны для народа никаких украшений не имели.

Во всем тут было упорядоченное неистовство, ярость, что-то дикое и прямолинейное, — в этом, пожалуй, вся

революция. Зал Конвента являл собой наиболее яркий образчик того стиля, который позже в среде художников стал именоваться «мессидорская архитектура»: все было одновременно и массивным и хрупким. В глазах тогдашних строителей симметричное считалось прекрасным. Последнее слово в духе Возрождения было сказано в царствование Людовика XV, а затем началась реакция. Чрезмерная забота о благородстве и чистоте линий привела к пресному и сухому стилю, вызывавшему зевоту. И зодчество тоже подвержено недугу ложной стыдливости. После великолепных пиршеств формы и разгула красок, отметивших XVIII век, искусство вдруг село на диету и разрешало себе лишь прямые линии. Но подобный прогресс приводит к уродству. Иначе говоря, искусство превращается в скелет. Такова оборотная сторона благоразумной сдержанности. Стиль подвергает себя таким лишениям, что в конце концов чахнет.

Не говоря уже о политических страстях, один вид этого зала, одна его архитектура вызывала трепет. Еще вспоминали, как смутное видение, прежний театр: ложи, украшенные лепными гирляндами, плафон, расписанный лазурью и пурпуром, люстру с гранеными подвесками, жирандоли, отливавшие алмазным блеском, переливчатые, словно голубиная шейка, обои, изобилие амуров и нимф на занавесках и драпировках — всю идиллию самодержавия и галантного века, запечатленную в красках, в скульптуре, в позолоте, некогда освещавшей своей улыбкой это суровое место, где взгляд теперь повсюду натывался на строгие прямые углы, холодные и жесткие, словно сталь, — нечто вроде Буше, гильотинированного Давидом.

IV

Кто следил за заседанием Конвента, забывал, каков зал. Кто следил за драмой, не думал о подмостках. Невиданная смесь самого возвышенного с самым уродливым. Когорта героев, стадо трусов. Благородные хищники на вершине и пресмыкающиеся в болоте. Там кишели, толкались, подстрекали друг друга, грозили, сражались и жили борцы, все те, кто стали ныне лишь тенями.

Нескончаемо длинный список.

Справа Жиронда — легион мыслителей, слева Гора — отряд богатырей. С одной стороны — Бриссо, которому были вручены ключи от Бастилии; Барбару, которому повиновались марсельцы; Кервелеган, командовавший Брестским батальоном, расквартированным в предместье Сен-Марсо; Жансоннэ, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками; роковой Гюаде, которому в Тюильри однажды ночью королева показала спящего дофина, Гюаде поцеловал в лобик ребенка, но потребовал, чтобы отрубили голову его отцу; Салль, разоблачитель несуществующих заигрываний Горы с Австрией; Силлери, хромой калека с правых скамей, подобно тому как Кутон был безногим калекой левых скамей; Лоз-Дюперре, который, будучи оскорблен одним газетчиком, назвавшим его «негодяй», пригласил оскорбителя отобедать и заявил: «Я знаю, что «негодяй» означает просто «инакомыслящий»; Рабо Сент-Этьен, открывший свой альманах 1790 года словами: «Революция окончена!»; Кинет, один из тех, кто столкнулся с трона Людовика XVI; янсенист Камюс, составитель проекта гражданских уставов для духовенства, человек, который свято верил в чудеса диакона Париса и все ночи напролет лежал, распростершись перед распятием саженной высоты, прибитым к стене его спальни; Фоше — священник, вместе с Камиллом Демуленом руководивший восстанием 14 июля; Инар, который совершил преступление, сказав: «Париж будет разрушен», в тот самый момент, когда герцог Брауншвейгский заявил: «Париж будет сожжен»; Жакоб Дюпон, первым крикнувший: «Я атеист», на что Робеспьер ответил ему «Атеизм — забава аристократов»; Ланжюинэ, непреклонный, пронизательный и доблестный бретонец; Дюкос — Эвриал при Буайе-Фонфреде; Ребекки — Пилад при Барбару, тот самый Ребекки, который сложил с себя депутатские полномочия, потому что еще не гильотинировали Робеспьера; Ришо, который боролся против несменяемости секций; Ласурс, автор злобного изречения «Горе благодарным нациям!», который у ступеней эшафота отверг свои же собственные слова, гордо бросив в лицо монтаньярам: «Мы умираем оттого, что народ спит, но вы умрете оттого, что народ проснется!»; Бирото, который на свою беду добился отмены неприкосновенности личности депутатов, таким образом, он отточил нож

гильотины и воздвиг плаху для самого себя; Шарль Виллет, который для очистки совести время от времени возглашал: «Не желаю голосовать под угрозой ножа»; Луве, автор *Фоблаза*, в конце жизненного пути ставший книгопродавцем в Пале-Рояле, где за прилавком восседала Лодойска; Мерсье, автор *Парижских картин*, который писал: «Все короли на собственной шее почувствовали двадцать первое января»; Марек, который пекся об «охране бывших границ»; журналист Карра, который, взойдя на эшафот, сказал палачу: «До чего же досадно умирать! Так хотелось бы досмотреть продолжение!»; Виже, который именовал себя «гренадером второго батальона Майенны и Луары» и который в ответ на угрозы публики крикнул: «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до последнего и двинулись бы на Версаль с саблями наголо!»; Бюзо, которому суждено было умереть с голоду; Валазе, принявший смерть от собственной руки; Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бур-ла-Рен, переименованном в Бур-Эгалитэ, причем роковой уликой послужил обнаруженный в его кармане томик Горация; Петيون, который в девяносто втором году был кумиром толпы, а в девяносто четвертом погиб, растерзанный волками; и еще двадцать человек, среди коих: Понтекулан, Марбоз, Лидон, Сен-Мартен, Дюссо, переводчик Ювенала, продававший ганноверскую кампанию; Буало, Бертран, Лестер-Бове, Лесаж, Гомэр, Гардьен, Мэнвель, Дюплантье, Лаказ, Антибуль и во главе их второй Барнав, который звался Верньо.

С другой стороны — Антуан-Луи-Леон Флорель де Сен-Жюст, бледный, уколобый двадцатитрехлетний юноша, с безупречным профилем, загадочным взором, с печатью глубокой грусти на челе; Мерлен из Тионвиля, которого немцы прозвали *Feuer-Teufel* — «Огненный Дьявол»; Мерлен из Дуэ, преступный создатель закона о подозрительных; Субрани, которого народ Парижа 1 прерияля потребовал назначить своим полководцем; бывший кюре Лебон, чья рука, кропившая ранее прихожан святой водой, держала теперь саблю; Билло-Варенн, который предвидел магистратуру будущего, где место судей займут посредники; Фабр д'Эглантин, которого только однажды, подобно Руже де Лию, создавшему *Марсельезу*, осенило вдохновение, и он соз-

дал республиканский календарь, но — увь! — вторично муза не посетила ни того, ни другого; Манюэль, прокурор Коммуны, который заявил: «Когда умирает король, это не значит, что стало одним человеком меньше»; Гужон, который взял Трипштадт, Нейштадт и Шпейер и обратил в бегство пруссаков; Лакруа, из адвоката превратившийся в генерала и пожалованный орденом Святого Людовика за неделю до 10 августа; Фрерон-Терсит, сын Фрерона-Зоила; Рюль, гроза банкирских железных сундуков, непреклонный республиканец, трагически покончивший с собой в день гибели республики; Фуше с душой демона и лицом трупа; друг отца Дюшена Камбулас, который сказал Гильотену: «Сам ты из клуба Фельянов, а дочка твоя — из Якобинского клуба»; Жаго, ответивший тому, кто жаловался, что узников держат полунагими: «Ничего, темница одела их камнем»; Жавог, зловещий осквернитель гробниц в усыпальнице Сен-Дени; Осселэн, изгонявший подозрительных и скрывавший у себя осужденную на изгнание госпожу Шарри; Бантаболь, который, председательствуя на заседаниях Конвента, знаками показывал трибунам, рукоплескать им или улюлюкать; журналист Робер, супруг мадмуазель Кералио, писавшей: «Ни Робеспьер, ни Марат ко мне не ходят; Робеспьер может явиться в мой дом, когда захочет, а Марат — никогда»; Гаран-Кулон, который гордо сказал, когда Испания осмелилась вмешаться в ход процесса над Людовиком XVI, что Собрание не должно читать письмо короля, ходатайствующего за другого короля; Грегуар, поначалу пастырь, достойный первых времен христианства, а при Империи добившийся титула графа Грегуар, дабы стереть даже воспоминание о Грегуаре-республиканце; Амар, сказавший: «Весь шар земной осудил Людовика Шестнадцатого. К кому же апеллировать? К небесным светилам?»; Руйе, который 21 января протестовал против пушечной стрельбы с Нового Моста, ибо, как он заявил: «Голова короля при падении должна производить не больше шума, чем голова любого смертного»; Шенье, брат Андре Шенье; Вадье, один из ораторов, что клали перед собой на трибуну пистолет; Панис, который сказал Моморо: «Я хочу, чтобы Марат и Робеспьер дружески обнялись за моим столом». — «А где ты живешь?» — «В Шарантоне». — «Оно и видно», — ответил Моморо; Лежандр, ко-

торый стал мясником французской революции, подобно тому как Прайд был мясником революции английской; «Подойди сюда, я тебя пришибу», — закричал он Ланжюинэ, на что последний ответил: «Добейся сначала декрета, объявляющего меня быком»; Колло д'Эрбуа, зловещий лицедей, скрывший свое подлинное лицо под античной двуликой маской, одна половина которой говорила «да», а другая «нет», одна одобряла то, на что изрыгала хулу другая, бичевавший Каррье в Нанте и превозносивший Шалье в Лионе, пославший Робеспьера на эшафот, а Марата в Пантеон; Женисье, который требовал смертной казни для всякого, на ком будет обнаружен образок с надписью: «Мученик Людовик XVI»; Леонар Бурдон, школьный учитель, предложивший свой дом старцу Юрских гор; моряк Топсан, адвокат Гупильо, Лоран Лекуантр — купец, Дюгем — врач, Сержан — скульптор, Давид — художник, Жозеф Эгалитэ — принц крови. И еще — Лекуантр-Пюираво, который требовал, чтобы Марата особым декретом объявили «находящимся в состоянии умопомешательства»; неугомонный Робер Лендэ, родитель некоего спрута, головой которого был Комитет общественной безопасности, а бесчисленные щупальца, охватившие всю Францию, именовались революционными комитетами; Лебеф, которому Жире-Дюпре посвятил в своем *Ноэле лжепатриотов* следующую строку: «Лебеф¹, увидев раз Лежандра, замычал»; Томас Пэйн, американец и человек гуманный; Анахарсис Клоотс, немец, барон, миллионер, безбожник, эбертист, существо весьма простодушное; неподкупный Леба, друг семьи Дюпле; Ровер, яркий образчик любителя зла ради зла, ибо искусство для искусства существует гораздо чаще, чем принято думать; Шарлье, требовавший, чтобы к аристократам обращались на «вы»; Тальен, чувствительный и свирепый, которого любовь к женщине сделает термидорианцем; Камбасерес, прокурор, ставший впоследствии принцем; Каррье, прокурор, ставший впоследствии тигром; Лапланш, который в один прекрасный день воскликнет: «Я требую приоритета для пушки, дающей сигнал тревоги»; Тюрью, который предложил открытое голосование для судей Революционного трибунала; Бурдон из Уазы, который вызвал на дуэль Шамбона.

¹ «Лебеф» созвучно с французским «le boeuf» — бык.

донес на Пэйна и сам был разоблачен Эбером; Фэйю, который предлагал послать в Вандею «армию поджигателей»; Таво, который 13 апреля был чем-то вроде посредника между Жирондой и Горой; Вернье, который считал необходимым, чтобы вожди жирондистов, равно как и вожди монтаньяров, пошли в армию простыми солдатами; Ревбель, который заперся в Майнце; Бурбот, под которым при взятии Сомюра убили коня; Гимберто, который командовал армией на Шербургском побережье; Жард-Панвилье, который командовал армией на побережье Ла-Рошель; Лекарпантье, который командовал эскадрой в Канкале; Робержо, которого подстерегала в Роштадте ловушка; Приер Марнский, надевавший при инспекторской поездке по войскам свои старые эполеты командира эскадрона; Левассер из Сарты, который одним-единственным словом обрек на гибель Серрана, командира батальона в Сент-Амане; Ревершон, Мор Бернар де Сент, Шарль Ришар, Лекинио и во главе этой группы новоявленный Мирабо, именуемый Дантоном.

Вне этих двух лагерей стоял человек, державший оба лагерь в узде, и человека этого звали Робеспьер.

V

Внизу гнул шею ужас, который может быть благородным, и страх, который всегда низок. Вверху шумели бури страстей, героизма, самопожертвования, ярости, а внизу притаилась мрачная толпа безликих. Дно этого собрания именовалось «Равниной». Сюда скатывалось все шаткое, все колеблющееся, все малoverы, все выжидатели, все медлители, все согладаты, и каждый когонибудь да боялся. Гора была местом избранных; Жиронда была местом избранных; Равнина была толпой. Дух Равнины был воплощен и сосредоточен в Сийесе.

Сийес — человек глубокомысленный, ставший человеком пустым. Он застрял в третьем сословии и не сумел подняться до народа. Иные умы словно нарочно созданы для того, чтобы мешкать на полпути. Сийес звал тигром Робеспьера, а Робеспьер называл Сийеса кротом. Этот метафизик пришел в конце концов не к благоразумию, а к осторожности. Он был придворным революции, а не ее слугой. Он брал лопату и шел вместе с народом перекапывать Марсово поле, но шел в одной

упряжке с Александром Богарне. Он проповедовал энергию, но сам ее в ход не пускал. Он говорил жирондистам: «Привлеките на вашу сторону пушки». Есть мыслители-ратоборцы; такие, подобно Кондорсе, шли за Верньо или, подобно Камиллу Демулену, шли за Дантоном. Но есть и такие мыслители, которые стремятся выжить, — такие шли за Сийесом.

На дно бочки с самым добрым вином выпадает мутный осадок. Под Равниной помещалось «Болото». Сквозь мерзкий отстой явственно просвечивало себялюбие. Здесь молча выжидали, щелкая от страха зубами, немотствующие трусы. Нет зрелища гаже. Готовность принять любой позор — и ни капли стыда; затаенная злоба; недовольство, скрытое личиной раболепства. Все они были напуганы до цинизма; ими двигала отвага, порожденная трусостью; предпочитали в душе Жиронду, а присоединялись к Горе; от их слова зависела развязка; они держали руку того, кого ждал успех; они предали Людовика XVI — Верньо, Верньо — Дантону, Дантона — Робеспьеру, Робеспьера — Тальену. При жизни они клеймили Марата, после смерти обожествляли его. Они поддерживали все вплоть до того дня, пока не опрокидывали все. Они чутьем угадывали, что зашаталось, и стремились нанести последний удар.

В их глазах, ибо они брались служить любому, лишь бы тот сидел прочно, — пошатнуться значило предать их. Они были числом, они были силой, они были страхом. Отсюда их смелость — смелость подлых.

Отсюда 31 мая, 11 жерминаля, 9 термидора — трагедии, завязка которых была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев.

VI

Бок о бок с людьми, одержимыми страстью, сидели люди, одержимые мечтой. Утопия была представлена здесь во всех своих видах: утопия воинствующая, признающая эшафот, и утопия наивная, отвергающая смертную казнь; грозный призрак для тронов и добрый гений для народа. В противовес умам борющимся здесь были умы созидающие. Одни думали только о войне, другие думали только о мире; в мозгу Карно родилась организация всех четырнадцати армий, в мозгу Жана Дебри родилась мечта о всемирной демократической Федера-

ции. Среди неукротимого красноречия, среди воя и рокота голосов таилось плодотворное молчание. Лаканаль молчал, но обдумывал проект народного просвещения; Лантенас молчал и создавал начальные школы; молчал и Ревельер-Лепо, но в мечтах старался придать философии значение религии. Прочие занимались второстепенными вопросами, пеклись о мелких, но насущных делах. Гюитон-Морво занимался вопросом улучшения больниц, Мэр хлопотал об уничтожении крепостных податей, Жан-Бон-Сент-Андре добивался отмены ареста за долги и упразднения долговых тюрем, Ромм отстаивал предложение Шаппа, Дюбоз наводил порядок в архивах, Коран-Фюстье создал анатомический кабинет и музей естествознания, Гюйомар разработал план речного судоходства и постройки плотины на Шельде. Искусство также имело своих фанатиков и даже своих одержимых; 21 января, в тот самый час, когда на площади Революции скатилась голова монархии, Безар, депутат Уазы, пошел посмотреть обнаруженную где-то на чердаке в доме по улице Сен-Лазар картину Рубенса. Художники, ораторы, пророки, люди-колоссы, как Дантон, и люди-дети, как Анахарсис Клоотс, гладиаторы и философы — все шли к единой цели, к прогрессу. Ничто их не обескураживало. В том-то и величие Конвента — он находил крупницу реального в том, что люди называли неосуществимым. На одном полюсе был Робеспьер, видевший лишь «право», на другом — Кондорсе, видевший лишь «долг».

Кондорсе был человеком мечты и света; Робеспьер был человеком свершений; а иногда, в периоды агонии одряхлевшего общества, свершение равносильно искоренению. У революции, как и у горы, есть свои подъемы и спуски, и на разных уровнях ее склонов можно видеть все разнообразие природы — от вечных льдов до весеннего цветка. Каждая зона творит людей себе на потребу: и таких, что живы солнцем, и таких, что живы громами.

VII

Посетители Конвента указывали друг другу на один из поворотов левого коридора, где Робеспьер шепнул Гара, приятелю Клавьера, грозные слова: «У Клавьера что разговор, то заговор». В том же углу, как будто нарочно созданном для сторонних бесед и заглушаемого

гнева, Фабр д'Эглантин пенял Ромму, упрекая его за то, что тот посмел переименовать «фервидор» в «термидор» и тем испортил его календарь. Показывали угол зала, где сидели бок о бок семь представителей Верхней Гаронны, — им первым пришлось выносить приговор Людовику XVI, и они провозгласили один за другим — Майль: «Смерть», Дельмас: «Смерть», Прожан: «Смерть», Калес: «Смерть», Эйраль: «Смерть», Жюльен: «Смерть», Дезаби: «Смерть». Извечная переключка, ибо, с тех пор как существует человеческое правосудие, под сводами судилища гулко отдается эхо гробниц. В волнуемом море голов указывали на тех, чьи голоса слились в нестройный и трагический хор приговора; вот они: Паганель, сказавший: «Смерть. Король полезен только одним — своей смертью»; Мийо, сказавший: «Если бы смерти не существовало, ныне ее нужно было бы изобрести»; старик Рафрон де Труйе, сказавший: «Смерть, и немедленно!»; Гупильо, который закричал: «Скорее на эшафот! Чем больше будем медлить, тем труднее будет отправлять на эшафот!»; Сийес, который с мрачной краткостью произнес: «Смерть!»; Тюрьо, который отверг предложение Бюзо, советовавшего воззвать к народу: «Как? Еще народные собрания? Как? Еще сорок четыре тысячи трибуналов? Процесс никогда не кончится. Голова Людовика XVI успеет поседеть, прежде чем скатится с плеч!»; Огюстен-Бон Робеспьер, который воскликнул вслед за братом: «Я не признаю человечности, которая уничтожает народы и мирволит деспотам. Смерть! Требовать отсрочки — значит взывать не к народу, а к тиранам!»; Фусседуар, заместитель Бернарде-на де Сен-Пьера, сказавший: «Мне отвратительно пролитие человеческой крови, но кровь короля — это не человеческая кровь. Смерть!»; Жан-Бон-Сент-Андре, который заявил: «Народ не может быть свободен, пока жив тиран»; Лавиконтри, который провозгласил как аксиому: «Пока дышит тиран, задыхается свобода. Смерть!»; Шатонеф-Рандон, который крикнул: «Смерть Людовику последнему!»; Гийярден, который высказал следующее пожелание: «Пусть казнят, раз барьер опрокинут», наемная на барьер вокруг трона; Телье, который, сказал: «Пускай отольют пушку калибром с голову Людовика XVI и выстрелят по врагу». Указывали и на тех, что проявили милосердие. Среди них был Жантиль, сказавший:

«Я голосую за пожизненное заключение. Вслед за Карлом Первым следует Кромвель»; Банкаль, который заявил: «Изгнание. Я хочу, чтобы впервые в мире король занялся каким-нибудь ремеслом и зарабатывал в поте лица хлеб свой»; Альбуис, который сказал: «Каторга. Пускай живой его призрак бродит вокруг тронов»; Занджиакоми сказал: «Лишение свободы. Сохраним Капета в качестве пугала»; Шайон сказал: «Пусть живет. Зачем нам мертвец, которого Рим превратит в святого?» Пока все эти слова срывались с суровых уст и одно за другим исчезали в далах истории, на трибунах разряженные, декольтированные дамы подсчитывали голоса, отмечая булавкой на листе каждый поданный голос.

Где побывала трагедия, там надолго остаются ужас и сострадание.

Видеть Конвент в любой час его деятельности значило вновь видеть суд над последним Капетом, как будто легенда 21 января примешивалась ко всем деяниям Конвента; от этого грозного Собрания не раз подымалось роковое дыхание, которое, коснувшись древнего факела монархии, зажженного восемнадцать веков тому назад, потушило его; окончательный, не подлежащий обжалованию, приговор над всеми королями в лице одного короля стал как бы отправной точкой, откуда Конвент повел великую войну с прошлым; какому бы вопросу ни было посвящено заседание Конвента, в глубине незримо подымалась тень, отбрасываемая эшафотом Людовика XVI. Зрители рассказывали друг другу об отставке Керсэна, об отставке Ролана, о Дюшателе, депутате от Де-Севр: прикованный к постели недугом, он велел принести себя в Конвент и, умирая, проголосовал за сохранение жизни, чем вызвал смех Марата; зрители искали взглядом депутата (история не сохранила его имени), который, утомившись заседанием, длившимся тридцать семь часов подряд, заснул на скамье, и, когда пристав разбудил его для подачи голоса, он, с трудом приоткрыв глаза, крикнул: «Смерть!» — и снова уснул.

Когда Конвент выносил смертный приговор Людовику XVI, Робеспьеру оставалось жить восемнадцать месяцев, Дантону — пятнадцать месяцев, Верньо — девять месяцев, Марату — пять месяцев и три недели, Лепеллетье-Сен-Фаржо — один день. Коротко и страшно дыхание человеческих уст!

Народ следил за Конвентом через открытое окно — трибуны для публики, но, когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь и в зал вливалась улица. Такие вторжения толпы в сенат — одно из самых примечательных явлений в истории. Обычно народ врвался в Конвент с дружелюбными намерениями. Курульное кресло браталось с уличным перекрестком. Но дружелюбие народа, который в один прекрасный день в течение трех часов захватил сорок тысяч карабинов и пушки, стоявшие у Дома инвалидов, — дружелюбие такого народа чревато угрозами. Каждую минуту какое-нибудь шествие прерывало ход заседания — являлись делегации с петициями, подношениями, адресами. То женщины Сент-Антуанского предместья подносили членам Конвента почетную пику. То англичане предлагали двадцать тысяч пар сапог, чтобы обуть наших босых солдат. «Гражданин Арну, — писала газета *Монитор*, — обиньянский кюре, командир Дромского батальона, просит отправить его на границу, а также сохранить за ним его приход». То врвались делегаты секций и приносили на носилках церковную утварь: блюда, чаши, диски, ковчежцы, золото и серебро — дар родине от толпы оборванцев, и в награду просили только одного — разрешения сплести карманьолю перед Конвентом. Шенар, Нарбонн и Вальер приходили сюда спеть свои куплеты в честь Горы. Секция Монблан торжественно вручала Конвенту бюст Лепеллетье; какая-то женщина надела красный колпак на голову председателя, и председатель тут же расцеловал дарительницу; «гражданки секции Майль» забрасывали «законодателей» цветами; «воспитанницы родины» с оркестром во главе приходили поблагодарить Конвент за то, что он «подготовил благоденствие века»; женщины из секции Французской гвардии подносили депутатам розы; женщины из секции Елисейских полей подносили депутатам венки из дубовых листьев; женщины из секции Тампль давали клятву в том, что «каждая из них свяжет свою судьбу лишь с истинным республиканцем»; секция Мольера подарила Конвенту медаль с изображением Франклина, которую особым декретом решено было подвесить к венцу, украшавшему чело статуи Свободы; подкидыши, отныне именовавшиеся «детьми республики», дефилировали перед



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть вторая.* В Париже.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть третья.* В Вандее.

Конвентом в национальных мундирчиках; заглядывали в Конвент и молодые девушки из секции «Девяносто второго года», все в длинных белых одеяниях, и на следующий день *Монитор* в таких словах описывал это событие: «Председатель получил букет из невинных ручек юной красавицы». Ораторы приветствовали толпу, а иногда и лстили ей; они говорили народу: «Ты безупречен, ты непогрешим, ты божество»,— а народ, как ребенок, любит сладкое. Иногда сам мятеж врывался в двери Конвента и выходил оттуда умиротворенный,— так Рона вливает свои илстые воды в Женевское озеро и выливается оттуда лазурью.

Впрочем, не всегда обходилось так мирно, и Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра.

IX

Выплавляя революцию, Конвент одновременно выковывал цивилизацию. Да, горнило, но также и горн. В том самом котле, где кипел террор, крепло бродило прогресса. Из мрака, из стремительно несущихся туч вырывались мощные лучи света, равные силой извечным законам природы. Лучи, и поныне освещающие горизонт, не гаснущие на небосводе народов, и один такой луч зовется справедливостью, а другие — терпимостью, добром, разумом, истиной, любовью. Конвент провозгласил великую аксиому: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого»; в одной этой фразе заключены все условия совместного существования людей. Конвент объявил бедность священной; священным он объявил убожество, взяв на попечение государства слепца и глухонемого; он освятил материнство, поддерживая и утешая девушку-мать; он освятил детство, усыновляя сирот и дав им в матери родину; он освятил справедливость, оправдывая по суду и вознаграждая оклеветанного. Он бичевал торговлю неграми; он упразднил рабство. Он провозгласил гражданскую солидарность. Он декретировал бесплатное обучение. Он упорядочил национальное образование, учредив в Париже Нормальную школу, центральные школы в крупных провинциальных городах и начальные школы в сельских общинах. Он открывал консерватории и музеи. Он издал

декрет, которым устанавливался единый кодекс законов для всей страны, единство мер и весов и единое исчисление по десятичной системе. Он навел порядок в финансах государства, и на смену долгого банкротства монархии пришел общественный кредит. Он дал населению телеграфную связь, неимущей старости — бесплатные богадельни, недужным — больницы, очистив их от вековой заразы, учащимся — Политехническую школу, науке — Бюро долгов, человеческому разуму — Академию. Не теряя своих национальных черт, он в то же время был космополитичен. Из одиннадцати тысяч двухсот десяти декретов, изданных Конвентом, лишь одна треть касалась непосредственно вопросов политики, а две трети — вопросов общего блага. Он провозгласил всенародную мораль основой общества, а всенародную совесть — основой закона. И, освобождая раба, провозглашая братство, поощряя человечность, врачую сознание людей, превращая закон о труде из бремени в право, в опору человека, упрочивая национальное богатство, опекая и просвещая детство, развивая искусства и науки, неся свет на все вершины, помогая во всех бедах, распространяя свои принципы, Конвент делал все это в то время, как внутренности его терзала гидра — Вандея, а к горлу тянули свои тигриные когти монархи.

Х

Обширнейший плацдарм. Представители всех пород — человеческой, нечеловеческой и сверхчеловеческой — собирались здесь. Грандиозное скопище противоположностей: Гильотен, сторонящийся Давида; Базир, оскорбляющий Шабо; Гюадэ, высмеивающий Сен-Жюста; Верньо, презиравший Дантона; Луве, нападающий на Робеспьера; Бюзо, разоблачающий Филиппа Эгалитэ; Шамбон, бичующий Паша, — и все они ненавидели Марата. А сколько еще имен мы не назвали, хотя и следовало бы их назвать. Армонвиль, по прозвищу «Красный Колпак», ибо на каждом заседании он появлялся в фригийском колпаке, друг Робеспьера, требовавший, чтобы равновесия ради «вслед за Людовиком XVI гильотинировали Робеспьера»; Масье, приятель и двойник добряка Ламуретта, епископа, который прославил свое имя лишь тем, что оно так мило сердцу влюблен-

ных¹; Легарди из Морбигана, клеймивший бретонских священников; Барер, человек большинства, председательствовавший в день суда над Людовиком XVI и ставший для Памелы тем, чем был Луве для Лодойски; Дону, член Оратории, заявивший: «Главное — выиграть время»; Дюбуа-Крансэ, доверенный Марата; маркиз де Шатонеф, Лакло, Эро де Сешель, отступивший перед Анрио, когда тот скомандовал: «Канониры, к пушкам!»; Жюльен, сравнивавший Гору с Фермопилами; Гамон, который требовал, чтобы для женщин выделили особую трибуну; Лалуа, предложивший на заседании Конвента почтить епископа Гобеля, который, явившись в Конвент, скинул митру и надел красный колпак; Леконт, воскликнувший: «А ну, попы, торопитесь в расстриги»; Феро, перед отрубленной головой которого склонился Буасси д'Англа и тем задал историкам неразрешимый вопрос: склонился ли он, Буасси д'Англа, перед головой, то есть перед жертвой, или же перед пикой, то есть перед убийцами? Два брата Дюпра — один монтаньяр, другой жирондист, — ненавидевшие друг друга столь же яростно, как братья Шенье.

С этой трибуны произносились слова, которые кружили головы, и иной раз в них без ведома самого оратора звучал вещий глас революции, и не успевал он еще отзвучать, как вдруг события проникались людским недовольством и людскими страстями, будто их слух был оскорблен этими речами; все, что происходит, является как бы гневным откликом на то, что говорится, и, точно их выводят из себя слова человека, одна за другой разражаются страшные катастрофы. Так иной раз крик путника вызывает в горах обвал. Одно лишнее слово может привести к бедствию. Если бы слово не было произнесено, ничего бы не произошло. Кажется подчас, что события могут гневаться.

Именно так, из-за случайно оброненного оратором и не понятого другими слова, поплатилась головой принцесса Елизавета.

Невоздержанность на язык была в обычае Конвента. Во время жарких споров угрозы носились в воздухе и сталкивались, словно горящие головни на пожаре. *Петион*: «Робеспьер, ближе к делу». *Робеспьер*: «...Все дело

¹ Ламуретт (l'amourette) — по-французски — легкий флирт.

в вас, Петион. Не беспокойтесь, я перейду к делу». *Чей-то голос*: «Смерть Марату!» *Марат*: «В тот день, когда умрет Марат, не станет более Парижа, а когда погибнет Париж, погибнет и Республика». *Билло-Варенн* (подымается с места): «Мы желаем...» *Барер* (прерывая его): «Уж слишком ты по-королевски заговорил...» Как-то на заседании *Филиппо* сказал: «Один из депутатов обнажил против меня шпагу». *Одюзен*: «Председатель! Призовите к порядку убийцу». *Председатель*: «Все в свое время». *Панис*: «Тогда, председатель, я призываю к порядку вас». Нередко стены Конвента сотрясал громовой смех. *Лекуантр*: «Кюре из Шан-де-Бу приносит жалобу на своего епископа Фоше за то, что тот запрещает ему жениться». *Чей-то голос*: «Никак не пойму, почему Фоше, у которого двадцать любовниц, не желает, чтобы у других была хоть одна жена». *Второй голос*: «Ничего, поп, не робей, бери себе жену». Публика с трибун вмешивалась во все споры и разговоры. Она обращалась к членам Собрания без чинов, на «ты». Как-то депутат Рюан выходит на трибуну. А славился он тем, что одна ягодица у него была заметно пухлее другой. Кто-то из публики крикнул: «Эй, повернись-ка толстой стороной к правым скамьям, — «щека» у тебя совсем в духе Давида». Такие вольности усвоил народ в отношении Конвента. Впрочем, как-то во время чересчур бурного заседания 11 апреля 1793 года председатель велел арестовать одного из нарушителей порядка.

Однажды, по свидетельству старика Буонарроти, Робеспьер взял слово и говорил два часа подряд, не отрывая глаз от Дантона, — он то смотрел пристально, что не предвещало ничего доброго, то скользил по нему рассеянным взглядом, что было еще хуже. Наконец он прямо обрушился на Дантона и закончил свою речь негодующими зловещими словами: «Известно, где интриганы, известно, где взяточники и развратники, известно, где изменники. Они здесь, на этом собрании. Они слышат нас, мы видим их, мы не спускаем с них глаз. Пусть поглядят они наверх — над их головой висит меч закона. Пусть заглянут они в свою душу — в их душе гнездится подлость. Так пусть же они поберегутся!» Когда Робеспьер кончил, Дантон, который сидел в небрежной позе, запрокинув голову, глядя в потолок полузакрытыми гла-

зами и забросив руку за спинку скамьи, затянул вдруг песенку:

Сносить Русселя речь нет мочи!
И самая короткая должна бы быть короче.

На оскорбления отвечали оскорблениями: «Заговорщик! — Убийца! — Мошенник! — Мятежник! — Умеренный!» Разоблачая друг друга, брали в свидетели гипсового Брута. Поток восклицаний, проклятий, бранных слов. Дуэль гневных взглядов. Рука сжималась в кулак, грозила пистолетом, выхватывала из ножен кинжал. Пламя страстей перекидывалось на трибуны. Иные говорили так, будто над ними уже навис нож гильотины. В полумраке обозначалась волнообразная линия голов, испуганных и страшных. Монтаньяры, жирондисты, фельяны, модерантисты, террористы, якобинцы, кордельеры и восемнадцать священников-цареубийц.

Таковы были эти люди! Словно клубы дыма, которыми играет ветер.

XI

Пусть эти умы были добычей ветра.

Но то был чудодейственный ветер.

Быть членом Конвента — значило быть волною океана. И это было верно даже в отношении самых великих. Первый толчок давался сверху. В Конвенте жила воля, которая была волей всех и не была ничьей волей в частности. Этой волей была идея, идея неукротимая и необъятная, которая, как дуновение с небес, пронеслась в этом мраке. Это мы и зовем Революцией. Когда эта идея подымалась, подобно волне, она сшибала одних и возносила других, одного увлекала в глубь моря, другого разбивала о подводные камни. Идея эта знала, каков ее путь, она сама вырывала перед собою бездны. Приписывать революцию человеческой воле все равно что приписывать прибой силе волн.

Революция есть дело Неведомого. Можете называть это деяние хорошим или дурным, в зависимости от того, уповаете ли вы на грядущее или обращаетесь к прошлому, но не отторгайте ее от ее творца. На первый взгляд может показаться, что революция — совместное творение великих событий и великих умов, на деле же

она лишь равнодействующая событий. События транжируют, а расплачиваются люди. События диктуют, а люди лишь скрепляют написанное своей подписью. 14 июля скрепил своей подписью Камилл Демулен, 10 августа скрепил своей подписью Дантон, 2 сентября скрепил своей подписью Марат, 21 сентября скрепил своей подписью Грегуар, 21 января скрепил своей подписью Робеспьер; но Демулен, Дантон, Марат, Грегуар и Робеспьер — лишь писцы Истории. Могуущественный и злоеущий сочинитель этих великих страниц имеет имя, и имя ему — бог, а личина его Рок. Робеспьер верил в бога, и это не удивительно.

Революция есть, в сущности, форма той имманентной силы, которая теснит нас со всех сторон и которую мы зовем Необходимостью.

И перед лицом этого загадочного переплетения благоденствий и мук История настойчиво задает вопрос: почему?

Потому — ответит тот, кто ничего не знает, и таков же ответ того, кто знает все.

Наблюдая эти периодические катаклизмы, которые опустошают и обновляют цивилизацию, не решаешься судить о деталях. Хулить или превозносить людей за последствия их действий — это все равно что хулить или превозносить цифры за итог. То, чему положено свершиться, — свершится, то, что должно разразиться, — разразится. Но извечная ясность не страшится таких ураганов. Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость.

ХII

Таков был этот Конвент, который не измеришь обычной мерой, этот воинский стан человечества, атакуемый одновременно всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, неоглядный бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны. Ничто в истории несравнимо с этим собранием людей: оно — сенат и чернь, конклав и улица, ареопаг и площадь, трибунал и подсудимый.

Конвент склонялся под ветром, но ветер этот исходил из тысячеугостного дыхания народа и был дыханием божьим.

И ныне, спустя восемьдесят лет, всякий раз, когда перед человеком — историк он или философ — встанет вдруг образ Конвента, человек этот бросает все и застывает в раздумье. Нельзя оставаться равнодушным к великому шествию теней.

ХІІІ

Марат за кулисами

На следующий день, после свидания на Павлиньей улице, Марат, как он и объявил накануне Симонне Эв-рар, отправился в Конвент.

Среди членов Конвента был некий маркиз Луи де Монто, страстный приверженец Марата; именно он поднес Собранию десятичные часы, увенчанные бюстом своего кумира.

В ту самую минуту, когда Марат входил в здание Конвента, Шабо подошел к Монто.

— Эй, бывший! — начал он.

Монто поднял глаза.

— Почему ты величаешь меня *бывшим*?

— Потому что ты бывший.

— Я бывший?

— Ты ведь был маркизом.

— Никогда не был.

— Рассказывай!

— Мой отец был простой солдат, а дед был ткачом.

— Да брось выдумывать, Монто!

— Меня вовсе и не зовут Монто.

— А как же тебя зовут?

— Меня зовут Марибон.

— Хотя бы и Марибон, — сказал Шабо, — мне-то что за дело? — И прошипел сквозь зубы: — Куда только все маркизы подевались?

Марат остановился в левом коридоре и молча смотрел на Монто и Шабо.

Всякий раз, когда Марат появлялся в Конвенте, по залу проходил шепот, но шепот отдаленный. Вокруг него все молчало. Марат даже не замечал этого. Он презирал «квакуш из болота».

Скамьи, стоявшие внизу, скрадывал полумрак, и сидевшие в ряд Компе из Уазы, Прюнель, Виллар, епис-

коп, впоследствии ставший членом Французской академии, Бутру, Пти, Плэшар, Боне, Тибодо, Вальдрюш по-казывали друг другу на Марата пальцем.

— Смотрите — Марат!

— Разве он не болен?

— Как видно, болен, раз пришел в халате.

— Как так в халате?

— Да в халате же, говорю!

— Слишком уж много себе позволяет.

— Смеет в таком виде являться в Конвент!

— Что ж удивительного! Ведь приходил он сюда в лавровом венке, почему бы не прийти в халате?

— Лицо медное, и зубы зеленые.

— А халат-то, глядите, новый.

— Из какой материи?

— Из репса.

— В полоску.

— Посмотрите лучше, какие отвороты!

— Из меха.

— Тигрового?

— Нет, горностаевого.

— Подделка.

— Да на нем чулки!

— Странно, как это он в чулках!

— И туфли с пряжками.

— Серебряными.

— Ого, что-то скажут на это деревянные сабо нашего Камбуласа!

На других скамьях делали вид, что вообще не замечают Марата. Говорили о посторонних предметах. Сантона подошел к Дюссо.

— Дюссо! Вы знаете?

— Кого знаю?

— Бывшего графа де Бриенн.

— Которого посадили в тюрьму Форс вместе с бывшим герцогом Вильруа?

— Да.

— Обоих знавал в свое время. А что?

— Они до того перетрусили, что за версту раскланивались, завидя красный колпак тюремного надзирателя, а как-то даже отказались играть в пикет, потому что им подали карты с королями и дамами.

— Ну и что?

— Вчера гильотинировали.

— Обоих?

— Обоих.

— А как они держались в тюрьме?

— Как трусы.

— А на эшафоте?

— Как храбрецы,— ответил Дюссо и добавил: — Да, умирать легче, чем жить.

Барер между тем зачитывал донесение, касавшееся положения дел в Вандее. Девятьсот человек выступили из Морбигана, имея полевые орудия, и отправились на выручку Нанта. Редону угрожают восставшие крестьяне. Пэмбеф атакован. Перед Мендрэном крейсировала эскадра, чтобы помешать высадке. Весь левый берег Луары от Энгранда до Мора ошетинился роялистскими батареями. Три тысячи крестьян овладели Порником. Они кричали: «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантера, адресованное Конвенту, которое оглашал Барер, кончалось словами: «Семь тысяч крестьян атаковали Вани. Мы отбросили их и захватили четыре пушки...»

— А сколько пленных? — прервал Барера чей-то голос.

Барер продолжал:

— Тут имеется приписка: «Пленных нет, так как пленных мы теперь не берем»¹.

Марат сидел не шевелясь и, казалось, ничего не слышал,— он весь был поглощен суровой думой.

Он вертел в пальцах бумажку, и тот, кто развернул бы ее, прочел бы несколько строк, написанных почерком Моморо и, очевидно, служивших ответом на какой-то вопрос Марата.

«Мы бессильны против всемогущества уполномоченных комиссаров, особенно против уполномоченных Комитета общественного спасения. И хотя Женисье заявил на заседании 6 мая: «Любой комиссар стал сильнее короля»,— ничто не переменялось. Они карают и милуют. Массад в Анжере, Трюллар в Сент-Амане, Нион при генерале Марсе, Паррен при Сабльской армии, Мильер при Ниорской армии — все они поистине всемогущи. Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Паррена бригадным генералом. Обстоятельства оправдывают все.

¹ Монитор, т. XIX, стр. 81. (Прим. автора.)

Делегат Комитета общественного спасения держит в руках любого генерал-аншефа».

Марат по-прежнему теребил бумажку, затем сунул ее в карман и не спеша подошел к Монто и Шабо,— те продолжали разговаривать и не заметили, как он вошел.

— Как там тебя, Марибон или Монто,—говорил Шабо,— а знаешь, я только что был в Комитете общественного спасения.

— Ну и что ж там делается?

— Поручили одному попу следить за дворянином.

— А!

— За дворянином вроде тебя.

— Я не дворянин,— возразил Монто.

— Священнику...

— Вроде тебя.

— Я не священник! — воскликнул Шабо.

Оба расхохотались.

— А ну-ка расскажи подробнее,— попросил Монто.

— Вот как обстоит дело. Некий поп по имени Симурдэн делегирован с чрезвычайными полномочиями к некоему виконту по имени Говэн; этот виконт командует экспедиционным отрядом береговой армии. Следовательно, надо помешать дворянину вести двойную игру, а попу изменить.

— Все это очень просто,— сказал Монто.— Придется вывести на сцену третье действующее лицо — Смерть.

— Это я возьму на себя,— сказал Марат.

Собеседники оглянулись.

— Здравствуй, Марат,— сказал Шабо,— что-то ты стал редко посещать заседания.

— Врач не пускает, прописал мне ванны,— ответил Марат.

— Бойся ванн,— изрек Шабо,— Сенека умер в ванне.

Марат улыбнулся.

— Здесь, Шабо, нет Неронов.

— Зато есть ты,— произнес чей-то рыкающий голос.

Это бросил на ходу Дантон, пробираясь к своей скамье, Марат даже не оглянулся.

Наклонившись к Монто и Шабо, он сказал шепотом:

— Слушайте меня оба: я пришел сюда по важному

делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих предложил Конвенту проект декрета.

— Только не я,— живо отказался Монто,— меня не слушают, я ведь маркиз.

— И не я,— подхватил Шабо,— меня не слушают, я ведь капуцин.

— И меня тоже,— сказал Марат,— я ведь Марат. Воцарилось молчание.

Когда Марат задумывался, обращаться к нему с вопросами было небезопасно. Однако Монто рискнул.

— А какой декрет ты хочешь предложить?

— Декрет, который карает смертью любого военачальника, выпустившего на свободу пленного мятежника.

— Такой декрет уже имеется,— прервал Марата Шабо.— Его приняли еще в конце апреля.

— Принять-то приняли, но на деле он не существует,— возразил Марат.— Повсюду в Вандее участились побеги пленных, а пособники беглецов не несут никакой кары.

— Значит, Марат, декрет вышел из употребления.

— Значит, Шабо, надо вновь ввести его в силу.

— Само собой разумеется.

— Об этом-то и требуется заявить в Конвенте.

— Совершенно не обязательно, Марат, привлекать к этому делу весь Конвент, достаточно Комитета общественного спасения.

— Мы вполне достигнем цели,— добавил Монто,— если Комитет общественного спасения велит вывесить декрет во всех коммунах Вандеи и накажет для острастки двух-трех человек.

— И притом не мелкую сошку,— подхватил Шабо,— а генералов.

— Пожалуй, этого хватит,— произнес вполголоса Марат.

— Марат! — снова заговорил Шабо.— Ты сам скажи об этом в Комитете общественного спасения.

Марат посмотрел на него таким взглядом, что даже Шабо поежился.

— Шабо! — сказал он.— Комитет общественного спасения — это Робеспьер. А я не хожу к Робеспьеру.

— Тогда пойду я,— предложил Монто.

— Хорошо,— ответил Марат.

На следующий же день соответствующий декрет Комитета общественного спасения был разослан всюду; властям вменялось в обязанность расклеить его по всем городам и селам Вандеи и выполнять неукоснительно, то есть предавать смертной казни всякого, кто причастен к побегу разбойников и пленных мятежников.

Декрет этот был лишь первым шагом. Конвенту пришлось сделать и второй шаг. Через несколько месяцев, 11 брюмера II года (ноябрь 1793 года), после того как город Лаваль открыл свои ворота вандейским беглецам, Конвент издал новый декрет, согласно которому каждый город, предоставивший убежище мятежникам, должен быть разрушен до основания.

Со своей стороны европейские монархи объявили, что каждый француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян на месте, и если хоть один волос упадет с головы короля, Париж будет стерт с лица земли; все это излагалось в манифесте за подписью герцога Брауншвейгского, подсказан этот манифест был эмигрантами, а составлен маркизом де Линноном, управляющим герцога Орлеанского.

Дикарство против варварства.

Часть третья
В ВАНДЕЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

ВАНДЕЯ

I

Леса

В ту пору в Бретани насчитывалось семь страшных лесов. Вандея — это мятеж церкви. И пособником этого мятежа был лес. Тьма помогала тьме.

В число семи прославленных бретонских лесов входили: Фужерский лес, который преграждал путь между Долем и Авраншем; Пренсейский лес, имевший восемь лье в окружности; Пэмпонский лес, весь изрытый оврагами и руслами ручьев, почти непроходимый со стороны Бэньона и весьма удобный для отступления на Конкорне — гнездо роялистов; Реннский лес, по чащам которого гулко разносился набат республиканских приходов (обычно республиканцы тяготели к городам), здесь Пюизэ наголову разбил Фокара; Машкульский лес, где, словно волк, устроил свое логово Шаретт; Гарнашский лес, принадлежавший семействам Тремуйлей, Говэнов и Роганов, и Бросельяндский лес, принадлежавший только феям.

Один из дворян Бретани именовался «Хозяином Семилесья». Этот почетный титул носил виконт де Фонтенэ, принц Бретонский.

Помимо французского принца, существует принц бретонский. Так, Роганы были бретонскими принцами. Гарнье де Сент в своем донесении Конвенту от 15 нивоза II года окрестил принца Тальмона «Капетом разбойников, владыкой Мэна и всей Нормандии».

История бретонских лесов в период между 1792 и 1800 годами могла бы стать темой специального иссле-

дования, и она на правах легенды вошла бы в обширную летопись Вандеи.

У истории своя правда, у легенд — своя. Правда легенд по самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая. Правда легенд — это вымысел, итог которого — реальность. Впрочем, и легенды и история идут к одной и той же цели — в образе переходящего человека представить вечночеловеческое.

Нельзя до конца понять Вандею, если не дополнить историю легендой; история помогает увидеть всю картину в целом, а легенда — подробности.

Признаемся же, что Вандея стоит такого труда. Ибо Вандея — своего рода чудо.

Война темных людей, война нелепая и блистательная, отвратительная и великолепная, подкосила Францию, но и стала ее гордостью. Вандея — рана, но есть раны, приносящие славу.

В иные свои часы человеческое общество ставит историю перед загадкой, и для мудреца разгадка ее — свет, а для невежды — мрак, насилье и варварство. Философ поостережется вынести обвинительный приговор. Он понимает, что трудности влекут за собой неясность. Проявляя трудности, подобно тучам, отбрасывают на своем пути тень.

Если вы хотите понять Вандею, представьте себе отчетливо двух антагонистов: с одной стороны — французскую революцию, с другой — бретонского крестьянина. Развертываются небывалые события; благотельные перемены, происходящие одновременно, оборачиваются угрозой; цивилизация совершает гневный рывок; прогресс буйствует, забыв меру, несет с собой неслыханные и непонятные улучшения, и представьте, что на все это с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный светлоглазый длинноволосый человек, вся пища которого — молоко да каштаны, весь горизонт — стены его хижины, живая изгородь да межа его поля; он знает наизусть голос каждого колокола на любой колокольне в окрестных приходах, воду он употребляет лишь для питья, не расстается с кожаной курткой, расшитой шелковым узором, словно татуировкой покрывающим всю одежду, как предок его, кельт, покрывал татуировкой все лицо; почитает в своем палаче своего господина; говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склеп

прошлого, и умеет только запрячь волов, наточить косу, выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки; чтит прежде всего свою соху, а потом уж свою бабу; верит и в деву Марию, и в Белую даму, молитвенно преклоняет колена перед святым алтарем и перед таинственным высоким камнем, торчащим в пустынных ландшах; в долине он — хлебопашец, на берегу реки — рыбак, в лесной чаще — браконьер; он любит своих королей, своих сеньоров, своих попов, своих вшей; он несколько часов подряд может, не шелохнувшись, просто-ять на плоском пустынном берегу, — угрюмый слушатель моря.

А теперь судите сами: способен ли был такой слепец принять благословенный свет?

II

Люди

У крестьянина два надежных друга: поле, которое его кормит, и лес, который его укрывает.

Трудно даже представить в наши дни тогдашние бретонские леса, — это были настоящие города. Глухо, пустынно и дико; не продерешься через сплетение колючих ветвей и кустов; неподвижность и молчание обитают в этих непролазных чащах; одиночество, какого нет даже в смерти, даже в склепе; но если бы вдруг одним взмахом, как порывом бури, можно было бы снести все эти деревья, то стало бы видно, как под густой их сенью копошится людской муравейник.

Узкие круглые колодцы, скрытые под завалами из камней и сучьев, колодцы, которые идут сначала вертикально, а потом дают ответвления в сторону под прямым углом, расширяются наподобие воронки и выводят в полумрак пещер, — вот какое подземное царство обнаружил Камбиз в Египте, а Вестерман в Бретани; там — пустыня, здесь — леса; в пещерах Египта лежали мертвецы, а в пещерах Бретани ютились живые люди. Одна из самых заброшенных просек Мидонского леса, сплошь изрезанная подземными галереями и пещерами, где сновали невидимые люди, так и звалась «Большой город». Другая просека, столь же пустынная на поверхности и столь же густо заселенная в глубине, была известна под названием «Королевская площадь».

Эта подземная жизнь началась в Бретани с незапамятных времен. Человеку здесь всегда приходилось убежать от человека. Потому-то и возникали тайники, укрытые, как змеиные норы, под корнями деревьев. Так повелось еще со времен друидов, и некоторые из этих склепов — ровесники дольменам. И злые духи легенд, и чудовища истории — все они прошли по этой черной земле: Тевтат, Цезарь, Гоэль, Неомен, Готфрид Английский, Алэн Железная Перчатка, Пьер Моклерк, французский род Блуа и английский род Монфоров, короли и герцоги, девять бретонских баронов, судьи Великих Дней, графы Нантские, враждовавшие с графами Ренскими, бродяги, разбойники, купцы, Рене II, виконт де-Роган, наместники короля, «добрый герцог Шонский», вешавший крестьян на деревьях под окнами госпожи де Севинье; в XV веке — резня сеньоров, в XVI—XVII веках — религиозные войны, в XVIII веке — тридцать тысяч псов, натасканных на охоту за людьми; слышав издали этот грозный топот, народ спешил скрыться, исчезнуть. Итак, троглодиты, спасающиеся от кельтов, кельты, спасающиеся от римлян, бретонцы, спасающиеся от нормандцев, гугеноты — от католиков, контрабандисты — от таможенников, — все они поочередно искали убежища сначала в лесах, а потом и под землей. Самозащита зверя. Вот до чего тирания доводит нации. В течение двух тысячелетий деспотизм во всех своих проявлениях — завоевания, феодализм, фанатизм, поборы — травил несчастную загнанную Бретань, любая безжалостная облава кончалась лишь затем, чтобы вновь начаться на новый лад. И люди уходили под землю.

Ужас, который сродни гневу, уже гнезвился в душах, уже гнездились в подземных логовах люди, когда во Франции вспыхнула революция. И Бретань поднялась против нее — насильственное освобождение показалось ей новым гнетом. Извечная ошибка раба.

III

Сговор людей и лесов

Трагические леса Бретани, как и встарь, сделались пособниками и прислужниками нового мятежа.

Земля в таком лесу напоминала разветвленную веточку звездчатого коралла, — во всех направлениях шла

целая система неведомых врагу сообщений и ходов, пещерок и галерей. В каждой такой глухой пещере жило пять-шесть человек. Недостаток воздуха — вот в чем заключалась главная трудность. Несколько цифр дадут представление о могущественной организации этого неслыханного по размерам крестьянского мятежа. В Иль-э-Вилэн, в Пертрском лесу, где укрывался принц Тальмон, не слышно было дыхания человека, не видно было следа его ноги, и тем не менее там ютилось шесть тысяч человек во главе с Фокаром; в Морбигане, в Мелакском лесу, прохожий не встретил бы ни души, а там укрывалось восемь тысяч человек. А ведь эти два леса — Пертрский и Мелакский — еще не самые крупные в семье бретонских лесных массивов. Страшно было углубиться в их чащу. Эти обманчивые дебри, где в подземных лабиринтах ютились бойцы, напоминали огромные, недоступные человеческому глазу губки, из которых под тяжелой пятой гиганта, под пятой революции, извергалась лава гражданской войны.

Незримые батальоны подстерегали врага. Тайные армии, змеей проползая под ногами республиканских армий, вдруг появлялись, вдруг снова уходили под землю; вездесущие и невидимые, они обрушивались лавиной и рассыпались, они были подобны колоссу, наделенному способностью превращаться в карлика: колосс — в бою, карлик — в норе. Ягуары, ведущие жизнь кротов.

Кроме огромных прославленных лесов, в Бретани было еще множество перелесков и рощ. Подобно тому как города переходят в села, вековой бор переходил в заросли кустарника. Леса были связаны между собой целой сетью густолиственных зеленых лабиринтов. Старинные замки — они же крепости, поселки — они же лагеря; фермы, превращенные в ловушки и западни, мызы, обнесенные рвами и обсаженные деревьями, — из этих бесчисленных петель плелась огромная сеть, в которой запутывались республиканские войска.

Все это вместе взятое носило название «Бокаж».

В него входил Мидонский лес с озером в центре, — лес этот служил штаб-квартирой Жану Шуану; лес Жэнн — штаб-квартирой Тайеферу; Гюиссерийский лес — штаб-квартирой Гуж-ле-Брюану; лес Шарни — штаб-квартирой Куртилье Батарду, прозванному «Апостолом Павлом», начальнику укрепленного лагеря «Черная Ко-

рова»; Бюргольский лес — штаб-квартирой таинственно-му господину Жаку, которому рок судил умереть загадочной смертью в подземельях Жевардейля; был там также лес Шарро, где Пимусс и Пти-Прэнс во время стычки с гарнизоном Шатонефа хватали в охапку гренадеров и утаскивали их в плен; лес Эрэзри — свидетель поражения гарнизона Лонг-Фэ; Онский лес — откуда вели наблюдение за дорогой из Ренна в Лаваль; Гравельский лес, который принц де ла Треймуль некогда получил в собственность после удачной партии в мяч; Лоржский лес, расположенный в департаменте Кот-де-Нор, где после Бернара де Вильнев хозяйничал Шарль де Буагарди; Баньярский лес близ Фонтенэ, где Лескюр напал на Шальбоса и тот принял бой, хотя враг превосходил его численностью в пять раз; лес Дюронде, который некогда оспаривали друг у друга Алэн де Редрю и сын Карла Лысого Эрипу; лес Кроклу, к самой опушке которого подходили ланды, где Кокро приканчивал пленных; лес Круа-Батайль, под сенью которого Серебряная Нога изрыгал подлинно гомеровскую хулу на голову Морьера, а Морьер отвечал тем же Серебряной Ноге; Содрейский лес, чащи которого, как мы уже видели, обшаривал один из парижских батальонов. И еще много других.

В большинстве этих лесов и рощ были не только подземные жилища, расположенные вокруг пещеры вождя; там были и настоящие поселения с низенькими хибарками, укрытыми древесной листвой, и они заполняли все уголки леса. Часто их местоположение выдавал только дым. Два таких лесных поселка в Мидонском лесу завоевали громкую славу: один — Лоррьер близ Летана, а близ Сент-Уэн-ле-Туа — десяток хижин, известных под названием Рю-де-Бо.

Женщины жили в хижинах, мужчины — под землей, в склепах. Для военных целей они пользовались «громами фей» и древними ходами, вырытыми еще кельтами. Жены и дочери носили пищу ушедшим под землю мужьям и отцам. А бывало и так: забудут о человеке — и он погибает в своем убежище с голода. Впрочем, такая участь постигала лишь тех, кто по неловкости не мог поднять крышку, закрывавшую выходной колодезь. Обычно крышку подземного тайника маскировали мхом и ветвями, и так искусно, что ее почти невозможно бы-

ло обнаружить среди густой травы, но зато очень легко было открывать и закрывать изнутри. Тайники эти рыли с большими предосторожностями, вынутую землю потихоньку уносили и бросали в соседний пруд. Стенки и пол подземелья устилали мхом и папоротником. Именовалось такое подземное убежище «конуркой». Жить там было можно, если можно жить без света, без огня, без хлеба и свежего воздуха.

Было неосторожно не вовремя выглянуть на свет божий, покинуть подземное жилье в недобрый час. Того гляди, очутишься под ногами марширующего республиканского отряда. Грозные леса: что ни лес — двойной капкан. Синие не решались войти в лес, белые не решались выйти из леса.

IV

Их жизнь под землей

Люди, забившиеся в звериные норы, томились от скуки. Иной раз ночью, махнув рукой на все опасности, они вылезали наружу и отправлялись в близлежащие ланды поплясать немного. Иные молились, надеясь скоротать долгие часы. «С утра до ночи, — вспоминает Бурдуазо, — Жан Шуан заставлял нас перебирать четки».

Немалых трудов стоило удержать под землей жителей Нижнего Мэна, когда в их краю наступал праздник Жатвы. Некоторым приходили в голову самые невероятные фантазии. Так, Дени, иначе Пробей-Гора, переодевшись в женское платье, пробирался в Лаваль посмотреть спектакль, потом снова заползал в свою «конурку».

В один прекрасный день они уходили на смертный бой, сменив мрак звериной норы на мрак могилы.

Иногда, приподняв крышку тайника, они жадно прислушивались, не началась ли «схватка», настороженно следили за ходом сражения. Республиканцы стреляли равномерно, залп за залпом, роялисты вели беспорядочный огонь, и это помогало разбираться в боевой обстановке. Если беспорядочная стрельба вдруг прекращалась — значит, роялистов одолели, если одиночные выстрелы еще долго слышались вдали — значит, побеждали

белые. Белые всякий раз преследовали неприятеля, а синие — никогда, так как Вандея была против них.

Подземное воинство прекрасно знало, что творится на поверхности земли. Со сказочной быстротой распространялись по лесу вести сказочно-таинственными путями. Вандейцы разрушили все мосты, сняли колеса со всех повозок и телег и тем не менее находили способ передавать друг другу необходимые сведения и осведомлять друг друга обо всем, что происходило окрест. Сеть дозорных постов, расставленных повсюду, передавала сведения из леса в лес, из деревни в деревню, от мызы к мызе, от хижины к хижине, от куста к кусту.

Какой-нибудь безобидный мужлан, глуповато улыбаясь, брел по дороге, но в выдолбленной палке он нес депешу.

Бывший член Учредительного собрания Боэтиду снабжал мятежников республиканскими пропусками нового образца, позволявшими беспрепятственно передвигаться из одного конца Бретани в другой. На таком пропуске оставалось лишь поставить свое имя, а изменник выкрал их не одну сотню. И невозможно было никого изловить. «Тайны, в которые были посвящены более четырехсот тысяч человек, хранились свято», — пишет Пюизэ¹.

Казалось, что этот огромный четырехугольник, образованный на юге линией Сабль — Туар, на востоке — линией Туар — Сомюр, а также рекой Туэ, на севере — водами Луары, на западе — берегом океана, наделен единой нервной системой, и толчок в любой его точке сотрясал весь организм. В мгновение ока новость из Нуармутье долетала до Люсона, и в лагере Луэ знали в подробностях то, что делается в лагере Круа-Морино. Словно птицы помогали переносить вести. Седьмого мессидора III года Гош писал: «Можно подумать, что у них есть телеграф».

В этом крае были свои кланы, подобные шотландским кланам. Каждый приход имел своего военачальника. В этой войне участвовал мой родной отец, и я вправе говорить о ней.

¹ П ю и з э, т. II, стр. 35 (Прим. автора.).

Их жизнь на войне

Многие из них были вооружены только пиками. Однако имелись в изобилии и добрые охотничьи карабины. Браконьеры Бокажа и контрабандисты Лору — непревзойденные стрелки. Странное это было воинство — наводящее ужас и отважное. Когда прошел слух о наборе по декрету трехсоттысячного ополчения, во всех приходах Вандеи забили в набат, всполошив шестьсот деревень. Пожар мятежа запылал со всех концов сразу. Пуату и Анжу выступили в один и тот же день. Добавим, что первые раскаты грозы послышались в ландах Кербадер еще 8 июля 1792 года, за месяц до 10 августа. Предшественником Ларошжакелена и Жана Шуана был ныне забытый Алэн Ределер. Под страхом смертной казни роялисты забирали в свои отряды всех мужчин, способных носить оружие, реквизировали лошадей, повозки, съестные припасы. В мгновение ока Сапино сформировал отряд в три тысячи солдат, Кателино набрал десять тысяч человек, Стоффле — двадцать тысяч, а Шаретт стал хозяином Нуармуте. Виконт де Сепо поднял мятеж в Верхнем Анжу, шевалье де Дьези — в Антр-Вилэн-э-Луар, Тристан Отшельник — в Нижнем Мэне, цирюльник Гастон — в городе Геменэ, аббат Бернье — по всему остальному краю. Впрочем, расшевелить эту массу не составляло особого труда. В дарохранительницу какого-нибудь присягнувшего Республике священника, по местному выражению «попа-клятвенника», сажали черного кота, который внезапно выскакивал в самый разгар обедни. «Дьявол! Дьявол!» — кричали крестьяне, и вся округа подымалась как один человек. В исповедальнях тлело пламя мятежа. Бретонское воинство было вооружено палками длиной в пятнадцать футов, так называемыми жердинами, и это орудие, равно пригодное и в бою и при отступлении, служило для неожиданных атак на синих и помогало в головоломных прыжках через овраги. В разгар самых жарких схваток, когда бретонские крестьяне с ожесточением рвались на республиканские каре, стоило им заметить поблизости часовенку или распятие, как они тут же, на поле боя, преклоняли колена и под свист картечи читали молитву, закончив молиться, оставшиеся в живых вскакивали на ноги и уст-

ремлялись на врага. Какие гиганты... увы! Они славились уменьем заряжать на ходу ружья. Их можно было уверить в чем угодно; священники показывали им своего собрата по ремеслу, которому предварительно веревкой стягивали докрасна шею, и объявляли собравшимся: «Смотрите, вот он воскрес после гильотины!» Им не был чужд дух рыцарства: так, они с воинскими почестями похоронили Феска, республиканского знаменосца, который был изрублен саблями, но не выпустил из рук полкового стяга. Они были остры на язык, про республиканских священников, вступивших в брак, они язвительно говорили: «Сначала на сан наплюет, а потом, глядишь, санкюлот». Поначалу они боялись пушек, а потом бросались на орудия с палками и захватывали их. Так они забрали великолепную бронзовую пушку и назвали ее «Миссионер»; вслед за «Миссионером» захватили старинное орудие, помнившее еще религиозные войны, — на нем были отлиты герб Ришелье и лик девы Марии; эту пушку они прозвали «Мари-Жанна». Когда их выбили из Фонтенэ, они потеряли и «Мари-Жанну», при защите которой, не дрогнув, погибли шестьсот крестьян. Потом они снова захватили Фонтенэ, именно с целью отбить свою «Мари-Жанну», и торжественно провезли ее по селениям, покрыв знаменами с королевскими лилиями и цветочными гирляндами, причем заставляли всех встречных женщин лобызать пушку. Но двух пушек было маловато. «Мари-Жанну» взял себе Стоффле; тогда снедаемый завистью Кателино выступил из Пэн-ан-Манж, атаковал Жаллэ и захватил третье орудие; Форэ атаковал Сен-Флоран и взял четвертое. Два других вожака, Шуп и Сен-Поль, поступили проще: дубовые бревна обрядили под стволы пушек, понаделали чучел, долженствовавших изображать орудийную прислугу, и с этой-то артиллерией, над которой весело потешались сами, обратили в бегство синих под Марейлем. То была их лучшая пора. Позднее, когда Шальбо разбил наголову Ламарсоньера, крестьянские батальоны позорно бежали, оставив на поле боя тридцать два английских орудия. В те времена Англия выплачивала французским принцам субсидию и посылала «определенное содержание его высочеству, — как писал 10 мая 1794 года Нансиа, — ибо господина Питта уверили, что этого требуют приличия». Мелине в донесении от 31 марта сообщает: «Мятежники идут в бой

с криками: «Да здравствуют англичане!» Крестьяне задерживались там, где могли пограбить. Святоши превратились в воров. И дикарь не без порока. Играя именно на этой его слабой струнке, его приобщают к цивилизации. Пюизэ пишет во II томе на странице 187: «Я несколько раз спасал Плелан от грабежа». И дальше на странице 434 он объясняет, почему обошел стороной Монфор: «Я нарочно пошел в обход, чтобы не допустить разграбления якобинских жилищ». Мятежники обобрали Шолле; они обчистили Шаллан. Так как им не удалось поживиться в Гранвиле, они обрушились на Виль-Дье. Крестьяне, примкнувших к синим, они обзывали «якобинским отребьем» и уничтожали их в первую очередь. Они любили бой, как солдаты, и любили убийство, как разбойники. Они с удовольствием расстреливали буржуа, этих, по их выражению, «брюхачей»; «разговелись мы», — говорили они в таких случаях. В Фонтенэ один из их священников, кюре Барботэн, зарубил саблей старика. В Сен-Жермен-сюр-Иль¹ один из их командиров, дворянин по происхождению, застрелил из ружья прокурора Коммуны и взял себе его часы. В Машкуле республиканцев уничтожали систематически по тридцать человек в день — избиение длилось целых пять недель; каждая партия из тридцати человек называлась «четками». Обреченных ставили у края вырытой могилы — спиной к яме — и расстреливали; нередко республиканцы падали в яму еще живыми, но их засыпали землей. Впрочем, мы сами еще недавно наблюдали подобные нравы. Жуберу, главе округа, отпилили кисти обеих рук. На синих, попавших в плен, надевали наручники, вбивавшиеся в тело и выкованные специально для такой цели. Убивали республиканцев на площади при всем народе под звуки охотничьих рогов. Шаретт, который подписывался: «Братство; Кавалер Шаретт» — и повязывал голову, наподобие Марата, носовым платком, делая узел спереди, над самыми бровями, сжег город Порник со всеми жителями, заперев их в домах. Правда, и Каррье не миловал вандейцев. На террор отвечали террором. Бретонский мятежник обликом своим напоминал греческого повстанца: короткая куртка, ружье на перевязи, гетры, широкие штаны; бретонский «молодец» походил на клеф-та. Анри де Ларошжакелен, имея от роду двадцать один

¹ Пюизэ, т. II, стр. 35 (Прим. автора.).

год, отправился на войну с палкой в руке и парой пистолетов за поясом. Вандейская армия насчитывала сто пятьдесят четыре дивизии. Они проводили регулярные осады городов, в течение трех дней они держали в осаде Брессюир. Девять тысяч крестьян в Страстную пятницу бомбардировали город Сабль раскаленными ядрами. Как-то раз они ухитрились за один день разгромить четырнадцать республиканских лагерей между Монтинье и Курбвейлем. В Тюаре можно было слышать следующий блистательный диалог между Ларошжакеленом и каким-то крестьянским парнем — оба стояли под стенами города: «Шарль!» — «Здесь». — «Подставь плечи, я попробую взобраться». — «Подставил». — «Дай твоё ружьё». — «Нате». Ларошжакелен взобрался на стену, спрыгнул вниз, и мятежники овладели без помощи осадных лестниц башнями, которые безуспешно осаждал сам Дюгесклен. Пуля им была дороже червонца. Они плакали горючими слезами, когда вдали скрывалась колокольня родного села. Бегство от неприятеля считалось самым обычным делом; в таких случаях вожак командовал: «Башмаки долой, ружья не бросать!» Когда не хватало зарядов, они, прочитав молитву, отправлялись добывать порох из запасов республиканских армий; позднее д'Эльбе обращался за порохом и пулями к англичанам. Когда синие наседали, вандейцы перетаскивали своих раненых в высокую рожь или в заросли папоротника и по окончании схватки уносили с собой. Военной формы у них не было. Одежда постепенно приходила в ветхость. Мужики и дворяне носили первое попавшееся тряпье; так, Роже Мулинье щеголял в тюрбане и доломане, которые он прихватил из театральной костюмерной в городе Флеш; шевалье де Бовилье накидывал на плечи прокурорскую мантию, а поверх шерстяного колпака надевал дамскую шляпку. Зато каждый носил белую перевязь и белый пояс; чины различались по цвету бантов; Стоффле ходил с красным бантом, Ларошжакелен — с черным; Вимпфен, наполовину жирондист, впрочем ни разу не покидавший пределов Нормандии, разгуливал с нарукавной повязкой. В рядах вандейцев были и женщины — например, госпожа де Лескюр, позже ставшая госпожой де Ларошжакелен; Тереза де Мольен, любовница де Ларуари, которая сожгла список главарей приходов; юная красавица, госпожа де Ларош-

фуко, которая, выхватив из ножен саблю, вместе с крестьянами пошла на штурм башни замка Пюи-Руссо, и, наконец, знаменитая Антуанетта Адамс, прозванная «Кавалер Адамс», столь прославившаяся своей отвагой, что, когда она попала в руки синим, ее расстреляли, из уважения к ее воинской доблести, стоя. Эти легендарные времена не знали снисхождения. Иные люди становились бесноватыми. Та же госпожа Лескюр нарочно пускала в галоп своего коня по телам республиканцев, павших в бою, по мертвецам,— утверждает она; возможно, и по раненым,— скажем мы. Мужчины, случалось, изменяли общему делу, женщины — никогда. Мадмуазель Флери из Французского театра перешла от Ларуари к Марату, но перешла послушная велению сердца. Военачальники иной раз были такими же грамотеями, как и их солдаты,— например, господин Сапино, не особенно ладивший с орфографией, писал: «На нашей староне иметца...» Вандейские вожаки ненавидели друг друга; орудовавшие в болотистых низинах орали: «Долой разбойников из горных мест!» Кавалерия у вандейцев была малочисленная, да и сформировать ее стоило немало труда; Пюизэ пишет: «Крестьянин с легкой душой отдает мне двух сыновей, но, попроси я у него лошаденку, он сразу насторожится». Вилы, косы, старые и новые ружья, браконьерские ножи, вертела, дубинки обыкновенные и дубинки с шипом на конце — вот их вооружение; кое-кто носил крест, сделанный из человеческих костей. На врага они бросались с громкими криками, возникали сразу отовсюду; выбегали из чащи леса, из-за холма, из-за кучи хвороста, из-за дорожного откоса, рассыпались полукругом, убивали, истребляли, разили и исчезали. Проходя через республиканский город, они срубали дерево Свободы, сжигали его и плясали вокруг костра. У них были повадки ночных хищников. Правило вандейца — нападать внезапно. Они проделывали по пятнадцать лье без малейшего шума, даже не примяв на пути травинки. Вечером предводители, сойдясь на военный совет, определяли место завтрашнего нападения на республиканские посты; вандейцы тут же заряжали карабины; потом, пробормотав молитву, снимали деревянные сабо и длинной вереницей шли через лес, шагая бо-сыми ногами по вереску и мху: ни звука, ни слова, ни вздоха. Так в темноте осторожно крадется кошка.

Душа земли вселяется в человека

Мятежная Вандея насчитывала, по самому скромному счету, пятьсот тысяч человек — мужчин, женщин и детей. Полмиллиона бойцов — такую цифру называет Тюффен де Ларуари.

Федералисты помогали ей; сообщницей Вандеи была Жиронда. Лалозер направил в Бокаж тридцать тысяч человек. Для совместных действий объединились восемь департаментов — пять в Бретани и три в Нормандии. Город Эвре, побратавшийся с Каном, был представлен в лагере мятежником Шомоном — своим мэром, а Гардемба — своим нотаблем. Бюзо, Горса и Барбару — в Кане, Бриссо — в Мулене, Шассан — в Лионе, Рабо-Сент-Этьен — в Ниме, Мейян и Дюшатель — в Бретани, — все они дружно раздували пламя мятежа.

Было две Вандеи: большая Вандея, которая вела лесную войну, и Вандея малая, которая воевала в кустарнике; именно этот оттенок и отличает Шаретта от Жана Шуана. Малая Вандея действовала в простоте душевной, большая прогнала насквозь; малая все же была лучше. Шаретт получил титул маркиза, чин генерал-лейтенанта королевских войск и большой крест Святого Людовика, а Жан Шуан как был, так и остался Жаном Шуаном. Шаретт сродни бандиту, Жан Шуан — рыцарю.

А такие вожаки, как Боншан, Лескур, Ларошжакелен — люди большой души, — просто-напросто заблуждались. Создание «великой католической армии» было безрассудной растратой сил; она была обречена на гибель. Можно ли представить себе крестьянский шквал обрушившимся на Париж, коалицию деревенщины, осаждающую Пантеон, гнусавый хор рождественских песнопений, заглушающий звуки *Марсельезы*, орду деревянных башмаков, двинувшуюся на гвардию духа? Под Мансом и Савенэ это безумие получило по заслугам. Вандея запнулась о Луару. Она могла все, но не могла перешагнуть через эту преграду. В гражданской войне завоевания опасны. Переход через Рейн довершает славу Цезаря и множит триумфы Наполеона, переход через Луару убивает Ларошжакелена.

Истинная Вандея — это Вандея в пределах своего дома; здесь она неуязвима, более того — неуловима.

Вандеец у себя в Вандее — контрабандист, землепашец, солдат, погонщик волов, пастух, браконьер, франтирер, гуртовщик, звонарь, крестьянин, шпион, убийца, пономарь, лесной зверь...

Ларошжакелен только Ахилл, Жан Шуан — Протей.

Вандея потерпела неудачу. Многие восстания увенчались успехом, — примером тому может служить Швейцария. Но между мятежником-горцем, каким являлся швейцарец, и лесным мятежником-вандейцем есть существенная разница: подчиняясь роковому воздействию окружающей природы, первый борется за идеалы, второй — за предрассудки. Один парит, другой ползает. Один сражается за всех людей, другой — за свое безлюдье; один ищет свободы, другой — уединения; один защищает человеческую общину, другой — свой приход. «Общины! Общины!» — кричали герои битвы при Мора. Один привык к безднам, другой — к рытвинам. Один — дитя горных пенящихся потоков, другой — стоячих болот, откуда выползает лихорадка; у одного над головой — лазурь, у другого — сплетение ветвей; один царит на вершинах, другой хоронится в тени.

А вершина и низина по-разному воспитывают человека. Гора — это цитадель, лес — это засада; гора вдохновляет на смелые подвиги, лес — на коварные поступки. Недаром древние греки поселили своих богов на вершины гор, а сатиров — в лесной чаще. Сатир — это дикарь, получеловек, полузверь. В свободных странах есть Апеннины, Альпы, Пиренеи, Олимп. Парнас — это гора. Гора Монблан была гигантским соратником Вильгельма Телля; в поэмах Индии, пронизанных духом победоносной борьбы разума с темными силами, сквозь это борец проступает силуэт Гималаев. Символ Греции, Испании, Италии, Гельвеции — гора; символ Киммерии, Германии, Бретани — лес. А лес — он варвар.

Характер местности подсказывает человеку многие его поступки. Природа чаще, чем полагают, бывает соучастницей наших деяний. Когда вглядываешься в хмурый пейзаж, хочется порой оправдать человека и обвинить природу, исподтишка подстрекающую его на дурное; пустыня подчас может оказать пагубное воздействие на человеческую совесть, особенно на совесть человека непросвещенного; совесть может быть великаншей, и тогда появляются Сократ и Иисус; она может быть кар-

лицей — тогда появляются Атрей и Иуда. Совесть-карлица легко превращается в пресмыкающееся; не дай ей бог попасть в мрачные дебри, в объятия колючек и терний, в болота, гниющие под навесом ветвей; здесь она открыта всем дурным и таинственным наущениям. Оптический обман, непонятные миражи, нечистое место, зловещий час суток — все это повергает человека в полумистический, полуживотный страх, из которого в мирные дни рождаются суеверия, а в грозную годину — зверская жестокость. Галлюцинации своим факелом освещают путь убийству. В разбое есть что-то хмельное. В чудесных явлениях природы скрыт двойной смысл — она восхищает взор истинно просвещенных людей и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня населена призраками, ночной мрак усиливает мрак ума, и в душе человека разверзаются бездны. Какая-нибудь скала, какой-нибудь овраг, какая-нибудь лесная поросль, резкая игра света и тени между деревьев — все это может толкнуть на дикий и жестокий поступок. Словно и в самом деле существуют в природе злодейские места.

Сколько трагедий перевидал на своем веку мрачный холм, поднимающийся между Бэньоном и Плеланом!

Широкие горизонты внушают душе человека общие идеи; горизонты ограниченные порождают лишь идеи частные, — вот почему иной человек большой души всю жизнь живет в кругу своих узких мыслей; пример тому — Жан Шуан.

Общие идеи ненавистны идеям частным; отсюда — борьба против прогресса.

Родной край и отечество — в этих двух словах заключена вся сущность вандейской войны; вражда идеи местной с идеей всеобщей, крестьянина с патриотом.

VII

Вандея прикончила Бретань

Бретань — завзятая мятежница. Всякий раз, когда в течение двух тысяч лет она подымалась, правда была на ее стороне; на сей раз она оказалась права. И, однако, боролась ли она против революции или против монархии, против делегатов Конвента или против своих хозя-

ев — герцогов и пэров, против выпуска ассигнатов или против соляного налога, бралась ли она за оружие под водительством Никола Рапэна, Франсуа де Лану, капитана Плювио или госпожи де ла Гарнаш, Стоффле, Кокеро или Лешанделье де Пьервиль, шла ли она за Роганом против короля или с Ларошжакеленом за короля, — Бретань всегда вела одну и ту же войну, противопоставляла себя центральной власти.

Старинные бретонские провинции подобны пруду: стоячие воды не желали течь; дыхание ветра не освежало их, а лишь будоражило. Для бретонцев Финистером кончалась Франция, им замыкался мир, отведенный человеку, тут прекращался шаг поколений. «Стой!» — кричал океан земле, а варварство — цивилизации. Каждый раз, как из центра, из Парижа, шел толчок, исходил ли он от монархии или от республики, был ли он на руку деспотизму или свободе, — все равно это оказывалось новшеством, и вся Бретань злобно ощеривалась. Оставьте нас в покое! Что вам от нас нужно? И жители равнины брались за вилы, а жители Бокажа — за карабин. Все наши начинания, наши первые шаги в законодательстве и просвещении, наши энциклопедии, наши философы, наши гении, наша слава разлетались в прах, натолкнувшись у подступов к Бретани на Гуру; набат в Базуе возвещает угрозу французской революции; пушторь Фау подымается против наших шумливых площадей, а колокол в О-де-Пре объявляет войну башням Лувра.

Трагическая глухота.

Вандейский мятеж был страшным недоразумением.

Стычка колоссов, свара титанов, неслыханный по своим масштабам мятеж, которому было суждено остаться в истории лишь одно имя — Вандея, знаменитое, но черное имя; Вандея, кончившая самоубийством ради того, что уже кончилось, приносившая себя в жертву ради эгоистов, отдававшая свою беззаветную отвагу ради трусов, не имевшая ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели, ни вождя, ни ответственности; показавшая, в какой мере воля может стать бессилием; рыцарственная и дикая, нелепая в своем разнузданном зверстве, воздвигавшая против света преграду тьмы; невежество, целые годы оказывавшее бессмысленное и спесивое сопротивление истине, справедливости, праву, разуму, свободе; пу-

гало, страшившее страну целых восемь лет; опустошение четырнадцати провинций; вытоптанные нивы, сожженные села, разрушенные, разграбленные города и жилища, убийство женщин и детей; горящий факел в соломе; меч, вонзенный в сердце, угроза цивилизации, надежда Пিতта — вот какова была эта война, эта бессознательная попытка отцеубийства.

В итоге Вандея послужила делу прогресса, доказав, что необходимо рассеять древний бретонский мрак, пронизать эти джунгли всеми стрелами света. Катастрофы на свой страшный лад ставят все на свое место.

КНИГА ВТОРАЯ

ТРОЕ ДЕТЕЙ

I

*Plus quam civilia bella*¹

Лето 1792 года выдалось на редкость дождливое, а лето 1793 года — на редкость жаркое. Гражданская война в Бретани уничтожила все существовавшие дороги. Однако люди разъезжали по всему краю, пользуясь прекрасной погодой. Сухая земля — сама по себе хорошая дорога.

К концу ясного июльского дня, приблизительно через час после захода солнца, какой-то человек, ехавший верхом из Авранша, подскакал к маленькой харчевне под названием «Круа-Браншар», что стояла у входа в Понторсон, и осадил коня перед вывеской, какие еще совсем недавно можно было видеть в тех местах: «Потчует холодным сидром прямо из бочонка». Весь день стояла жара, но к ночи поднялся ветер.

Путешественник был закутан в широкий плащ, покрывавший своими складками круп лошади. На голове его красовалась широкополая шляпа с трехцветной кокардой, что свидетельствовало об отваге путника, ибо в этом краю, где каждая изгородь стала засадой, трехцветная кокарда служила прекрасной мишенью. Широкий плащ, застегнутый у горла и расходившийся спереди, не стеснял движений и не скрывал трехцветного пояса, из-за которого торчали рукоятки двух пистолетов. Полу плаща сзади приподымала сабля.

Когда всадник осадил коня, дверь харчевни отворилась, и на пороге показался хозяин с фонарем в руке.

¹ Больше чем гражданская война (лат.).

Было то неопределенное время дня, когда на дворе еще светло, а в домах уже сгущается тьма.

Хозяин взглянул на трехцветную кокарду.

— Вы у нас остановитесь, гражданин? — спросил он.

— Нет.

— Куда изволите путь держать?

— В Долю.

— Тогда возвращайтесь лучше в Авранш, а то заночуйте в Понторсоне.

— Почему?

— Потому что в Доле идет сражение.

— Ах, так! — произнес всадник и добавил: — Засыпьте-ка моему коню овса.

Хозяин притащил колоду, высыпал в нее мешок овса и разнуздal лошадь; лошадь, шумно фыркнув, принялась за еду.

Разговор между тем продолжался:

— Гражданин! Конь у вас реквизированный?

— Нет.

— Значит, ваш собственный?

— Да, мой. Я его купил и заплатил наличными.

— А сами откуда будете?

— Из Парижа.

— Конечно, не прямо из Парижа?

— Нет.

— Я так и знал — все дороги перекрыты. А вот почта пока ходит исправно.

— Только до Алансона. Поэтому я из Алансона еду верхом.

— Скоро по всей Франции почта не будет ходить. Лошади перевелись. Коню красная цена триста франков, а за него просят шестьсот, к овсу лучше и не подступайся. Сам почтовых лошадей держал, а теперь, видите, держу харчевню. Нас, начальников почты, было тысяча триста тринадцать человек, да двести уже подали в отставку. А с вас, гражданин, по новому тарифу брали?

— С первого мая берут по новому.

— Значит, платили по двадцать су с мили за место в карете, двенадцать су — за место в кабриолете и пять су — за место в повозке. Лошадку-то в Алансоне приобрели?

— Да.

— Целый день нынче ехали?

— Да, с самого рассвета.
— А вчера?
— И вчера и позавчера так же.
— Сразу видно. Вы через Донфорон и Мортэн ехали?
— И через Авранш.
— Послушайте меня, гражданин, остановитесь у нас, отдохните. И вы устали, и лошадка притомилась.

— Лошадь имеет право уставать, человек — нет.

При этих словах хозяин взглянул на приезжего и увидел строгое, суровое, спокойное лицо в рамке седых волос. Оглянувшись на пустынную дорогу, он спросил:

— Так одни и путешествуете?

— Нет, с охраной.

— Какая же охрана?

— Сабля и пистолеты.

Трактирщик притащил ведро воды и поднес лошади; пока лошадь пила, он не спускал глаз с приезжего и думал: «Хоть десяток сабель прицепи, все равно попа узнаешь».

— Так вы говорите, что в Доле сражаются? — начал приезжий.

— Да. Должно быть, сейчас там битва в самом разгаре.

— А кто же сражается?

— Бывший с бывшим.

— Как вы сказали?

— Говорю, что один бывший перешел на сторону республиканцев и сражается против другого бывшего, — тот как был, так и остался за короля.

— Но короля уже нет.

— А малолетний? И самое смешное: оба эти бывшие — родня между собой.

Путник внимательно слушал хозяина.

А тот продолжал:

— Один — молодой, а другой — старик. Внучатный племянник поднял руку на своего двоюродного деда. Дед — роялист, а внук — патриот. Дед командует белыми, а внук — синими. Ну, от этих пощады не жди. Оба ведут войну не на живот, а на смерть.

— На смерть?

— Да, гражданин, на смерть. Вот полюбуйтесь, какими они обмениваются любезностями. Прочтите-ка объ-

явление,— старик ухитрился такие объявления развесить повсюду, на всех домах, во всех деревнях, даже мне на дверь нацепили.

Он приблизил фонарь к квадратному куску бумаги, приклеенному к створке входной двери, и путник, пригнувшись в седле, разобрал написанный крупными литерами текст:

«Маркиз де Лантенак имеет честь известить своего внучатного племянника виконта де Говэна, что, если маркизу по счастливой случайности попадетсЯ в руки вышеупомянутый виконт, маркиз с превеликим удовольствием расстреляет его».

— А теперь поглядите ответ,— добавил хозяин.

Он повернулся и осветил другое объявление, приклеенное к противоположной створке двери. Всадник прочел:

«Говэн предупреждает Лантенака, что, если этот последний попадетсЯ в плен, он будет расстрелян».

— Вчера,— пояснил хозяин,— старик повесил объявление, а сегодня, глядите, и внук за ним. Недолго ответа ждал.

Путешественник вполголоса, словно говоря с самим собой, произнес несколько слов, которые хозяин хоть и расслышал, но не понял.

— Да, это уже больше чем междоусобная война — это война семейная. Что ж, пусть так, это к лучшему. Великое обновление народов покупается лишь такой ценой.

Не отрывая глаз от второго объявления, всадник поднес руку к шляпе и почтительно отдал честь клочку бумаги.

Хозяин тем временем продолжал:

— Сами видите, гражданин, что получается. Города и крупные селения — за революцию, а деревни — против; иначе сказать, города — французские, а деревни — бретонские. Значит, войну ведут горожанин с крестьянином. Нас они зовут «брюхачами», ну, а мы их величаем «сиволапыми». А дворяне и попы все на их стороне.

— Ну, положим, не все,— заметил путник.

— Конечно, гражданин, не все, раз виконт против маркиза пошел,— сказал хозяин и добавил про себя: «Да и сам ты, гражданин, видать, поп».

— А кто из них двоих одерживает верх?

— Пока что виконт. Но ему трудно приходится. Старик упорный. Оба они из рода Говэнов — здешние дворяне. Их род разделился на две ветви: у старшей ветви глава маркиз де Лантенак, ну, а глава младшей — виконт де Говэн. А нынче обе ветви сшиблись. У деревьев такого не бывает, а вот у людей случается. Маркиз де Лантенак — глава всей Бретани. Мужики его иначе как принцем не называют. Только он высадился, к нему сразу пришло восемь тысяч человек; за одну неделю поднялись триста приходов. Если бы ему удалось захватить хоть полоску побережья, англичане сразу бы высадились. К счастью, здесь оказался Говэн, его внук. Чудеса, да и только! Он командует республиканскими войсками и уже образумил деда. Лантенак сразу же по приезде приказал уничтожить всех пленных, среди них попались две женщины, а у одной было трое ребятишек, которых решил усыновить парижский батальон. Теперь этот батальон спуску белым не дает. Зовется он «Красный Колпак». Парижан, правда, в нем осталось немного, зато каждый дерется за пятерых. Вот они все и влились в отряд Говэна. Белых так и метут. Хотят отомстить за тех женщин и отобрать ребятишек. Что с маленькими случилось, куда их старик запрятал — никто не знает. Потому-то парижские гренадеры и разъярились. Не случилось здесь этих ребятишек, может быть, и война по-другому повернулась бы. А виконт — славный и храбрый молодой человек. Зато старик маркиз — сущий зверь. Крестьяне говорят, что это, мол, Михаил-архангел сражается с Вельзевулом. Вы, может быть, не слышали: Михаил-архангел — здешний покровитель. Даже одна гора его именем называется, та, что посреди залива. Здешние жители верят, что архангел Михаил укокошил дьявола и похоронил его под другой горой, и зовется та гора Томбелен.

— Да,— пробормотал путник,— *tumba Belini*, могила Беленуса, Белюса, Бела, Белиала, Вельзевула.

— Вы, как я погляжу, человек сведущий.

И тут хозяин снова сказал себе:

«Ну, понятно, священник, раз по-латыни знает!»

А вслух он сказал:

— Так вот, гражданин, по крестьянскому представлению выходит, что снова началась старая война. Если их послушать, то получается, что Михаил-архангел —

это генерал-роялист, а Вельзевул — это республиканский командир. Но уж если есть на свете дьявол, так это наверняка Лантенак, а если имеются божьи ангелы — так это как раз Говэн. Перекусить, гражданин, не желаете?

— Нет, у меня с собою фляга с вином и краюха хлеба. А вы мне так и не сказали, что делается в Доле.

— Сейчас расскажу. Говэн командует береговым экспедиционным отрядом. А Лантенак решил поднять Нижнюю Бретань и Нижнюю Нормандию, открыть двери Питту и усилить вандейскую армию — влить в нее двадцать тысяч англичан и двести тысяч крестьян. А Говэн взял и разрушил этот план. Он держит в своих руках все побережье, теснит Лантенака в глубь страны, а англичан — к морю. Еще недавно здесь был Лантенак, но Говэн его отогнал, отобрал у него Понт-о-Бо, выбил его из Авранша, выбил его из Вильдье, преградил ему путь на Гранвиль. А теперь предпринял новый маневр, чтобы загнать Лантенака в Фужерский лес и там окружить. Все шло хорошо. Вчера еще здесь был Говэн со своим отрядом. Вдруг тревога. Старик — стреляный воробей, взял да и пошел в обход, говорят, пошел на Доль. Если он овладеет Додем да установит на Мон-Доль хоть одну батарею, — а пушки у него есть, — значит, здесь, на нашем участке побережья, смогут высадиться англичане, и тогда пиши пропало. Вот поэтому-то и нельзя было мешкать. Говэн, упрямая голова, не спросил ни у кого совета, никаких распоряжений не стал ждать, скомандовал: «По коням!» — велел двинуть артиллерию, собрал свое войско, выхватил саблю и двинулся в путь. Лантенак бросился на Доль, а Говэн на Лантенака. Вот в этом самом Доле и сшибутся два бретонских лба. Сильный получится удар! Теперь они уже в Доле.

— А сколько отсюда до Доля?

— Отряд с повозками часа за три доберется. Но они уже дошли.

Всадник прислушался и сказал:

— И в самом деле, будто слышна канонада.

Хозяин прислушался тоже.

— Верно, гражданин. И из ружей тоже палят. Слышите? Словно полотно рвут. Заночуйте-ка здесь. Сейчас туда незачем спешить.

— Нет, я не могу задерживаться. Мне пора.

— Напрасно, гражданин. Конечно, я ваших дел не знаю, да уж очень велик риск, если, конечно, речь не идет о самом дорогом для вас на свете...

— Именно об этом и идет речь,— ответил всадник.

— Ну, скажем, о вашем сыне...

— Почти о сыне,— сказал всадник.

Хозяин, задрав голову, посмотрел на него и прошептал про себя:

«Вот поди ж ты, а я-то считал, что он поп».

Но, подумав, решил:

«Что ж, и у попов бывают дети».

— Взнуздайте моего коня,— сказал путник.— Сколько я вам должен?

Он расплатился.

Хозяин оттащил колоду и ведро к стене и подошел к всаднику.

— Раз уж вы решили ехать, послушайтесь моего совета. Вы в Сен-Мало направляетесь? Ну так незачем вам забираться в Доль. Туда есть два пути — один прямо на Доль, другой по берегу моря. Что тут ехать, что там — разница невелика. Берегом моря дорога идет на Сен-Жорж-де-Бреэнь, на Шерье и на Гирель-ле-Вивье. Значит, Доль останется у вас с юга, а Канкаль с севера. В конце нашей улицы, гражданин, будет перекресток: левая дорога пойдет в Доль, а правая — в Сен-Жорж. Послушайте меня: зачем вам в Доль ездить? Попадете в самую бойню. Налево не сворачивайте, а берите направо.

— Спасибо,— сказал путник и дал шпоры коню.

Стало уже совсем темно, всадник мгновенно исчез во мраке.

Трактирщик сразу потерял его из вида.

Когда всадник доскакал до перекрестка, до него донесся еле слышный возглас трактирщика:

— Направо берите!

Он взял налево.

II

Доль

Доль, «испанский город Франции в Бретани», как значится в старинных грамотах, вовсе не город, а улица. По обе ее стороны тянутся ломаной линией дома с деревянными колоннами, и поэтому широкая средневеко-

вая улица образует то выступы, то неожиданные повороты. Остальная часть города представляет лабиринт улочек, отходящих от главной улицы или вливающихся в нее, как ручейки в речку. Доль не обнесен крепостной стеной, не имеет крепостных ворот, он открыт со всех четырех сторон и расположен у подножия горы Мон-Доль; город, само собой разумеется, не может выдерживать осады; зато осаду может выдержать его главная улица. Выступающие вперед фасады домов — такие можно было видеть еще полвека тому назад — и галереи, образованные колоннами, вполне пригодны для длительного и успешного сопротивления. Что ни здание, то крепость, и неприятелю пришлось бы брать с бою каждый дом. Рынок находился почти в центре городка.

Трактирщик из Круа-Браншар не солгал: пока он беседовал с приезжим, в Доле шел жаркий бой. Между белыми, пришедшими сюда поутру, и подоспевшими к вечеру синими внезапно завязался ночной поединок. Силы были неравны: белых насчитывалось шесть тысяч человек, а синих всего полторы тысячи, зато синие не уступали белым в ярости. Достоинство упоминания то обстоятельство, что нападение повели именно полторы тысячи человек, атаковав шесть тысяч.

С одной стороны — беспорядочная толпа, с другой — фаланга. С одной стороны — шесть тысяч крестьян, в кожаных куртках с вышитым на груди Иисусовым сердцем, с белыми лентами на круглых шляпах, с евангельскими изречениями на нарукавных повязках и с четками за поясом; у большинства вилы, а меньшинство с саблями или с карабинами без штыков; они волочили за собой на веревках пушки, были плохо обмундированы, плохо дисциплинированы, плохо вооружены, но сущие дьяволы в бою. С другой стороны — полторы тысячи солдат в треуголках, с трехцветной кокардой, в длиннополых мундирах с широкими отворотами, и в португезах. Вооруженные тесаками с медной рукоятью и ружьями с длинным штыком, хорошо обученные, хорошо держащие строй, послушные солдаты и неустрашимые бойцы, строго повинующиеся командиру и при случае сами способные командовать, тоже все добровольцы, но добровольцы, защищающие родину, все в лохмотьях и без сапог; за монархию — мужики-рыцари, за революцию — босоногие герои; и оба отряда, столкнувшиеся в Доле,

воодушевляли их командиры: роялистов — старик, а республиканцев — человек в расцвете молодости. С одной стороны — Лантенак, с другой — Говэн.

Два образа героев являла революция: молодые гиганты, какими были Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, и молодые поборники идеала, подобные Гошу и Марсо. Говэн принадлежал к числу последних.

Говэну исполнилось тридцать лет; торс у него был, как у Геркулеса, взор строгий, как у пророка, а смех, как у ребенка. Он не курил, не пил, не сквернословил. Даже в походах он не расставался с дорожным несесером, заботливо отделывал ногти, каждый день чистил зубы, тщательно расчесывал свои роскошные каштановые кудри и на привале сам вытряхивал свой капитанский мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Он как одержимый врывался в самую сечу, но ни разу не был ранен. В его голосе, обычно мягком, порой слышались властные раскаты. Он первый подавал пример своим людям, спал прямо на земле, завернувшись в плащ и положив красивую голову на камень, не обращая внимания на ветер, на дождь и снег. Героическая и невинная душа. Взяв саблю в руку, он весь преображался. Наружность у него была немного женственная, что на поле битвы внушает особый ужас.

И вместе с тем мыслитель, философ, молодой мудрец. «Алкивиад», — говорили, увидев его; «Сократ», — говорили, послушав его речи.

В той великой импровизации, которая именуется французской революцией, молодой воин сразу же вырос в полководца.

Он сам сформировал отряд, который, по образцу римского легиона, являлся маленькой армией, имевшей все виды оружия; в отряд входили пехота и кавалерия, а также разведчики, саперы, понтонеры; и подобно тому как римский легион имел свои катапульты, в отряде были свои пушки. Три орудия в конной упряжке усиливали отряд, не сковывая его подвижности.

Лантенак тоже был полководцем, пожалуй, даже еще более грозным. Он превосходил Говэна в обдуманности и дерзости ударов. Убеленные сединами вояки куда хладнокровнее юных героев, ибо для них уже давно угасла утренняя заря, и куда смелее, ибо смерть их уже близка. Что им терять? Ничего или так мало! Поэтому-

то действия Лантенака отличались не только дерзостью, но и мудростью. Однако почти всегда в этом упорном единоборстве старости и молодости Говэн одерживал верх. Объяснялось это, пожалуй, главным образом удачей. Все виды человеческого счастья, даже грозное боевое счастье,— удел молодости. Победа — все-таки легкомысленная девица.

Лантенак возненавидел Говэна прежде всего потому, что Говэн побеждал, и потому, что Говэн приходился ему родственником. Как это ему взбрело в голову стать якобинцем? Нет, подумайте только — Говэн стал якобинцем! Сорванец Говэн! Прямой наследник Лантенака, ибо у маркиза детей не было, его внучатный племянник, почти внук! «Ну, попадись он мне в руки, я его убью, как собаку»,— говорил этот любящий дедушка.

Впрочем, Республика имела все основания опасаться Лантенака. Едва только он ступил на французский берег, как все пришло в трепет. Имя его, словно огонь по пороховому шнуру, пробежало по всей Вандее, и он сразу же стал средоточием восстания. В таких мятежах, где сильно взаимное соперничество и где каждый укрывается в своих кустах или в своем овраге, человек, посланный «из высших сфер», обычно объединяет разрозненные действия равноправных главарей. Почти все лесные вожаки, и ближние и далекие, присоединились к Лантенаку и признали его главой.

Лишь один человек покинул Лантенака, и как раз тот, кто первым присоединился к нему,— а именно Гавар. Почему? Да потому, что Гавар до сих пор был первым доверенным лицом у вандейцев. Он был в курсе всех их тайных замыслов и признавал старые приемы гражданской войны, которые Лантенак явился отвергнуть и заменить новыми. Полномочия доверенного лица не наследуются; башмак де Ларуари явно не пришелся по ноге Лантенаку. Гавар ушел к Боншану.

Лантенак в военном искусстве принадлежал к школе Фридриха II; он старался сочетать большую войну с малой. Он и слышать не желал о том «пестром сброде», которым являлась «великая католическая и роялистская армия» — вернее, толпа, обреченная на гибель; но он не признавал и мелких стычек по чашам и перелескам, способных лишь беспокоить врага, но неспособных его уничтожить. Нерегулярные войны не приводят ни к чему или

приводят к худшему: поначалу грозят сразить Республику, а кончают грабежом на больших дорогах. Лантенак не признавал ни этой бретонской войны, ни приемов Ларошжакелена, сражавшегося только в открытом поле, ни «лесной войны» Жана Шуана; он не хотел воевать ни по-вандейски, ни по-шуански; он намеревался вести настоящую войну — воспользоваться крестьянином, но подпереть его солдатам. Для стратегии ему требовались банды, а для тактики полки. По его мнению, это мужицкое воинство было незаменимо для внезапных атак, засад и тому подобных сюрпризов, — оно умело мгновенно собрать свои силы и тут же рассыпаться по кустам; но Лантенак понимал, что главная их беда — текучесть, они, словно вода, уходили сквозь пальцы; он стремился создать внутри этой подвижной и рассеянной по всей округе армии прочное ядро; он хотел укрепить эту дикую лесную армию регулярными частями, которые явились бы стержнем операций. Мысль верная и чреватая страшными последствиями; удайся Лантенаку его план, Ван-дея стала бы непобедимой.

Но где взять эти регулярные войска? Где взять солдат? Где взять полки? Где взять готовую армию? В Англии. Вот почему Лантенак бредил высадкой англичан. Так сторонники той или иной партии теряют совесть: за белой кокардой Лантенак не видел красных мундиров. Лантенак мечтал об одном — овладеть хоть малой полоской берега и расчистить путь Питту. Вот поэтому-то, узнав, что в Доле нет республиканских войск, он бросился туда, ибо, взяв Доль, он овладевал горой Мон-Доль, а взяв гору, овладевал побережьем.

Место было выбрано удачно. Артиллерия, установленная на горе Мон-Доль, снесла бы с лица земли Френуа, лежащий направо, и Сент-Брелад, лежащий налево; держала бы на почтительном расстоянии канкальскую эскадру и очистила бы для английского десанта все побережье от Ра-сюр-Куэнон до Сен-Мелуар-дез-Онд.

Чтобы обеспечить успех этой решающей вылазки, Лантенак повел за собой более шести тысяч человек — все, что было самого надежного в руководимых им бандах, а также всю свою артиллерию — десять шестнадцатифунтовых кулеврин, одну восьмифунтовую пушку и одно полевое четырехфунтовое орудие. Он рассчитывал установить на Мон-Доле сильную батарею, исходя из то-

го, что тысяча выстрелов из десяти орудий оказывает большие действия, нежели полторы тысячи выстрелов из пяти орудий.

Успех казался несомненным. В распоряжении Лантенака имелось шесть тысяч человек. Опасность грозила лишь со стороны Авранша, где стоял Говэн со своим отрядом в полторы тысячи человек, и со стороны Динана, где стоял Лешель. Правда, у Лешеля было двадцать пять тысяч человек, но зато он находился на расстоянии двадцати лье. Поэтому Лантенак ничего не опасался, — пусть у Лешеля больше сил, зато он далеко, а Говэн хоть и близко, но отряд его невелик. Добавим, что Лешель был человек бестолковый и позднее погубил весь свой двадцатипятидесятитысячный отряд, уничтоженный неприятелем в ландах Круа-Батайль, — за это поражение он заплатил жизнью, покончив с собой.

Лантенак, таким образом, был более чем уверен в успехе. Доль он захватил внезапно и без боя. Имя маркиза де Лантенака окружала мрачная слава, окрестные жители знали, что от него нечего ждать пощады. Поэтому никто даже не пытался сопротивляться. Перепуганные горожане попрятались в домах, закрыв ставни и двери. Шесть тысяч вандейцев расположились на бивуаке в чисто деревенском беспорядке, словно пришли на ярмарку; фуражиров не назначили, о расквартировании не позаботились; разместились где попало, варили обед прямо под открытым небом, разбрелись по церквям, сменив ружья на четки. Сам Лантенак, с группой артиллерийских офицеров, спешно направился осматривать гору Мон-Доль, поручив командование Гуж-ле-Брюану, которого маркиз называл своим полевым адъютантом.

Этот Гуж-ле-Брюан оставил по себе в истории лишь смутный след. Он был известен под двумя кличками: «Синебой» — за его расправы над патриотами, или «Иманус», ибо во всем его обличье было нечто невыразимо ужасное. Слово «иманус» происходит от древнего нижненормандского «иманис» и означает нечеловеческое, почти божественно-грозное и уродливое существо, нечто вроде демона, сатира, людоеда. В одной старинной рукописи говорится: *D'mes daeux iers j'vis l'imâpus*¹. Сейчас даже старики в Бокаже уже не помнят Гуж-ле-Брюана, не понимают значения слова «Синебой», но смутно пред-

¹ Своими глазами видел вчера дьявола (старофранц.).

ставляют себе «Имануса». Образ Имануса вошел в местные легенды и суеверия. В Тремореле и Плюмога еще и в наши дни говорят об Иманусе, так как в этих двух селениях Гуж-ле-Брюан оставил кровавый отпечаток своей пяты. Вандейцы были дикари, а Гуж-ле-Брюан был среди них варваром. Он напоминал кацрика, весь с ног до головы в татуировке, где переплетались кресты и королевские лилии; на лице его с отвратительными, почти неестественно безобразными чертами запечатлелась душа, мало чем похожая на человеческую душу. В бою он был по-сатанински отважен, а после боя — по-сатанински жесток. Сердце его было вместилищем всех крайностей, оно млело в собачьей преданности и пылало лютой яростью. Размышлял ли он? Да, но ход его мысли был подобен спиральному извику змеи. Он начинал с героизма, а кончал как убийца. Невозможно было угадать, откуда берутся у него решения, подчас даже величественные в силу своей чудовищности. Он был способен на самые страшные и неожиданные поступки. Он был легендарно свиреп.

Отсюда это страшное прозвище «Иманус».

Маркиз де Лантенак полагался на его жестокость.

И верно, в жестокости Иманус не знал соперников, но в области стратегии и тактики он был куда слабее, возможно, маркиз совершил ошибку, назначив его своим помощником. Как бы то ни было, маркиз поручил Иманусу замещать его и вести за лагерем наблюдение.

Гуж-ле-Брюан, скорее вояка, чем воин, был скорее способен вырезать целое племя, чем охранять город. Все же он расставил кругом сильные посты.

Вечером, когда маркиз де Лантенак, осмотрев предполагаемое местоположение батареи, возвращался в Доль, он вдруг услышал пушечный выстрел. Он огляделся. Над главной улицей поднималось багровое зарево. Случилась беда, неожиданное вторжение неприятеля, штурм; в городе шел бой.

И хотя Лантенака трудно было удивить, он остолебенел. Он не мог ожидать ничего подобного. Что это значит? Одно ясно — это не Говэн. Никто не рискнет пойти в атаку, когда на стороне врага такое численное превосходство — четыре против одного. Значит, это Лешель? Но как же он успел подтянуть свои войска? Появление Лешеля невероятно, а появление Говэна — невозможно.

Лантенак дал шпоры коню; навстречу ему тянулись по дороге беглецы из Доля; он обратился с вопросом к одному, другому, но обезумевшие от страха люди вопили только: «Синие! Синие!» И когда Лантенак подскакал к Долю, положение было серьезное.

Вот что произошло.

III

Малые армии и большие битвы

По прибытии в Долю крестьяне, как мы уже говорили, разбрелись по всему городку, решив воспользоваться досугом, сообразно своим наклонностям, что естественно, когда боец, по выражению вандейцев, повинуетя начальнику лишь по дружбе. Такое повиновение способно породить героев, но не солдат. Все орудия вместе с войсковым имуществом вандейцы завели под своды старого рынка, а сами, изрядно выпив, сытно поужинав и перебрав на ночь четки, легли спать вповалку на главной улице, перегордив ее грудой своих тел, но караула не выставили. Спускалась ночь, и добрая половина вандейцев сладко храпела, подложив под головы мешок; рядом с некоторыми спали их жены, так как нередко бретонские крестьянки сопровождали мужей в походе; бывало и так, что какая-нибудь беременная крестьянка несла обязанности лазутчицы. Стояла теплая июльская ночь, в густой бездонной синеве неба сверкали созвездия. Весь бивуак спал, напоминая более остановившийся на ночлег караван, чем военный лагерь. Вдруг те, что лежали еще с открытыми глазами, различили в ночном мраке силуэты трех орудий, загородивших верхний конец улицы.

Это был Говэн. Он снял часовых, он вошел в город, и он занял со своим отрядом начало улицы.

Какой-то вандеец вскочил с криком: «Кто идет?» — и выстрелил из ружья; ему ответил пушечный выстрел. Тотчас заговорили ружья. Погруженная в сон орда сразу поднялась. Жестокая встряска. Заснуть под звездами, а проснуться под картечью.

Первый миг пробуждения был ужасен. Нет зрелища страшнее, чем кишение толпы под пушечными ядрами. Вандейцы схватились за оружие. Люди вопили во всю

глотку, куда-то бежали, многие падали. В растерянности нные, не помня себя, стреляли по своим. Из домов выскакивали испуганные горожане, устремлялись обратно, снова выбегали на улицу и, ошалев, снова в самой гуще свалки. Родители звали детей, мужья искали жен. Зловещий бой, в который втянуты женщины и дети. Пули, летавшие во всех направлениях, со свистом рассекали ночной мрак. Стреляли в темноте из-за каждого угла. Везде дым и сумятица. В беспорядке сбились повозки и фургоны. Перепуганные кони ржали и брыкались. Люди шагали по раненым, и от земли поднимались дикие вопли. Одни метались в страхе, другие оцепенели. Бойцы искали своих командиров, а командиры скликали бойцов. И бок о бок с этим ужасом — угрюмое равнодушие. Возле дома сидела какая-то женщина и кормила грудью младенца, тут же рядом к стене прислонился ее муж; из перебитой ноги текла кровь, а он хладнокровно заряжал свой карабин и посылал куда-то в ночную мглу несущие смерть пули. Вандейцы, забравшись под телегу, палили из-за колес. Временами человеческие крики сливались в протяжный вой. Но все покрывал рокошущий бас пушек. Страшная картина.

Казалось, здесь валят лес и, подрубленные под корень, падают друг на друга деревья. Отряд Говэна из-за укрытия стрелял наверняка и поэтому понес лишь незначительные потери.

Однако крестьянская рать, отважная даже в минуты растерянности, перешла к обороне; вандейцы стянулись к рынку, просторному мрачному помещению, представлявшему собой целый лес каменных столбов. Очутившись под прикрытием, повстанцы ободрились: все, что хотя бы отдаленно напоминало лес, вселяло в них уверенность. Иманус старался, как умел, заменить отсутствующего Лантенака. У вандейцев были орудия, но, к великому удивлению Говэна, они молчали; объяснялось это тем, что офицеры-артиллеристы отправились вместе с маркизом на рекогносцировку к Мон-Долю, а крестьяне не знали, как подступиться к кулевринам и пушкам; зато они осыпали синих градом пуль в ответ на их пушечные ядра. На картечь крестьяне отвечали ружейной пальбой. Теперь в укрытии оказались вандейцы. Они приволокли откуда-то дроги, повозки, телеги, прикатали со старого рынка все бочки и соорудили высокую бар-

рикаду с бойницами для карабинов. Из этих бойниц они и открыли убийственный огонь. Все было сделано молниеносно. Через четверть часа рынок стал неприступной крепостью.

Положение Говэна осложнилось. Слишком неожиданно превратился мирный рынок в цитадель. Все вандейское войнство прочно засело в ней. Говэн сумел внезапно атаковать, но не сумел разгромить неприятеля. Он спрыгнул с коня и стоял на батарее, освещенный горевшим факелом; скрестив на груди руки, он зорко вглядывался в темноту. В полосе света его высокая фигура была отчетливо видна защитникам баррикады. Но он даже не думал, что служит прекрасной мишенью, не замечал, что пули, летевшие из бойниц, жужжат вокруг него.

Он размышлял. Против вандейских карабинов у него есть пушки. А перевес всегда останется за картечью. У кого орудия, у того победа. Батарея в руках умелых пушкарей обеспечивала превосходство.

Вдруг словно молния вырвалась из темной громады рынка, затем прорычал гром, и ядро пробило фасад дома над головой Говэна.

Пушка с баррикады ответила на пушечный выстрел.

Как же так? Значит, что-то произошло. Артиллерия теперь была у обеих сторон.

Вслед за первым ядром вылетело второе и разворотило стену рядом с Говэном. При третьем выстреле с него сбило шляпу.

Все ядра были крупного калибра. Стреляли из шестнадцатифунтового орудия.

— В вас целятся, командир! — закричали пушкар.

Они потушили факел. Говэн неторопливо нагнулся и поднял с земли шляпу. Пушкар не ошиблись — в Говэна кто-то целился, в него целился Лантенак.

Маркиз только что подъехал к рынку с противоположной стороны.

Иманус бросился к нему:

— Ваша светлость! На нас напали.

— Кто?

— Не знаю.

— Дорога на Динан свободна?

— По-моему, свободна.

— Пора начинать отступление.

— Уже началось. Многие бежали.

— Я сказал — отступление, а не бегство. Почему у вас бездействует артиллерия?

— Мы тут сначала голову потеряли, да и офицеров не было.

— Я сам пойду на батарею.

— Ваша светлость! Я отправил на Фужер все, что можно: ненужный груз, женщин, все лишнее. А как прикажете поступить с тремя пленными детишками?

— С теми?

— Да.

— Они наши заложники. Отправьте их в Тург.

Отдав распоряжения, маркиз зашагал к баррикаде. С появлением командира все преобразилось. Барригада была не приспособлена для артиллерийского огня, там могло поместиться только две пушки; маркиз велел поставить рядом два шестнадцатифунтовых орудия, для которых тут же устроили амбразуру. Маркиз пригнулся к пушке, стараясь разглядеть вражескую батарею, и вдруг заметил Говэна.

— Это он! — воскликнул маркиз.

Не торопясь, он взял банник, сам забил снаряд, навел пушку и выстрелил.

Трижды целился он в Говэна и все три раза промахнулся. Последним выстрелом ему удалось лишь сбить с Говэна шляпу.

— Промазал, — буркнул он. — Возьми я чуть ниже, ему снесло бы голову.

Вдруг факел на вражеской батарее потух, и маркиз уже ничего не мог разглядеть в сгустившемся мраке.

— Ну погоди! — проворчал он и, обернувшись к своим пушкарям-крестьянам, командовал: — Картечь!

Говэн тоже был озабочен. Положение осложнилось. Бой вступил в новую фазу. Теперь баррикада была из орудий. Кто знает, не перейдет ли враг от обороны к наступлению? Против него, за вычетом убитых и бежавших с поля битвы, было не меньше пяти тысяч, а в его распоряжении осталось всего тысяча двести солдат. Что станет с республиканцами, если враг заметит, как ничтожно их число? Тогда роли могут перемениться. Из атакующего республиканский отряд превратится в атакуемого. Если вандейцы предпримут вылазку, тогда всему конец.

Что же делать? Нечего и думать штурмовать баррикаду в лоб; идти на приступ было химерой — тысяча двести человек не могут выбить из укрепления пять тысяч. Штурм — бессмыслица, промедление — гибель. Надо было что-то срочно предпринять. Но что?

Говэн был уроженцем Бретани и не раз заглядывал в Долю. Он знал, что к старому рынку, где засели вандейцы, примыкает целый лабиринт узеньких кривых улочек.

Он обернулся к своему помощнику, доблестному капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников Консизский лес, где родился Жан Шуан, преградил вандейцам дорогу к Шэнскому озеру и тем самым спас от падения Бурнеф.

— Гешан! Передаю вам командование боем, — сказал он. — Ведите все время огонь. Разбейте баррикаду пушечными выстрелами, отвлеките всю эту банду.

— Хорошо, — ответил Гешан.

— Весь отряд собрать, ружья зарядить, подготовиться к атаке.

Пригнувшись к уху Гешана, он шепнул ему несколько слов.

— Будет сделано, — ответил Гешан.

— Все наши барабанщики живы? — спросил Говэн.

— Все.

— У нас их девять человек. Оставьте себе двоих, а семеро пойдут со мной.

Семеро барабанщиков молча подошли и выстроились перед Говэном.

Тогда Говэн прокричал громовым голосом:

— Батальон Красный Колпак, ко мне!

Одиннадцать человек под началом сержанта выступили из рядов.

— Я вызывал весь батальон, — сказал Говэн.

— Батальон в полном составе, — ответил сержант.

— Как? Вас всего двенадцать человек?

— Осталось двенадцать.

— Ладно, — сказал Говэн.

Сержант, выступивший вперед, был суровый и добрый воин Радуб, тот самый Радуб, который от имени батальона усыновил троих ребятишек, найденных в Содрейском лесу.

Добрая половина батальона, если читатель помнит,

была перебита на ферме «Соломинка», но Радуб по счастливой случайности уцелел.

Неподалеку стояла телега с фуражом, Говэн указал на нее сержанту:

— Пусть ваши люди наделают соломенных жгутов и обмотают ими ружья, чтобы ни одно не звякнуло на ходу.

Через минуту приказ был выполнен в полном молчании и в полной темноте.

— Готово, — доложил сержант.

— Солдаты! Сапоги снять! — скомандовал Говэн.

— Нет у нас сапог, — ответил сержант.

Вместе с семью барабанщиками составилась отряд из девятнадцати человек. Говэн был двадцатым.

— В колонну по одному стройсь! — скомандовал он. — За мной! Барабанщики вперед, батальон за ними. Сержант! Командование поручаю вам.

Он пошел в голове колонны, и пока орудия били с обеих сторон, двадцать человек, скользя как тени, углубились в пустынные улочки.

Некоторое время они шли, держась у стен. Городок, казалось, вымер; жители забились в погреба. Все двери на запоре, на всех окнах ставни. Нигде ни огонька.

Вокруг была тишина — тем сильнее доносился грохот с главной улицы; оружийный бой продолжался, батарея республиканцев и баррикада роялистов яростно осыпали друг друга картечью.

Минут двадцать Говэн уверенно вел свой отряд в темноте по кривым переходам и наконец вышел на главную улицу, позади рынка.

Позицию вандейцев обошли. По ту сторону рынка не было никаких укреплений; вследствие неисправимой беспечности строителей баррикад рынок с тыла оставался открытым и незащищенным, поэтому не составляло труда войти под каменные своды, где стояли наготове повозки с войсковым имуществом. Теперь Говэну и его девятнадцати бойцам противостояло пять тысяч человек, но это был тыл вандейцев.

Говэн шепотом отдал сержанту приказание; солдаты размотали солому, накрученную вокруг ружей; двенадцать гренадеров построились за углом улочки в полном боевом порядке, и семь барабанщиков, подняв палочки, ждали команды.

Орудийные выстрелы следовали один за другим через известные промежутки. Воспользовавшись минутой затишья между двумя залпами, Говэн выхватил шпагу и голосом, прозвучавшим в тишине, как пронзительный призыв трубы, прокричал:

— Двести человек вправо, двести влево, остальные за мной!

Грянул залп из двенадцати ружей, семь барабанщиков забили «атаку».

А Говэн бросил грозный клич синих:

— В штыки! Коли!

Началось нечто неопишное.

Крестьяне воображали, что их обошли и что с тыла подступают целые полчища врага. В ту же самую минуту, услышав барабанный бой, республиканский отряд под командованием Гешана, занимавший верхнюю часть улицы, двинулся вперед, — оставшиеся при нем барабанщики тоже забили «атаку», — и быстрым шагом приблизился к баррикаде; вандейцы очутились между двух огней; паника склонна все преувеличивать; в момент паники ружейный выстрел кажется орудийным залпом, крик — загробным голосом, лай собаки — львиным рычанием. Добавим, что страх вообще охватывает крестьянина с такой же быстротой, как пламя — стог соломы, и с такой же быстротой, с какою от горящего стога пламя перекидывается на ближайшие предметы, крестьянин в страхе кидается в бегство. Вандейцев охватила неопишная паника.

В несколько мгновений рынок опустел, крестьяне разбежались кто куда, не слушая офицеров. Хотя Иманус и убил двух или трех беглецов, ничто не помогало — вандейцы с криком: «Спасайся, кто может!» — растеклись по городу, будто вода, и исчезли в полях стремительно, как тучи, подхваченные ураганным ветром. Одни бежали по направлению к Шатонефу, другие — к Плерге, третьи — к Антрэну.

Маркиз де Лантенак молча следил за разбегавшимися воинами. Он собственноручно заклепал орудия и, уходя последним, спокойно, размеренной поступью, холодно бросил:

— Нет, на крестьянина надежда плоха. Без англичан нам не обойтись.

Во второй раз

Республиканцы одержали полную победу.

Говэн повернулся к гренадерам батальона Красный Колпак и сказал:

— Вас всего двенадцать, а стоите вы тысячи.

В те времена для солдата похвала командира была боевой наградой.

Гешан, по приказу Говэна, преследовал беглецов за пределами Доля и взял много пленных.

Солдаты зажгли факелы и стали обшаривать город.

Не успевшие убежать вандейцы сдались на милость победителя. Главную улицу осветили плошками. Ее усеивали попеременно убитые и раненые. Как обычно в конце каждого сражения, кучки самых отчаянных смельчаков, окруженные неприятелем, еще отбивались, но и им пришлось сложить оружие.

В беспорядочном потоке беглецов внимание Говэна привлек один храбрец; ловкий и проворный, как фавн, он прикрывал бегство товарищей, а сам и не собирался бежать. Этот крестьянин, мастерски владея карабином, то стрелял, то глушил врага прикладом и действовал с такой силой, что приклад наконец сломался; тогда вандеец взял в одну руку пистолет, а в другую — саблю. Никто не решался подступить к нему. Вдруг Говэн заметил, что вандеец пошатнулся и оперся спиной о столб. Должно быть, его ранило. Но он все еще орудовал саблей и пистолетом. Взяв шпагу под мышку, Говэн подошел к нему.

— Сдавайся,— сказал он.

Вандеец пристально взглянул на говорившего. Кровь, бежавшая из раны, пропитала куртку и лужицей расплывалась у его ног.

— Ты мой пленник,— повторил Говэн.

Вандеец молчал.

— Как тебя звать?

— Звать «Пляши в тени».

— Ты храбрый малый,— сказал Говэн.

И протянул вандейцу руку.

Но тот воскликнул:

— Да здравствует король!

Собрав последние силы, он быстро вскинул обе руки,

нажал курок, намереваясь всадить Говэну в сердце пулю, и одновременно взмахнул над его головой саблей.

Он действовал с проворством тигра, но кто-то оказался еще проворнее. То был всадник, подскакавший к полю битвы всего несколько секунд тому назад и никем не замеченный. Видя, что вандеец поднял пистолет и занес саблю, незнакомец бросился между ним и Говэном. Если бы не он, лежать бы Говэну в могиле. Пуля попала в коня, а удар сабли пришелся по всаднику, и конь и всадник рухнули наземь. Все это произошло с молниеносной быстротой.

Вандеец тоже свалился на землю.

Удар сабли рассек лицо незнакомца, упавшего без чувств. Конь был убит наповал.

Говэн подошел к лежащему.

— Кто этот человек? — спросил он.

Он нагнулся и посмотрел на незнакомца. Кровь, струившаяся из раны, залила все лицо и застыла красной маской. Видны были лишь седые волосы.

— Этот человек спас мне жизнь, — продолжал Говэн. — Кто-нибудь знает его? Откуда он явился?

— Командир! — ответил один из солдат. — Он только что въехал в город, я сам видел. А прискакал он по дороге из Понторсона.

Полковой хирург со своей сумкой поспешил на помощь. Раненый по-прежнему лежал без сознания. Хирург осмотрел его и заключил:

— Пустяки. Опасности нет. Зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Великолепный сабельный удар.

На раненом был плащ, трехцветный пояс, пара пистолетов и сабля. Его положили на носилки. Раздели. Кто-то принес ведро свежей воды, и хирург промыл рану; из-под кровавой маски показалось лицо. Говэн приставил к незнакомцу с глубоким вниманием.

— Есть ли у него бумаги? — спросил он.

Хирург нащупал в боковом кармане раненого бумажник, вынул его и протянул Говэну.

Меж тем от холодной примочки раненый пришел в себя. Его веки слабо дрогнули.

Говэн перебирал бумаги незнакомца; вдруг он обнаружил листок, сложенный вчетверо, развернул его и прочел:

«Комитет общественного спасения. Гражданин Симурдэн».

Он вскрикнул:

— Симурдэн!

Этот крик достиг слуха раненого, и он открыл глаза.

Говэн задыхался от волнения:

— Симурдэн! Это вы! Во второй раз вы спасаете мне жизнь.

Симурдэн посмотрел на Говэна. Непередаваемая радость озарила его окровавленное лицо.

Говэн упал на колени возле раненого и воскликнул:

— Мой учитель!

— Твой отец,— промолвил Симурдэн.

V

Капля холодной воды

Они не виделись много лет, но сердца их не разлучались ни на минуту; они признали друг друга, будто расстались только вчера.

В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдэна уложили в маленькой комнатке, примыкавшей к просторному залу, где разместили раненых солдат. Хирург зашил рану и пресек взаимные излияния друзей, заявив, что больному необходим покой. Впрочем, и самого Говэна требовали десятки неотложных дел, которые составляют долг и заботу победителя. Симурдэн остался один, но не мог уснуть; его вдвойне мучила лихорадка: он дрожал от озноба и от радостного волнения.

Он не спал, но ему казалось, что он видит сны. Неужели это явь? Сбылась его мечта. Симурдэн, по самому складу характера, не верил в свою счастливую звезду, и вот она взошла. Он нашел своего Говэна. Он оставил ребенка, а увидел взрослого мужчину, грозного, отважного воина. Увидел его в минуту победы, и победы, одержанной во имя народа. Говэн был в Вандее опорой революции, и сам Симурдэн, своими собственными руками, создал этот столп Республики. Этот победитель — его, Симурдэна, ученик. Он видел, как молодое лицо, быть может, предназначенное украсить собой Пантеон Революции, озарялось отблеском мысли, и это также бы-

ла его, Симурдэнова, мысль; его ученик, детище его духа, уже и сейчас вправе называться героем, а вскоре станет славой отчизны; Симурдэну казалось, что он узнает свою собственную душу, но в оболочке гения. Он только что любовался Говэном в бою, как Хирон Ахиллесом. Между священником и кентавром существует таинственное сходство, ибо и священник — лишь наполовину человек.

Все перипетии этой драмы, недавнее ранение и бессонница наполняли душу Симурдэна каким-то удивительным опьянением. Он видел зарю блистательного удела и радовался, что он властен над этим уделом. Еще одна такая победа, и тогда Симурдэну достаточно будет сказать слово, чтобы Республика поручила Говэну командование армией. Когда все чаяния человека сбываются, он как бы спит на миг от изумления. В ту пору каждый бредил воинской славой, каждый желал создать своего полководца: Дантон выдвинул Вестермана, Марат — Россиньоля, Эбер — Ронсена, а Робеспьеру хотелось с ними со всеми разделаться. «Почему бы и не Говэн?» — подумалось Симурдэну, и он погружался в мечты. Ничто их не стесняло, Симурдэн переходил от одной грезы к другой; сами собой рушились все помехи; стоит только начать грезить, и уже трудно остановиться на полпути, впереди бесконечно высокая лестница, и, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, восходишь от человека к звездам. Великий генерал руководит лишь в сфере военной; великий вождь руководит также и в сфере идей. Симурдэн мечтал о Говэне — великом вожде. Он уже видел, — ведь мечта быстрокрыла, — как Говэн разбивает на море англичан, как на Рейне он карает северных монархов, как в Пиренеях теснит испанцев, в Альпах призывает Рим к восстанию. В Симурдэне жило два человека — один с нежной душой, а другой — мрачной, и они оба были сейчас удовлетворены, ибо, подчиняясь своему идеалу непреклонности, он рисовал себе будущность Говэна столь же великолепной, сколь и грозной. Симурдэн думал обо всем, что придется разрушить, прежде чем начать строить новое, и говорил про себя: «Сейчас не время миндальничать». Говэн, как тогда говорили, «достигнет высот». И Симурдэну представлялся Говэн в светозарных латах, со сверкающей на челе звездой; попирая мрак, возносится он на мощных крыльях

идеала — справедливости, разума и прогресса, а в руке сжимает обнаженный меч; он ангел, но ангел карающий.

Когда Симурдэн, размечтавшись, дошел почти до экстаза, он вдруг услышал через полуоткрытую дверь разговор в зале, превращенной в лазарет и примыкавшей к его комнатке; он сразу же узнал голос Говэна; все долгие годы разлуки этот голос звучал в ушах Симурдэна, и теперь в мужественных его раскатах ему чудился мальчишеский голосок. Симурдэн прислушался. Раздались шаги, затем заговорили наперебой солдаты:

— Вот, командир, тот самый человек, который в вас стрелял. Он спрятался в погреб. Но мы его отыскали. А ну, покажись!

И тут Симурдэн услышал следующий диалог между Говэном и покушавшимся на его жизнь вандейцем:

— Ты ранен?

— У меня достаточно сил для того, чтобы встать под дула.

— Уложите этого человека в постель. Перевяжите его раны, ухаживайте за ним, вылечите его.

— Я хочу умереть.

— Ты будешь жить. Ты хотел убить меня во славу короля, я дарую тебе жизнь во славу Республики.

Тень омрачила лицо Симурдэна. Он словно внезапно очнулся от сна и уныло пробормотал:

— Да, он из милосердных.

VI

Зажившая рана и кровоточащее сердце

Сабельный удар заживает быстро; но где-то был кто-то, раненный еще тяжелее, чем Симурдэн. Мы говорим о расстрелянной женщине, которую на ферме «Соломинка» подобрал в луже крови нищий Тельмарш.

Тельмарш и не подозревал, что состояние Мишели Флешар серьезнее, чем ему показалось вначале. Пуля пробила ей грудь и вышла через лопатку, вторая пуля раздробила ключицу, третья — плечевую кость; но, поскольку легкое не было задето, оставалась надежда на выздоровление. Недаром крестьяне называли Тельмарша «философом», подразумевая под этим словом: немножко лекарь, немножко костоправ и немножко колдун.

Он перенес раненую в свою нору, ухаживал за ней, уступил ей свое ложе из сухих водорослей, пользовал ее таинственными средствами, именуемыми обычно «народными», и благодаря ему она выжила.

Ключица срослась, раны в груди и на плече затянулись, и через несколько недель Мишель стала поправляться.

Как-то утром она с помощью Тельмарша выбралась из пещерки и присела на солнышке под деревом. Тельмарш мало что знал о своей гостье; при ранении в грудь предписывается полное молчание, да и сама раненая, бывшая почти при смерти, едва могла произнести несколько слов. А когда она пыталась заговорить с Тельмаршем, он всякий раз приказывал ей замолчать; но от старика не ускользнуло, что его гостя находится во власти каких-то неотвязных дум, и подмечал порой, как в глазах ее загорались и таяли мучительные воспоминания. В это утро она чувствовала себя лучше; она могла даже пройти несколько шагов без посторонней помощи; целитель — это почти отец, и Тельмарш с радостью смотрел на свое детище. Добрый старик улыбнулся и завел разговор:

— Ну вот, мы и поправились. Теперь у нас все зажило.

— Только сердце не зажило, — возразила Мишель. — Значит, вы совсем не знаете, где они?

— Кто они? — удивился Тельмарш.

— Мои дети.

Это «значит» — заключало в себе целый мир мыслей, оно выражало: «Раз вы со мной о них не говорите, раз вы просидели у моего изголовья столько дней и даже ни разу не заикнулись о них, раз вы велите мне молчать, когда я пытаюсь расспросить вас, раз вы боитесь, что я о них спрошу, значит, вам нечего мне ответить». Нередко в часы бреда, лихорадки, болезненного полузабытья она звала своих детей, и она заметила, — ибо в бреду человек по-своему наблюдателен, — что старик не отвечает на ее вопросы.

Но Тельмарш и в самом деле не знал, что ей сказать. Не так-то легко говорить с матерью о ее пропавших детях. Да и что он знал? Ничего. Знал только, что какую-то женщину расстреляли, он нашел ее распростертою на земле, подобрал почти бездыханной, знал также,

что она мать троих детей и что маркиз де Лантенак, приказав расстрелять мать, увел с собою детей. Этим и исчерпывались все его сведения. Что случилось с детьми? Живы они или нет? Узнал он из расспросов и то, что увели двух мальчиков и девочку, недавно отнятую от груди. И больше ничего. Он сам ломал голову над судьбой злосчастных малюток и терялся в догадках. В ответ на все его расспросы крестьяне молча покачивали головой. Не такой был человек господин де Лантенак, чтобы зря судачить о нем.

В округе неохотно говорили о Лантенаке, но так же неохотно говорили с Тельмаршем. Крестьяне — народ подозрительный. Они не любили Тельмарша. Тельмарш-Нищеброд внушал им недоверие. С чего это он вечно смотрит на небо? Что он делает, о чем думает, когда полдня торчит в лесу как пень и не шелохнется? Ясно — все это неспроста. В здешнем краю, охваченном войной, смутой и огнем пожарищ, где у каждого была одна забота — уничтожать и одно занятие — резать, где тот поджег дом, этот перебил семью, тот заколол вражеский караул, а этот разграбил поселок, где каждый думал лишь о том, как бы устроить другому засаду, завлечь в ловушку и убить, пока тебя не убили, — этот отшельник, этот созерцатель природы, растворившийся душой в необъятном покое всего сущего, этот собиратель трав и кореньев, влюбленный в цветы, птиц и звезды, был, само собой разумеется, человеком весьма опасным. Сразу видно, что он не в своем уме: не выслеживает врага, притаившись за кустом, ни в кого не стреляет... Не мудрено, что крестьяне сторонились его.

— Умом повредился, — говорили прохожие.

Тельмарш жил на положении человека, не только одинокого среди людей, но и избегаемого людьми.

К нему не обращались с вопросами, на его вопросы не отвечали. При всем желании он мог узнать лишь немного. Война ушла из их округи в соседние, теперь люди бились где-то далеко, маркиз де Лантенак исчез с горизонта, а такой человек, как Тельмарш, замечает войну лишь тогда, когда она придавит его своей пятою.

Услышав слова «мои дети», Тельмарш перестал улыбаться, а мать углубилась в свои думы. Что происходило в ее душе? Она словно пребывала на дне пропасти.

Вдруг она подняла на Тельмарша взор и снова воскликнула — на этот раз почти гневно:

— Мои дети!

Тельмарш опустил голову, точно виноватый.

Он думал о маркизе де Лантенаке, который, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл о его существовании. Тельмарш понимал это и твердил про себя: «Когда господа в опасности, они с вами знают; когда опасность миновала, они с вами и не знакомы».

Он спрашивал себя: «Зачем же, в таком случае, я спас маркиза?»

И отвечал: «Потому, что он человек».

Он думал и думал, и снова перед ним возникал вопрос: «Да полно, человек ли он?»

И вновь он повторял про себя горькие слова: «Если бы я только знал!»

Случившееся угнетало его, ибо все, что он совершил тогда, стало для него самого неразрешимой загадкой. Он мучительно думал. Значит, добрый поступок может оказаться дурным поступком. Кто спасает волка — убивает ягнят. Кто выхаживает коршуна с подбитым крылом, тот сам оттачивает его когти.

Он почувствовал себя и впрямь виноватым. Эта мать, в своем неразумном гневе, права.

Однако он спас ей жизнь, и это в какой-то мере извиняло его в том, что он спас жизнь маркиза.

А дети?

Мать тоже задумалась. И хотя оба молчали, мысли их текли в одном направлении, и, быть может, им суждено было встретиться где-то там, в потоке мрачных раздумий.

Но вот она снова подняла на Тельмарша взгляд, темный, как ночь.

— Что же это такое делается!? — воскликнула она.

— Тс! — сказал Тельмарш, приложив палец к губам.

Но она продолжала:

— Напрасно вы меня спасли, я на вас в обиде. Лучше бы мне умереть, тогда бы я хоть оттуда видела их. Знала бы, где они. Они бы меня не видели, но я бы все время была с ними. Мертвая, я бы им стала заступницей.

Тельмарш взял ее за руку и пощупал пульс.

— Успокойтесь, не то снова лихорадка начнется.

Она спросила его почти строго:

— Когда я могу уйти?

— Уйти?

— Ну да. Прочь уйти.

— Никогда, если не будете вести себя благоразумно.

А если будете умницей — завтра же.

— А что значит быть умницей?

— Во всем полагаться на бога.

— На бога! А куда он дел моих детей?

Она была словно в бреду. И заговорила тихим голосом:

— Поймите, не могу я здесь оставаться. У вас нет детей, а у меня были. А это ведь разница. Нельзя судить о том, чего сам не испытал. Ведь нет у вас детей, нет?

— Нет,— ответил Тельмарш.

— А у меня только и было что дети. Что я такое без детей? Да объясните мне хоть что-нибудь, почему нет моих детей? Чувствую, что-то случилось, а понять не могу. Мужа моего убили, меня расстреляли,— и все-таки я ничего не пойму.

— Ну вот, опять лихорадка началась,— сказал Тельмарш.— Вам вредно так много говорить.

Она взглянула на него и замолчала.

С этого дня они вообще перестали говорить.

Тельмарш уже не рад был, что велел ей молчать. Целые часы она в оцепенении сидела, скорчившись у подножия старого дуба. Она думала о чем-то и молчала. Молчание — прибежище простых душ, познавших всю зловещую глубину скорби. Казалось, она не в силах ничего понять. Есть такая степень отчаяния, когда оно уже непостижимо для отчаявшегося.

Тельмарш с волнением следил за ней. Видя эти муки, мужчина, старик начинал думать, как женщина. «Да,— думал он,— уста ее безмолвны, но глаза говорят; я понимаю, какая мысль неотвязно ее мучит. Быть матерью — и перестать быть ею! Кормить младенца — и перестать кормить! Нет, не может она смириться. Она думает о малютке, которую еще так недавно отняла от груди. О ней она думает, о ней, о ней. И в самом деле, как, должно быть, сладостно чувствовать у своей груди крохотные розовые губки и с радостью отдавать вместе с материнским молоком всю себя, отдавать свою жизнь, чтобы младенцу жить и крепнуть!»

И Тельмарш тоже молчал; он понял, как бессильны перед такой смертной тоской все людские слова. Одержимый страхом своей молчаливостью. И можно ли заставить одержимую горем мать прислушаться к голосу рассудка? Материнство чем-то безысходно, с ним нельзя спорить. Мать близка к любой живой твари и потому она так возвышенно прекрасна. Материнский инстинкт есть животный инстинкт в самом божественном смысле этого слова. Мать уже не женщина, мать — это самка.

Дети — это детеныши.

Потому-то в каждой матери есть нечто, что ниже рассудка и в то же время выше его. Мать наделена особым чутьем. В ней живет могучая и неосознанная воля к созиданию, и эта воля ведет ее. Слепота, равная ясновидению.

Теперь уже Тельмарш старался вызвать бедняжку на разговор, но все его попытки были тщетны. Однажды он сказал:

— К несчастью, я старик и не могу много ходить. Я устаю, когда и устать-то не от чего. Иной раз походишь с четверть часа, и ноги уже не слушаются; хочешь не хочешь — присядешь отдохнуть, а то я бы непременно пошел с вами. Впрочем, может быть, моя немощь и к лучшему. От меня вам, пожалуй, будет больше вреда, чем пользы; здесь ко мне притерпелись; но синие относятся ко мне с подозрением — как к крестьянину, а крестьяне — как к колдуну.

Он ждал ответа. Но она даже не взглянула в его сторону.

Навязчивая мысль приводит или к безумию, или к героизму. Но какой героический поступок способна совершить бедная крестьянка? Никакой. Она может быть матерью и только матерью. С каждым днем она все больше уходила в себя. А Тельмарш наблюдал за ней.

Он пытался развлечь ее; он принес ей ниток, иголку, наперсток, и, желая доставить удовольствие бедному старику, она взялась за шитье; она по-прежнему была погружена в свои мысли, но работала — верный признак выздоровления; силы мало-помалу возвращались к ней; она перештопала свое белье, зачинила платье и башмаки, но взгляд у нее был стеклянный, невидящий. Иногда за работой она потихоньку напевала какие-то песенки, бормотала какие-то имена, должно быть, имена своих детей,

но Тельмарш ничего не мог разобрать. Временами она бросала шить и прислушивалась к пению птиц, словно надеясь, что они прошебечут ей долгожданную весть. Она смотрела на небо, не идут ли тучи, не будет ли непогоды. Губы ее беззвучно шевелились. Она о чем-то тихонько говорила сама с собой. Она сшила мешок и доверху набила его каштанами. Однажды утром Тельмарш увидел, что она тронулась в путь, глядя неподвижным взором в лесную чащу.

— Куда вы? — крикнул он.

— Иду за ними, — ответила она.

Он не пытался ее удержать.

VII

Два полюса истины

По прошествии нескольких недель, исполненных превратностей гражданской войны, во всем Фужерском крае только и было разговоров о том, как два человека, разные во всем, творили одно и то же дело, иначе сказать, бились бок о бок в великой революционной битве.

Еще длился кровавый вандейский поединок, но под ногами вандейцев уже горела земля. В Иль-э-Вилэне после победы молодого полководца, столь умело противопоставившего в городке Доль отваге шести тысяч роялистов отвагу полутора тысяч патриотов, восстание если не совсем утихло, то, во всяком случае, продолжало жить на сузившемся и ограниченном пространстве. Вслед за дольским ударом воспоследовали другие военные удачи, и благодаря этому сложилась новая ситуация.

Обстановка резко изменилась, но одновременно возникло и своеобразное осложнение.

Во всей этой части Вандеи республика взяла верх — в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но какая республика? В свете близкой уже победы обрисовывались две формы республики: республика террора и республика милосердия, одна стремилась победить суровостью, а другая — кротостью. Какая же возобладает? Обе эти формы — примирение и беспощадность — были представлены двумя людьми, причем каждый пользовался и влиянием и авторитетом: один — военачальник, другой — гражданский делегат; какому из двух сужде-

но было восторжествовать? Один из них — делегат, имел могучую и страшную поддержку; он привез грозный наказ Коммуны Парижа батальонам Сантерра: «Ни пощады, ни снисхождения!» Он был всевластен в силу декрета Конвента, гласившего: «Смертная казнь каждому, кто отпустит на свободу или будет способствовать бегству взятого в плен вождя мятежников»; он был облечен полномочиями Комитета общественного спасения и приказом за тремя подписями: Робеспьер, Дантон, Марат. На стороне другого была лишь сила милосердия.

За него были только его рука, разящая врагов, и сердце, милующее их. Победитель, он считал себя вправе щадить побежденного.

Так начался скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Оба они царили, каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж, и каждый карал его своим мечом: один — победоносно на поле боя, другой — террором.

Во всем Бокаже только и говорили о них. И устремленные отовсюду взоры следили за их действиями с тем большей тревогой, что два эти человека, столь разные во всем, были в то же время связаны неразрывными узами. Эти два противника были и двумя друзьями. Никогда еще чувство более возвышенное и глубокое не соединяло двух сердец; беспощадный спас жизнь милосердному и поплатился за это рубцом на лице. Эти два человека воплощали: один — смерть, другой — жизнь; один олицетворял принцип устрашения, другой — принцип примирения, и оба любили друг друга. Странные отношения! Вообразите себе милосердного Ореста и беспощадного Пилада. Вообразите Аримана родным братом Ормузда.

Добавим, что тот, кого именовали «жестоким», был также и самым мягкосердечным из людей; он собственноручно перевязывал раненых, выхаживал недужных, сутками не выходил из походных госпиталей и лазаретов; не мог без слез видеть какого-нибудь босоногого мальчонку и ничего не имел, так как раздавал бедным все, что у него было. Когда начиналась битва, он первым бросался в бой, он шел впереди солдат, кидался в самую гущу схватки, вооруженный двумя пистолетами и саблей и в то же время безоружный, так как никто ни

разу не видел, чтобы он вытащил саблю из ножен или выстрелил из пистолета. Он смело встречал удары, но не возвращал их. Ходили слухи, что он был священником

Один из них был Говэн, другой — Симурдэн.

Дружба царила меж этими двумя людьми, но меж двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки. И действительно, Симурдэн словно отдал Говэну половину души — ту, что была кроткой. Светлый ее луч почил на Говэне, а черный луч, если только бывают черные лучи, Симурдэн оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война рано или поздно должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась.

Симурдэн спросил Говэна:

— Каково положение дел?

Говэн ответил:

— Вы знаете это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенака. При нем теперь горстка людей. Мы загнали их в Фужерский лес. И через неделю окружим.

— А через две недели?

— Возьмем его в плен.

— А потом?

— Вы читали мое объявление?

— Читал. Ну и что же?

— Он будет расстрелян.

— Опять милосердие! Лантенак должен быть гильотинирован.

— Я за воинскую казнь, — возразил Говэн.

— А я, — возразил Симурдэн, — за казнь революционную.

Он взглянул в глаза Говэну и спросил:

— Почему ты отпустил на свободу монахинь из обители Сен-Мар-ле-Блан?

— Я не воюю с женщинами, — ответил Говэн.

— Однако эти женщины ненавидят народ. А в ненависти женщина стоит двадцати мужчин. Почему ты отказался отправить в Революционный трибунал всю эту свору — старых фанатиков попов, захваченных при Лувинье?

— Я не воюю со стариками.

— Старый священник хуже молодого. Мятежи еще опаснее, когда к ним призывают седовласые старцы. Седины внушают доверие. Остерегайся ложного милосер-

дия, Говэн. Цареубийцы суть освободители. Зорко следи за башней тюрьмы Тампля.

— Следи! Будь моя воля — я выпустил бы дофина на свободу. Я не воюю с детьми.

Взгляд Симурдэна стал суровым.

— Знай, Говэн: надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария-Антуанетта, со старцем, когда он зовется Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи Капет.

— Учитель! Я человек далекий от политики.

— Смотри, как бы ты не стал человеком опасным для нас. Почему при штурме Косе, когда мятежник Жан Третон, окруженный, чуя гибель, бросился с саблей наголо один против всего твоего отряда, почему ты закричал солдатам: «Ряды разомкнуть. Пропустить его»?

— Потому что не ведут в бой полторы тысячи человек, чтобы убить одного.

— А почему в Кайэтри д'Астилле, когда ты увидел, что твои солдаты собираются добить раненого вандейца Жозефа Безье, уже упавшего на землю, почему ты тогда крикнул: «Вперед! Я сам займусь им!» — и выстрелил в воздух?

— Потому что не убивают лежачего.

— Ты не прав. Оба пощаженные тобой стали главарями банд: Жозеф Безье зовется теперь Усач, а Жан Третон — Серебряная Нога. Ты спас двух человек, а дал республике двух врагов.

— Я хотел приобрести для нее друзей, а не давать ей врагов.

— Почему после победы над Ландеаном ты не приказал расстрелять триста пленных крестьян?

— Потому что Боншан пощадил пленных республиканцев, и мне хотелось, чтобы люди знали: республика щадит пленных роялистов.

— Значит, если ты захватишь Лантенака, ты пощадишь его?

— Нет.

— Почему же нет? Ведь пощадил же ты триста крестьян.

— Крестьяне не ведают, что творят, а Лантенак знает.

— Но Лантенак тебе сродни.

— Франция — наш великий родич.

— Лантенак — старик.

— Лантенак не имеет возраста. Лантенак — чужой. Лантенак призывает англичан. Лантенак — это иноземное вторжение. Лантенак — враг родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью.

— Запомни, Говэн, эти слова.

Последовало молчание; они взглянули друг на друга. Говэн заговорил первым:

— Кровавой датой войдет в историю нынешний, девяносто третий год.

— Берегись! — воскликнул Симурдэн. — Да, существует страшный долг. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких это пор врач стал виновником болезни? Да, ты прав, этот великий год войдет в историю, как год, не знающий милосердия. Почему? Да потому, что это великая революционная година. Нынешний год олицетворяет революцию. У революции есть враг — старый мир, и она не знает милосердия в отношении его, точно так же как для хирурга гангрена — враг, и он не знает милосердия в отношении ее. Революция искореняет монархию в лице короля, аристократию в лице дворянина, деспотизм в лице солдата, суеверие в лице попа, варварство в лице судьи — словом, искореняет всю и всяческую тиранию в лице всех и всяческих тиранов. Операция страшная, но революция совершает ее твердой рукой. Ну, а если при том прихвачено немного и здоровой плоти, спроси-ка на сей счет мнение нашего Бергава. Разве удаление злокачественной опухоли обходится без потери крови? Разве не тушат пожар огнем? Эта грозная необходимость — условие успеха. Хирург ходит на мясника, целитель может иной раз показаться палачом. Революция самоотверженно выполняет свой роковой долг. Она калечит, зато она спасает. А вы, вы просите у нее милосердия для вредоносных бактерий. Вы хотите, чтобы она щадила заразу? Она не склонит к вам слух. Прошлое в ее руках. Она добьет его. Она делает глубокий надрез на теле цивилизации, чтобы открыть путь будущему здоровому человечеству. Вам больно? Ничего не поделаешь. Сколько времени это продлится? Столько, сколько продлится операция. Зато вы останетесь в живых. Революция отсекает старый мир. И отсюда кровь, отсюда девяносто третий год.

— Хирург не геряет хладнокровия,— возразил Говэн,— а вокруг нас все ожесточились.

— Труженики революции должны быть беспощадны,— ответил Симурдэн.— Она отталкивает руку, охватившую дрожью. Она верит лишь непоколебимым. Дантон — страшен, Робеспьер — непреклонен, Сен-Жюст — непримирим, Марат — неумолим. Берегись, Говэн! Не пренебрегай этими именами. Для нас они стоят целых армий. Они сумеют устрасить Европу.

— А может быть, и будущее,— заметил Говэн.

Помолчав, он заговорил снова:

— Впрочем, вы заблуждаетесь, учитель. Я никого не обвиняю. По моему мнению, с точки зрения революции правильнее всего говорить о безответственности. Нет невиновных, нет виноватых. Людовик Шестнадцатый — баран, попавший в стаю львов. Он хочет убежать, хочет спастись, он пытается защищаться; будь у него зубы, он укусил бы. Но не всякому дано быть львом. Это было зачтено ему в вину. Как, баран в гневе посмел ощерить зубы! «Изменник!» — кричат львы. И они пожирают его. А затем грызутся между собой.

— Баран — животное.

— А львы, по-вашему, кто?

Симурдэн задумался. Потом, вскинув голову, сказал:

— Эти львы — совесть, эти львы — идеи, эти львы — принципы.

— А действуют они с помощью террора.

— Придет время, когда в революции увидят оправдание террора.

— Смотрите, как бы террор не стал позором революции. Свобода, Равенство, Братство — догматы мира и всеобщей гармонии,— продолжал Говэн.— Зачем же превращать их в какие-то чудища? Чего мы хотим? Приобщить народы к всемирной республике. Так зачем же отпугивать их? К чему устрасать? Народы, как и птиц, не приманишь пугалом. Не надо творить зло, чтобы творить добро. Низвергают трон не для того, чтобы уцелел эшафот. Смерть королям, и да живут народы! Снесем короны и пощадим головы. Революция — это согласие, а не страх. Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово «амнистия» для меня самое прекрасное из всех человеческих слов. Я могу проливать чужую кровь лишь при том условии, что

может пролиться и моя. Впрочем, я умею только воевать, я всего лишь солдат. Но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы.

— Берегись,— повторил Симурдэн в третий раз.— Ты, Говэн, мне дороже, чем родной сын. Берегись! — И добавил задумчиво: — В такие времена, как наши, милосердие может стать одной из форм измены.

Если бы кто-нибудь услышал этот спор, он сравнил бы его с диалогом топора и шпаги.

VIII

*Dolorosa*¹

А тем временем мать искала своих малюток.

Она шла куда глаза глядят. Чем только была она жива? Трудно сказать. Она и сама бы не ответила на этот вопрос. Она шла дни и ночи; она просила подаяние, питалась травой, спала прямо на земле, под открытым небом, забившись под куст; иной раз над нею мерцали звезды, иной раз ее мочил дождь и пробирал до костей холодный ветер.

Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, расспрашивая о судьбе своих детей. Она робко останавливалась на пороге. Платье ее превратилось в лохмотья. Иногда ей давали приют, иногда ее гнали прочь. Когда ее не пускали в дом, она шла в лес.

В здешние края она попала впервые, да и вообще не знала ничего, кроме своего Сискуаньяра и прихода Азэ, никто не указывал ей дороги, она шла, потом возвращалась, снова начинала тот же путь, делая ненужные крюки. То шагала по камням мостовой, то по проселочным колеям, то по тропке, вьющейся среди кустарника. От бродячей жизни вся ее одежда пришла в ветхость. Сначала она шла в башмаках, затем босая, а под конец едва ступала израненными ногами.

Она шла сквозь войну, сквозь ружейные залпы, ничего не слыша, ничего не видя, не думая об опасности,— она искала своих детей. Весь край был взбудоражен, не стало больше ни сельских стражников, ни мэ-

¹ Скорбящая (лат.).

ров, ни властей ей попадались только случайные прохожие.

Она обращалась к ним. Она спрашивала:

— Не видели ли вы троих маленьких детей?

Прохожий оборачивался на голос.

— Двух мальчиков и девочку, — поясняла она. — Рене-Жана, Гро-Алена, Жоржетту? Не встречали?

И добавляла:

— Старшему четыре с половиной, маленькой — год восемь месяцев.

Она допытывалась:

— Вы не знаете, где они? Их у меня отняли.

Прохожий глядел на нее, не отвечая.

Видя, что ее не понимают, она пускалась в объяснения:

— Это мои дети. Вот я и спрашиваю про них.

Люди шли своей дорогой. Тогда она останавливалась и молча раздирала ногтями себе грудь.

Как-то раз один крестьянин терпеливо выслушал ее. Добряк старался что-то припомнить.

— Подождите, — сказал он. — Трое ребятишек?

— Да.

— Два мальчика?

— И девочка.

— Вы их ищите?

— Да.

— Слыхал я, что какой-то сеньор забрал троих ребятишек и держит их при себе.

— Где этот человек? — воскликнула она. — Где мои дети?

Крестьянин ответил:

— Идите в Тург.

— Значит, там я найду своих детей?

— Может, и найдете.

— Как вы сказали?

— Тург.

— А что это — Тург?

— Место такое.

— Это село? Замок? Ферма?

— Никогда там не бывал.

— А это далеко?

— Неблизко.

— А где?

— В сторону Фужера.

— Как туда попасть?

— Сейчас мы с вами в Ванторте, — пояснил крестьянин, — идите на Лоршан так, чтобы у вас по левую руку оставался Эрне, а по правую — Коксель, а там пройдете через Леру. — Крестьянин указал рукой куда-то на запад: — Так и идите все прямо и прямо, вон туда, где солнце садится.

Не успел крестьянин опустить руку, как мать уже отправилась в путь.

Крестьянин крикнул ей вслед:

— Смотрите, будьте осторожны! Там сражаются!

Она не ответила, даже не обернулась и продолжала идти на запад.

IX

Провинциальная Бастилия

1. Тург

Еще лет сорок тому назад путник, проникший в Фужерский лес со стороны Ленъеле и направляющийся в Паринье, невольно остановился бы на опушке бора, пораженный мрачным зрелищем. Там, где кончались заросли, перед ним внезапно возникал Тург.

Но не живой Тург, а лишь прах Турга, Тург полуразрушенный, весь в трещинах, в пробоинах, в рубцах. Здание и его руины — это то же, что человек и его призрак. Тург вставал перед путником пугающим видением. Первой бросалась в глаза высокая круглая башня, стоявшая одиноко на опушке леса, словно тать в ночи. Башня, возведенная на самом краю обрывистой скалы, основательностью и строгостью линий напоминала творения римской архитектуры, да и вся эта громада воплощала в себе идею величия в такой же мере, как и идею упадка. Впрочем, не случайно она походила на римские башни, она была башней романской; заложили ее в IX веке, а достроили в XII, после третьего крестового похода. Импосты оконных проемов свидетельствовали об ее возрасте. Путник подходил ближе, подымался по крутому откосу, замечал пролом и, если у него хватало духу проникнуть внутрь, входил и, войдя, убеждался, что баш-

ня полая. Изнутри она напоминала гигантскую каменную трубу, поставленную горнистом прямо на землю. Сверху донизу ни одного перекрытия, ни крыши, ни потолка, ни пола, только остатки сводов и очагов, бойницы и амбразуры для фальконетов, пробитые на разной высоте, гранитные выступы и несколько поперечных балок, побелевших от помета ночных птиц и обозначающих прежнее деление на этажи; могучие стены пятнадцати футов толщиной в нижней части и двенадцати в верхней, кое-где провалы и дыры, бывшие двери, за ними лестницы, высеченные в темной толще стен. А вечером путник слышал бы уханье сов, крик цапли, кваканье жаб, писк летучих мышей, разглядел бы под ногами колючие растения, камни и гадов, а над головой — черный круг — вершину башни, похожую на устье огромного колодца, и еще выше — звезды.

По местному обычаю, в верхних этажах башни были потайные двери, вроде тех, что встречаются в гробницах иудейских царей: огромный камень поворачивается вокруг своей оси, открывает проход, затем закрывается — и снова перед вашим взором сплошная стена: архитектурная традиция, занесенная во Францию крестоносцами вместе с восточной огивой. Двери эти нельзя было обнаружить — так плотно входили они в каменную кладку стен. В наши дни можно еще видеть такие двери в таинственных селениях Антиливана, уцелевших от землетрясения, которое уничтожило в царствование Тиберия двенадцать городов.

2. Пролом

Пролом, через который попадали внутрь башни, образовался вследствие подкопа и взрыва мины. Человек, знакомый с трудами Эррара, Сарди и Пагана, признал бы, что для своего времени мина была подведена с величайшим искусством. Пороховая камера конической формы по своим размерам вполне соответствовала массивности башни, которую предстояло взорвать. В эту камеру входило по меньшей мере два квинтала пороха. Туда вел змеевидный ход, который значительно удобнее, нежели прямой; после взрыва мины в толще треснувшего камня стала ясно видна трещина диаметром в куриное яйцо. Башне была нанесена глубокая рана, и

через этот пролом осаждающие, должно быть, и проникли внутрь. По всей видимости, башня эта выдержала в различные эпохи не одну регулярную осаду: всю ее исколо ядрами, и следы их относились к разному времени; каждое ядро клеймит на свой лад, каждое ядро оставило на крепостной стене свой шрам — от каменных ядер XIV века до чугунных XVIII столетия.

Через этот пролом можно было попасть туда, где раньше, надо полагать, помещался нижний этаж. Напротив пролома прямо в стене открывалась дверь в склеп, который был высечен в скале и тянулся в фундаменте башни вплоть до залы нижнего этажа.

Этот склеп, на три четверти засыпанный землей, был расчищен в 1835 году стараниями бернейского антиквара Огюста Ле Прево.

3. Каземат

Склеп служил казематом. Такие казематы были в ту пору в каждой башне. Склеп, как и большинство подземных узилищ того времени, имел два этажа. Верхняя его половина, куда попадали через узкую дверь, представляла собой довольно обширное помещение со сводчатым потолком и находилась на одном уровне с нижним этажом башни. На двух противоположных стенах склепа виднелись две параллельные полосы, которые шли вверх по потолку, и там их след был особенно четок, напоминая две глубокие колеи. Проложены они были колесами. В стародавние феодальные времена в этом помещении четвертовали людей по способу, менее шумному, чем казнь с помощью четырех лошадей. Для этой цели употреблялись два колеса, столь большие и массивные, что они касались одновременно и стен и свода. Преступника привязывали за руки и за ноги к колесам, потом колеса вращали в противоположном направлении, и человека разрывало на части. Эта операция требовала немалых усилий; потому-то в стене и остались две выщербленные колеи, там, где колеса соприкасались с каменной кладкой. Подобное помещение можно видеть еще и ныне в Виандене.

Под этой комнатой находилась другая. Это и был каземат в собственном смысле слова. Попадали в него не через дверь, а через отверстие в полу. Узника, разде-

того донага, подвязывали под мышки веревкой и опускали в склеп через люк, проделанный среди каменных плит пола верхнего помещения. Если человек случайно оставался жив, ему бросали через отверстие еду. Подобные отверстия можно видеть еще и ныне в Буйоне.

Через это отверстие поступал воздух. Помещение, вырытое под полом нижнего этажа башни, представляло собой скорее колодец, нежели комнату. В нее проникала вода, по ней разгуливал ледяной ветер. Ветер, приносивший верную смерть узнику нижнего каземата, нес жизнь заключенному в верхнем этаже. Иначе человек задохся бы. Тот, кто был заключен наверху и продвигался ощупью по своей сводчатой темнице, мог дышать только благодаря этому отверстию. Впрочем, тот, кого сюда вводили или кого сюда сбрасывали, уже не выходил отсюда живым. В этой крошечной тьме узнику приходилось все время быть начеку. Один неверный шаг — и узник верхнего каземата становился узником нижнего. Впрочем, выбор был за ним. Если он цеплялся за жизнь — он остерегался этого отверстия; если жизнь становилась ему неведомой — искал в нем спасения. Верх был тюрьмой, низ — могилой. Так же примерно было устроено и тогдашнее общество.

Наши предки называли такие темницы «каменным мешком». Исчезли каменные мешки, и самое выражение утратило для нас первоначальный смысл. Благодаря революции мы можем произносить это слово с полным спокойствием.

Снаружи, над проломом, который сорок лет тому назад служил единственным входом в башню, виднелась амбразура шире других бойниц; с нее свисала железная решетка, вывороченная из своего ложа и погнутая.

4. Замок на мосту

Со стороны, противоположной пролому, непосредственно к башне примыкал пощаженный временем каменный трехарочный мост. Раньше на этом мосту стояло здание, от него остались лишь руины. Это здание, хранившее следы пожара, представляло собой почерневший остов, сквозной костяк, через который свободно проходил дневной свет; башня и замок стояли рядом, словно скелет рядом с призраком.

Ныне эти руины окончательно рассыпались, и от них ничего не осталось. То, что воздвигалось многими веками и многими монархами, пало от руки одного крестьянина и в один день.

Тург на здешнем крестьянском языке, склонном сливать слова, означает Тур-Говэн, точно так же как Жюпель означает Жюпельер, равно как имя одного из вожаков вандейских банд горбуна Пэнсон-Череп должно было значить Пэнсон-Черепеха.

Тург, сорок лет тому назад бывший руиною, а ныне ставший призраком, был в девяносто третьем году крепостью. Эта цитадель, принадлежавшая роду Говэнов, преграждала с запада подход к Фужерскому лесу, который в наши дни не заслуживает названия даже перелеска.

Цитадель возвели на одной из сланцевых скал, которых такое множество между Майенном и Динаном; они в беспорядке разбросаны среди зарослей кустарника, вереска, словно титаны швыряли эти глыбы друг в друга.

Вся крепость, в сущности, и состояла из одной башни; она возвышалась на скале, у подножия скалы протекал ручей, в январе — полноводный, как горный поток, и пересыхавший в июне.

Сведенная ныне к одной только башне, крепость была в средние века почти неприступна. Единственным уязвимым ее местом являлся мост. Средневековые Говэны построили крепость без моста. В нее попадали через висячие мостки, которые ничего не стоило уничтожить одним ударом топора. Пока Говэны носили титул виконтов, такая крепость их вполне удовлетворяла, даже ласкала их взор; но, ставши маркизами и покинув свое гнездо ради королевского двора, они перекинули через поток трехарочный мост, чем открыли к себе путь из долины, а себе открыли путь к королю. Господа маркизы в XVII веке и госпожи маркизы в XVIII перестали дорожить неприступностью. Все подражали Версалью, как прежде примеру предков.

Напротив башни, с западной ее стороны, простиралось довольно высокое плоскогорье, постепенно переходившее в равнину; оно почти достигало подножия башни и отделялось от нее лишь крутым оврагом, по дну которого протекала речка, приток Куэнона. Мост, единственное связующее звено между крепостью и плоскогорьем,

покоился на высоких устоях; на них-то и стояло, как в Шенонсо, здание в стиле Мансара, более пригодное для жилья, нежели башня. Но тогдашние нравы еще отличались суровостью; сеньоры предпочитали ютиться в каморках башни, похожих на тайники. Через все строение, стоявшее на мосту и представлявшее собой небольшой замок, шел длинный коридор, служивший одновременно прихожей и называвшийся кордегардией; над кордегардией помещалась библиотека, а над библиотекой чердак. Высокие узкие окна, богемские стекла в частом свинцовом переплете, пилястры в простенках, скульптурные медальоны по стенам; три этажа: в нижнем — алебарды и мушкетоны, в среднем — книги, в верхнем — мешки с овсом, — во всем облике замка было что-то варварское, но вместе с тем и благородное.

Стоявшая рядом башня казалась дикаркой.

Своей мрачной громадой она подавляла кокетливое строеньеце. С ее плоской крыши ничего не стоило уничтожить мост.

Столь близкое соседство двух зданий, одного — тяжеловесного, другого — изящного, скорее коробило, чем радовало глаз. По стилю они не подходили друг к другу: хотя два полукружия, казалось бы, всегда одинаковы, тем не менее округлая романская арка несколько непохожа на классический архивольт. Башня, достойная сестра пустынных лесов, окружавших ее, была неподходящей соседкой для моста, достойного украсить версальские сады. Представьте себе Алэна Бородача под руку с Людовиком XIV. Страшный союз. И тут и там величие, а в сочетании — варварство.

С точки зрения военный мост, повторяем, отнюдь не служил башне защитой. Он украшал ее и обезоруживал; выигрывая в красоте, крепость проигрывала в силе. Мост низводил ее на один уровень с плоскогорьем. По-прежнему неприступная со стороны леса, она стала уязвимой со стороны равнины. В былые времена башня господствовала над плоскогорьем, теперь плоскогорье господствовало над ней. Враг, овладевший плоскогорьем, без труда овладел бы и мостом. Библиотека и чердачное помещение становились пособниками осаждающих и обращались против крепости. Библиотека и чердак схожи в том отношении, что и книги и солома — легко воспламеняющийся материал. Для осаждающего, который при-

бегает к помощи огня, безразлично: сжечь ли Гомера или охапку сена — лишь бы хорошо горело, что французы и доказали немцам, спалив Гейдельбергскую библиотеку, а немцы доказали французам, спалив библиотеку Страсбургскую. Итак, этот мост, пристроенный к башне, был просчетом с точки зрения стратегической; но в XVII веке, при Кольбере и Лувуа, принцы Говэны, так же как и принцы Роганы или принцы Тремуйли, и думать забыли об осадах. Строители моста все же приняли кое-какие меры предосторожности. Прежде всего они предусматривали возможность пожара; под окнами, обращенными в сторону рва, подвесили на крюках, которые можно было видеть еще полвека тому назад, надежную спасательную лестницу, доходившую до второго этажа и превосходившую высотой три обычных этажа; предусмотрели и возможность осады: мост отделили от башни посредством тяжелой низкой сводчатой двери, обитой железом; запиралась она огромным ключом, который хранился в тайнике, известном одному лишь хозяину; будучи на запоре, дверь эта не боялась никакого тарана и устояла бы, пожалуй, и перед пушечным ядром.

Чтобы добраться до двери, надо было пройти через мост и надо было пройти через эту дверь, чтобы попасть в башню. Иного входа не было.

5. Железная дверь

Второй этаж замка благодаря тому, что здание стояло на мосту, соответствовал третьему этажу башни; на этом-то уровне, для вящей безопасности, и устроили железную дверь.

Со стороны моста дверь выходила в библиотеку, а со стороны башни — в большой зал, своды которого поддерживала посредине мощная колонна. Зал, как мы уже говорили, помещался на третьем этаже башни. Он был круглый, как и сама башня; свет туда проникал сквозь узкие бойницы, из которых открывался вид на всю округу. Нештукатуренные стены обнажали кладку, камни которой были пригнаны, впрочем, с большим искусством. В зал вела винтовая лестница, устроенная прямо в стене, что нетрудно сделать, когда толщина стен достигает пятнадцати футов. В средние века город брали улицу за улицей, улицу — дом за домом, а дом — комнату за

комнатой. В крепости осаждали этаж за этажом. В этом отношении Тург был построен весьма искусно; взять его представлялось делом сложным, почти непосильным. Из этажа в этаж подымались по спиральной лестнице, что затрудняло продвижение, а дверные проемы, расположенные наискось, были ниже человеческого роста, так что при входе приходилось наклонять голову, а, как известно, нагнувший голову подставляет ее под удар; за каждой дверью осаждающего поджидал осажденный.

Под круглым залом с колонной были расположены два таких же зала, составлявших второй и первый этажи, а наверху шли друг над другом еще три таких же зала; эти шесть ярусов, занимавшие весь корпус башни, увенчивались каменной крышей — площадкой, куда попадали через сторожевую вышку.

Для того чтобы устроить железную дверь, пришлось пробить всю толщу пятнадцатифутовой стены; в середине образовавшегося прохода и повесили дверь; поэтому, чтобы добраться до двери со стороны моста или со стороны башни, нужно было углубиться в проход на шесть-семь футов; когда дверь отпирали, оба прохода образовывали один длинный сводчатый коридор.

Со стороны моста в толще стены в коридоре имелась еще низенькая потайная дверца, через которую выходили на винтовую лестницу и попадали в коридор нижнего этажа замка, прямо под библиотекой, что тоже затрудняло действия неприятеля. К плоскогорью замок был повернут глухой стеной, и здесь кончался мост. Подъемный мост, примыкавший к низкой двери, соединял замок с плоскогорьем, а поскольку плоскогорье лежало выше моста, то мост, будучи опущен, находился в наклонном положении; он вел прямо в длинный коридор, именовавшийся кордегардией. Но, даже завладев этим помещением, неприятель не мог достичь железной двери, не взяв живой силой винтовую лестницу, соединявшую оба этажа.

6. Библиотека

Библиотека, комната удлинненной формы, по размеру соответствовавшая ширине и длине моста, имела единственный выход — все ту же железную дверь. Потайная дверь, обитая зеленым сукном и поддававшаяся простому толчку, маскировала сводчатый проход, который приво-

дил к железной двери. Стены библиотеки до самого потолка были уставлены застекленными шкафами, представлявшими собой прекраснейший образец искусства резьбы по дереву XVII века. Свет проникал сюда через шесть широких окон, пробитых над арками,— по три с каждой стороны. Внутренность библиотеки была видна с плоскогогорья. В простенках между окнами на резных дубовых консолях стояли шесть мраморных бюстов — Ермолая Византийского, навкратического грамматика Афиня, Свида, Казабона, франкского короля Хлодвиг и его канцлера Анахалуса, который, заметим в скобках, был такой же канцлер, как Хлодвиг — король.

В шкафах библиотеки хранилось изрядное количество книг. Один из увражей был известен во всем христианском мире. Мы имеем в виду древний фолиант *in quarto* с эстампами, на заглавном листе крупными буквами значилось: *Святой Варфоломей*, а ниже: *От святого Варфоломея Евангелие*, коему предпослан трактат христианского философа Пантения, трактующий вопрос, следует ли почитать сие Евангелие апокрифическим и есть ли основания признавать тождество святого Варфоломея с Нафанаилом. Эта книга, признанная единственным сохранившимся экземпляром, лежала на отдельном пюпитре посреди библиотеки. Еще в минувшем столетии посммотреть ее съезжались любопытствующие.

7. Чердак

Чердак, как и библиотека, повторял вытянутую форму моста и был, в сущности, образован двумя скатами крыши. Это обширное помещение было завалено сеном и соломой и освещалось шестью окошками. Единственным его украшением являлась высеченная на двери фигура святого Варнавы и ниже надпись:

*Barnabus sanctus falcem jubet ire per herbam*¹.

Итак, высокая, просторная шестиэтажная башня с пробитыми бойницами единственным своим входом и выходом имела железную дверь, сообщавшуюся с замком, стоявшим на мосту, который, в свою очередь, заканчивался подъемным мостом; позади башни лес; перед ней

¹ Святой Варнава повелел серпу жать траву (лат.).

плоскогогорье, покрытое вереском, край которого возвышался над мостом, но был ниже самой башни; под мостом между башней и плоскогорьем глубокий, узкий, густо поросший кустарником овраг, зимой — грозный поток, весной — просто ручеек, каменистый ров — летом, — вот каким был Тур-Говэн, в просторечии Тург

Заложники

Миновал июль, шел август месяц, над всей Францией пронеслось героическое и грозное дыхание, две тени промелькнули на горизонте — Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Корде, атмосфера накалилась до предела. А Вандея, проигравшая большую войну, исподтишка вела малую, еще более опасную, как мы уже говорили; теперь война превратилась в непрерывное сражение, в мелкие лесные стычки; великая, читай роялистская и католическая, армия начала терпеть поражение за поражением; вся майнцкая армия особым декретом была переброшена в Вандею; восемь тысяч вандейцев погибли под Ансени; вандейцев оттеснили от Нанта, выбили из Монтэрю, вышвырнули из Туара, прогнали из Нуармутье, опрокинули под Шолле, у Мортани и Сомюра; они очистили Партенэ, оставили Клиссон, отошли от Шатийона, потеряли знамя в бою при Сент-Илере; они были разбиты наголову под Порником, Саблем, Фонтенэ, Дуэ, Шато д'О, Пон-де-Сэ, они потерпели поражение под Люсоном, отступили от Шатеньерэ, в беспорядке отхлынули от Рош-сюр-Ион; однако они угрожали Ла-Рошели, а в водах Гернсея бросил якорь под командованием Крэга английский флот, экипаж которого, состоявший из отборных морских офицеров-французов и многочисленных английских полков, ожидал для высадки лишь сигнала от маркиза де Лантенака. Высадка могла вновь принести победу роялистским мятежникам. Питт был преступником у кормила власти; предательство является частью политики, как кинжал — частью рыцарского вооружения. Питт поражал кинжалом нашу страну и предавал свою; позорить свое отечество — значит предать его; при нем и под его руководством Англия вела пуническую войну. Она шпионила, мошенничала, лгала.

Браконьерство, подлог — она не брезговала ничем. Она опускалась до самых низких проявлений ненависти. Она скупала во Франции сало, дошедшее до пяти франков за фунт. В Лилле у одного англичанина нашли письмо от Приджера, агента Питта в Вандее, гласившее: «В деньгах можете не стесняться. Надеемся, что убийства будут совершаться с осторожностью. Старайтесь привлечь переодетых священников и женщин, как наиболее пригодных для этой цели. Перешлите шестьдесят тысяч ливров в Руан и пятьдесят тысяч в Кан». Письмо это Барер первого августа огласил в Конвенте. В ответ на коварные действия воспоследовали кровавые расправы Паррена, а затем жестокие меры Каррье. Республиканцы Меца и республиканцы Юга просили, чтобы их отправили на усмирение мятежа. Особым декретом были сформированы двадцать четыре саперные роты, получившие приказ жечь изгороди и плетни по всей лесной Бретани. Напряжение достигло предела. Война прекращалась в одном пункте, чтобы тут же разгореться в другом. «Никого не миловать! Пленных не брать!» — таков был наказ с обеих сторон. История наполнилась ужасным мраком.

В августе замок Тург был осажден.

Однажды вечером, когда замирали первые звезды, в тишине летних сумерек, не нарушаемой ни шорохом листьев в лесу, ни шелестом трав на равнине, внезапно раздался пронзительный звук рожка. Он шел с вышки башни.

Рожку ответил горн, звук которого шел снизу, с равнины.

На вышке стоял вооруженный человек; внизу, под сенью леса, расположился целый лагерь.

В сумерках можно было еще различить, как вокруг Тур-Говэна движутся какие-то черные тени. Это кишел бивуак. В лесу под деревьями и среди вереска на плоскогорье загорались огоньки, и эти беспорядочно разбросанные сверкающие точки прорезали темноту, словно земля решила одновременно с небом засиять звездами. Зловещие звезды войны! Бивуак со стороны плоскогорья спулся до самой равнины, а со стороны леса уходил в глубь чащи. Тург был окружен со всех сторон.

Самые размеры бивуака свидетельствовали о многочисленности осаждающих.

Лагерь тесно опоясал крепость и со стороны башни

подходил вплотную к скале, а со стороны моста — вплотную к оврагу.

Во второй раз послышался рожок, а за ним вторично — горн.

Рожок спрашивал, горн отвечал.

Голосом рожка башня обращалась к лагерю: «Можно ли с вами говорить?» И лагерь голосом горна отвечал: «Да».

В те времена Конвент не рассматривал вандейских мятежников как воюющую сторону, специальным декретом было запрещено обмениваться с лагерем «разбойников» парламентариями; поэтому при переговорах с противником, допускаемых в обычной войне и запрещенных в войне гражданской, обеим сторонам приходилось всячески изощряться. По этой причине и начался диалог между рожком-деревенщиной и военным горном. Первый сигнал явился как бы вступлением к дальнейшим переговорам, второй ставил вопрос: «Хотите нас слушать?» Если бы на второй зов рожка горн промолчал, это означало бы отказ; если бы горн ответил, следовательно, он соглашался. Это означало: начинается краткое перемирие.

Горн ответил на второй зов рожка; человек, стоявший на вышке башни, заговорил:

— Люди, вы, что слушаете меня сейчас! Я Гуж-ле-Брюан, по прозвищу «Синебой», ибо я уложил немало ваших, прозванный также «Иманусом», ибо я еще убью их вдсятеро больше, чем убил до сих пор; во время атаки Гранвиля вы ударом сабли отрубили мне указательный палец, лежавший на курке, в Лавале вы гильотинировали моего отца, мать и мою сестру Жаклину, а ей было всего восемнадцать лет от роду. Вот кто я таков.

Я говорю с вами от имени маркиза Говэна де Лантенака, виконта де Фонтенэ, бретонского принца, хозяина Семилесья и моего господина.

Знайте же, что, прежде чем запереться в этой башне, которую вы осадили, маркиз возложил военное командование на шестерых вождей, своих помощников: Дельеру он доверил всю округу между Брестской и Эрнейской дорогой; Третону — местность между Роэ и Лавалем; Жакэ, именуемому «Железной Пятой», — опушку Верхне-Мэнского леса; Голье, по прозвищу «Большой Пьер», — Шато-Гонтье; Леконту — Краон; Фужерский

лес — господину Дюбуа-Ги, а Майенн — господину Рошамбо; так что, если даже вы возьмете крепость, ничего вы этим не выиграете. Если даже нашему маркизу суждено погибнуть, Вандея — господа нашего и короля — не погибнет.

Говорю я это, чтобы вас предупредить. Маркиз де Лантенак находится здесь, рядом со мной. Я лишь уста, передающие его речь. Люди, осаждающие нас, не шумите!

Слушайте и вникайте.

Помните, что война, которую вы ведете против нас, — неправая война. Мы — здешние жители, и мы деремся честно, мы — люди простые и чистые сердцем, и воля божья для нас, что роса для травинки. Это вы, это республика напала на нас, она пришла сеять смуту в наших селах, жечь наши дома и наши нивы, разбивать картечью наши фермы; это из-за вас наши жены и дети вынуждены были босыми бежать в леса, когда еще пела зимняя малиновка.

Вы, люди, пришедшие сюда и слушающие мои слова, вы преследовали нас в лесу; вы осадили нас в этой башне; вы перебили или рассеяли наших союзников; у вас есть пушки; вы пополнили свой отряд гарнизонами Мортэна, Барантона, Тейеля, Ландиви, Эврана, Тэнтениака и Витре, а это значит, что вас, нападающих, четыре тысячи пятьсот человек, нас же, защищающихся, всего девятнадцать.

У нас достаточно пуль и пороха и хватит съестных припасов.

Вам удалось подвести мину и взорвать часть нашей скалы и часть стены.

Внизу башни образовалась брешь, и вы можете даже ворваться через нее, хотя башня все еще стоит крепко и сводом своим надежно прикрывает брешь.

Теперь вы готовитесь к штурму.

А мы, и первый среди нас — его светлость маркиз, бретонский принц и светский приор аббатства Лантенакской божьей матери, где ежедневно служат обедню, как установлено было еще королевой Жанной, а затем и все остальные защитники башни, в их числе аббат Тюрмо, именуемый у нас Гран-Франкер, мой соратник Гинуазо — командир Зеленого лагеря, мой соратник Зяблик — командир Овсяного лагеря, мой соратник Мю-

зетт — начальник Муравьиного лагеря, и я, простой мужик, уроженец местечка Дан, где протекает ручей Мориандр, — мы объявляем вам следующее.

Люди, стоящие под башней, слушайте меня!

В наших руках находятся трое пленников, иначе говоря, трое детей. Детей этих усыновил один из ваших батальонов, и потому они ваши. Мы предлагаем выдать вам этих детей.

Но при одном условии: дайте нам выйти из башни.

Если вы ответите отказом, — слушайте меня хорошенько, — вам остается напасть на нас либо со стороны леса через брешь, либо через мост со стороны плоскогорья. В замке, стоящем на мосту, три этажа: в нижнем этаже я, Иманус, тот, кто говорит с вами, припас шесть бочек смолы и сто снопов сухого вереска, в третьем этаже сложена солома, в среднем имеются книги и бумаги; железная дверь, которая соединяет замок с башней, заперта, и ключ от нее находится у его светлости маркиза де Лантенака; я собственноручно пробил под дверью дыру и протянул через нее шнур, пропитанный серой, один конец которого опущен в бочку со смолой, а другой — здесь, с этой стороны двери, то есть в башне; от меня зависит поджечь его в любую минуту. Если вы откажетесь выпустить нас на волю, мы поместим троих детей во втором этаже замка, между тем этажом, куда проходит пропитанный серой шнур и стоят бочки со смолой, и чердаком, где сложена солома, а железную дверь я запру своими руками. Если вы пойдете штурмом со стороны моста — вы сами подожжете замок; если вы нападете на нас со стороны леса — подожжем замок мы; если вы нападете на нас сразу и через мост и через пролом — значит, подожжем мы с вами одновременно. И дети в любом случае погибнут.

А теперь решайте: согласны вы на наши условия или нет.

Если согласны, мы уйдем.

Если отказываетесь — дети умрут.

Я кончил.

Человек, говоривший с вышки, замолк.

Чей-то голос крикнул снизу:

— Мы не согласны.

Голос прозвучал сурово и резко. Другой голос, менее суровый, но столь же твердый, добавил:

— Даем вам двадцать четыре часа на размышление, сдавайтесь без всяких условий.

Воцарилось молчание, затем тот же голос произнес:

— Завтра, в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начнем штурм.

А первый голос добавил:

— Но уж тогда не ждите пощады!

На этот устрашающий возглас ответили с башни. При ярком сиянии звезд стоявшие внизу увидели, как между двумя бойницами склонилась чья-то фигура, и все узнали грозного маркиза де Лантенака; маркиз пристально рассматривал бивуак, как бы ища кого-то взором, и вдруг воскликнул:

— Ага, да это ты, иерей!

— Да, это я, злодей! — ответил снизу суровый голос.

XI

По-древнему грозный

Суровый голос был голос Симурдэна; голос более юный и не столь властный был голос Говэна.

Маркиз де Лантенак не ошибся, окликнув Симурдэна.

В короткий срок в этом краю, залитом кровью гражданской войны, имя Симурдэна, как мы говорили, приобрело славу; пожалуй, редко на чью долю выпадает столь грозная известность; говорили: «В Париже Марат, в Лионе Шалье, в Вандее Симурдэн». Всеобщее уважение, которым пользовался раньше Симурдэн, обернулось теперь всеобщим порицанием — таково неизбежное следствие снятия с себя духовного сана. Симурдэн внушал ужас. Люди мрачные — обычно несчастливцы; кто видит лишь их поступки, осуждает их, но кто заглянул бы им в душу, возможно, отпустил бы им грехи. Непонятый Ликург может показаться Тиберием. Так или иначе, два человека — маркиз де Лантенак и аббат Симурдэн — весили одинаково на весах ненависти; проклятия, которые обрушивали роялисты на голову Симурдэна, являлись как бы противовесом той брани, которой республиканцы осыпали Лантенака. Каждого из них в противостоящем лагере почитали чудовищем; именно в силу этого и произошел знаменательнейший факт — в то время как Приер Марнский оценивал в Гранвиле голову Лан-

тенак, Шаретт в Нуармутье оценивал голову Симурдэна.

Добавим, что эти два человека — маркиз и священник — были как бы одним существом. Бронзовая маска гражданской войны двулика — одной стороной она обращена к прошлому, другой — к будущему, но оба лика ее равно трагичны. Лантенак был первым, а Симурдэн — вторым ликом; но горькая усмешка Лантенака была скрыта ночной мглой, а на роковом челе Симурдэна лежал отблеск встающей зари.

Осажденные в Турге получили отсрочку.

Благодаря вмешательству Говэна, как мы уже знаем, решено было сделать передышку на двадцать четыре часа.

Впрочем, Иманус и впрямь был хорошо осведомлен; благодаря настойчивым требованиям Симурдэна Говэн имел теперь под ружьем четыре с половиной тысячи человек: частично солдат национальной гвардии, частично из линейных полков; с этим отрядом он окружил Лантенака в Турге и мог выставить против него двенадцать орудий: шесть со стороны башни, на опушке леса, и шесть на плоскогорье, против замка. Кроме того, осаждавшие подвели мину, и в нижней части башни образовалась после взрыва брешь.

Итак, с окончанием суточной передышки штурм должен был начаться в описываемой ниже обстановке.

На плоскогорье и в лесу собралось четыре тысячи пятьсот человек.

В башне — девятнадцать.

Имена этих девятнадцати осажденных история сохранила в списках лиц, объявленных вне закона. Нам, возможно, придется еще встретиться с ними.

Когда Говэна поставили во главе четырех с половиной тысяч человек — почти целой армии, Симурдэн решил добиться для своего питомца чина генерал-адъютанта. Говэн отказался, он заявил: «Сначала захватим Лантенака, а там посмотрим. Пока же у меня еще нет достаточно заслуг».

Впрочем, руководство крупными воинскими соединениями при небольших чинах было вполне в духе республиканских нравов. Позже Бонапарт был одновременно командиром артиллерийского эскадрона и генерал-аншефом Итальянской армии.

Странная судьба выпала на долю Тур-Говэна; один

Говэн шел на нее штурмом, другой Говэн ее защищал. Поэтому нападающие действовали с известной осторожностью, чего нельзя было сказать об осажденных, так как не в натуре господина де Лантенака было щадить кого-либо и что-либо; кроме того, прожив всю жизнь в Версале, он не питал никакого пристрастия к Тургу, да и вряд ли помнил свое родное гнездо. Он укрылся в Турге просто потому, что поблизости не оказалось более подходящего убежища, но не моргнув глазом мог бы разрушить его до основания. Говэн же относился к родным местам с большим уважением.

Наиболее уязвимым местом крепости был мост, но в библиотеке, которая помещалась в замке, хранились все семейные архивы; если начать штурм со стороны моста, неизбежен пожар, а Говэну казалось, что сжечь семейные архивы — все равно что посягнуть на своих предков. Тург был фамильным замком Говэнов; из этой башни управлялись все их бретонские лены, точно так же как все лены Франции управлялись из Луврской башни; все воспоминания детства Говэна связывались с Тургом, да и он родился тут; своими самыми извилистыми путями рок привел Говэна к взрастившей его башне, и теперь ему, взрослому, предстояло штурмовать эти древние стены, охранявшие его, когда он был ребенком. Неужели он святотатственно подымет на них руку, предаст огню? Может быть, там, в углу чердака или библиотеки, еще стоит его колыбелька. Порой размышления — те же чувства. Видя перед собой старинное семейное гнездо, Говэн испытывал волнение. Потому-то он и решил пощадить мост. Он ограничился тем, что приказал зорко охранять все входы и выходы, дабы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным, а также держать мост под угрозой обстрела; для штурма же он избрал противоположную сторону. По его приказу под основание башни подвели мину.

Симурдэн не препятствовал Говэну и упрекал себя за это, ибо его суровое сердце не испытывало ни малейшего умиления перед стариной, он был так же не склонен щадить здания, как и людей. Пощадить замок — это уже начало милосердия. А милосердие и так было слабой стороной Говэна: Симурдэн, как мы уже знаем, не спускал глаз со своего питомца и старался остеречь его от этого пагубного, по мнению Симурдэна, пути. Но и сам

он не мог глядеть на Тург без какого-то внутреннего трепета; хотя гневно корил себя; сердце его невольно смягчалось при виде библиотеки, где еще хранились книги, которые по его указанию когда-то прочел Говэн; он был священником в соседнем селении Паринье; сам он, Симурдэн, жил в верхнем этаже замка; в этих комнатах, поставив между колен крошку Говэна, слушал он, как тот складывает слоги; здесь, меж этих древних стен, у него на глазах его возлюбленный ученик, чадо его души, становился взрослым человеком, здесь зрел его разум. Неужели же придется разрушить и сжечь эту библиотеку, этот замок, эти стены, видевшие не раз, как он благословлял отрока Говэна? И он пощадил их. Пощадил скрепя сердце.

Он не возражал против плана Говэна — повести штурм со стороны леса. Тург как бы делился на две части: варварскую — башню, и цивилизованную — библиотеку. И Симурдэн согласился с тем, чтобы Говэн нанес удар лишь по этой, варварской части.

Итак, осажденная одним Говэном и защищаемая другим Говэном, старинная крепость в самый разгар французской революции возвращалась к своим феодальным привычкам. Вся история средних веков повествует о войнах между родичами; Этеоклы и Полиники не только греки, но также и готы, а Гамлет в Эльсиноре совершил то же, что совершил Орест в Аргосе.

ХП

Надежда на спасение

Всю ночь обе стороны неумоимо готовились к бою.

Как только окончились зловещие переговоры, Говэн первым делом позвал своего лейтенанта.

Гешан, с которым мы хотим познакомить читателя, человек заурядный, но честный и бесстрашный, был как бы создан для вторых ролей, — образцовый солдат, однако посредственный военачальник, понятливый, впрочем лишь до того предела, за которым долг повелевает не рассуждать, ни разу в жизни ничему не умилившись, ни разу не поддавшийся позорной слабости, в чем бы таковая ни проявлялась, — в подкупе ли, совращающем совесть человека, в со-

страдании ли, совращающем человека со стези справедливости. Он как бы отгородил от жизни свою душу и сердце двумя заслонами: дисциплиной и повиновением — и, подобно коню в шорах, шел только вперед по отведенной ему тропе. Его шаг был тверд, но дорога узка.

При всем том человек надежный — непреклонный командир, исполнительный солдат.

Говэн обратился к подошедшему к нему лейтенанту:

— Гешан! Нужна лестница.

— У нас нет лестницы, командир.

— Нужно достать.

— Для штурма?

— Нет, для спасения.

Гешан подумал и ответил:

— Понимаю. Но для этого требуется очень длинная лестница.

— На три этажа, не меньше.

— Да, командир, более короткая не дойдет.

— Нужно даже чуть подлиннее, чтобы действовать наверняка.

— Безусловно.

— Как же могло случиться, что у нас нет лестницы?

— Но ведь, командир, вы сами рассудили, что удобнее штурмовать Тург не с плоскогорья, и решили обложить его только с этой стороны; вы хотели штурмовать не мост, а башню. Поэтому все сейчас заняты подкопом и отказались от мысли взять замок приступом. Вот почему у нас нет лестницы.

— Прикажете сколотить лестницу на месте.

— Лестницу, чтобы хватило на три этажа, так сразу не сколотишь.

— Прикажете составить несколько коротких лестниц.

— Для этого нужно иметь короткие лестницы.

— Разыщите их.

— Где же тут разыскать? Крестьяне во всей округе порубили лестницы, разобрали все повозки и разрушили все мосты.

— Это верно, они хотят связать действия Республики.

— Они хотят, чтобы мы ни на повозках не ездили, ни через реку не перебрались, ни через стену не перелезли.

— Однако мне нужна лестница.

— Я вот что думаю, командир. В Жавенэ, неподалеку от Фужера, есть большая плотничья мастерская. Там можно раздобыть лестницу.

— Нельзя терять ни минуты.

— А когда вам нужна лестница?

— Завтра в этот же час, самое позднее.

— Сейчас я пошлю в Жавенэ верхового. Дам приказ, чтобы там срочно изготовили лестницу. В Жавенэ расквартирован кавалерийский пост, они и доставят нам лестницу под охраной. Значит, мы будем иметь ее здесь завтра еще до захода солнца.

— Прекрасно,— сказал Говэн.— Идите. Поскорее отдайте распоряжения.

Через десять минут Гешан подошел к Говэну и доложил:

— Командир! Нарочный отправлен в Жавенэ.

Говэн поднялся на плоскогорье; он долго и пристально глядел на замок, отделенный рвом. По ту сторону крутого обрыва возвышалась глухая стена замка, от крыши до фундамента в ней не было ни окон, ни дверей, если не считать низенькой дверцы, прикрытой сейчас подъемным мостом. Чтобы добраться с плоскогорья до подножия мостовых устоев, надо было спуститься вниз по крутому склону, что, впрочем, не представляло трудностей, так как густой кустарник облегчал спуск. Но, оказавшись на дне обрыва, нападающий становился мишенью для ядер, которые можно было метать из всех трех этажей замка. Говэн лишний раз убедился, что при подобном положении вещей штурм разумнее всего вести лишь через пролом в башне.

Он принял все меры, чтобы предотвратить любую попытку к бегству. Он еще ближе подтянул к башне свои войска, обложившие Тург, еще теснее сжал сеть своих батальонов, чтобы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным. Говэн и Симурдэн поделили между собой командование предстоящим штурмом — Говэн взял на себя действия со стороны леса и предоставил Симурдэну плоскогорье. Было условлено, что, пока Говэн с Гешаном атакуют башню через пролом, Симурдэн будет держать под наблюдением мост и ров, имея под рукой заряженные и готовые к залпу орудия.

Что делает маркиз

В то время как снаружи шли приготовления к штурму, внутри башни шли приготовления к обороне.

Неспроста башню сравнивают с бочкой: между ними то сходство, что иной раз башню можно пробить с помощью мины, как бочку с помощью пробойника. Из стены словно вынимают втулку. Это и произошло в Турге.

Мощный удар пробойника, иначе говоря, взрыв двух-трех quintалов пороха, продырявил стену в нескольких местах. У подножия башни в самой толще стены образовалась сквозная брешь, и это отверстие в нижнем этаже напоминало арку неправильной формы. Осаждающие пустили в пролом несколько ядер с целью расширить его, чтобы удобнее было идти на приступ.

Весь нижний этаж башни, куда вел пролом, был занят огромным круглым залом, совершенно пустым, с мощной колонной, поддерживающей свод. Этот зал, самое просторное помещение во всем Турге, насчитывал по меньшей мере сорок футов в диаметре. В каждом этаже башни были такие же круглые залы с бойницами и амбразурами, суживавшиеся по мере удаления от фундамента. В самом нижнем зале не было ни амбразур, ни отдушин, ни окон; света и воздуха не больше, чем в могиле.

Именно из этого зала вела в подземную темницу дверь, окованная железом. Другая дверь выводила на лестницу, по которой можно было попасть в верхние этажи. Все лестницы в башне были высечены в толще ее стен.

Осаждающие могли попасть в зал через пролом. Овладев залом, они должны были еще овладеть всей башней.

В этом зале с низко нависшими сводами всегда спирало дыхание. Провести в нем сутки — значило задохнуться. Теперь же благодаря пролому там можно было дышать.

Вот потому-то осажденные и решили не закрывать бреши.

Да и к чему, впрочем? Ядро разрушило бы любой заслон.

Осажденные вбили в стену железную скобу, вставили в нее факел и таким образом осветили помещение.

Но как выдержать атаку?

Заложить пролом не составило бы труда, но и не принесло бы пользы. Куда разумнее устроить редюит с входящим углом, что позволит открыть по неприятелю сосредоточенный огонь и, оставив брешь снаружи открытой, прикрыть ее таким образом изнутри. Материалов для постройки редюита хватало, и редюит возвели, оставив отверстия для ружейных дул. Угол редюита упирался в колонну, стоявшую посреди зала; оба его крыла доходили до двух противоположных стен. Теперь предстояло только заложить фугасы в наиболее подходящих местах.

Всеми работами руководил сам маркиз. Вдохновитель, начальник, вождь и хозяин — человек страшной души.

Лантенак принадлежал к той породе военачальников XVIII века, которые и восьмидесятилетними стариками спасали города. Он напоминал графа Альберта, который чуть ли не столетним старцем отбросил от стен Риги польского короля.

— Мужайтесь, друзья, — говорил маркиз, — в начале нашего века, в тысяча семьсот тринадцатом году, шведский король Карл Двенадцатый засел в Бендерах в одном из домов и, имея в своем распоряжении всего триста солдат, выдержал осаду двадцати тысяч турок.

Быстро забаррикадировали два нижних этажа, обезопасили входы, устроили в нишах бойницы, заложили двери брусьями, вбив их в пол деревянным молотком, так что получился как бы ряд контрфорсов; лишь подходы к винтовым лестницам, соединявшим все ярусы башни, пришлось оставить свободными для удобства передвижения; закрыть этот проход от нападающих означало закрыть его от самих осажденных. У каждой осажденной крепости есть своя уязвимая сторона.

Лантенак, неутомимый, крепкий, как юноша, сам таскал балки, подносил камни; он показывал пример прочим, брался за любое дело, давал распоряжения, помогал и, братаясь с этой свирепой шайкой, обращался к ней с шуткой, сам смеялся вместе с другими и все же оставался сеньором — высокородным, простым, изящным, жестоким.

Избави бог послушаться его. Он говорил: «Если половина из вас взбунтуется, я прикажу другой половине расстрелять бунтовщиков и стану защищать крепость с горстой оставшихся». Вот что заставляет обожать вождя.

Что делает Иманус

В то время как маркиз занимался проломом и башней, Иманус занимался замком, стоявшим на мосту. С начала осады спасательная лестница, висевшая вдоль стены под окнами второго этажа, была по приказанию маркиза убрана, а Иманус втащил ее в библиотеку. Повидимому, Говэн хотел заменить именно эту лестницу. Окна нижнего этажа, иначе говоря, помещения для кордегардии, были забраны тройными рядами железных прутьев, вделанных в каменную стену, так что в них нельзя было ни выйти, ни войти.

Правда, в библиотеке на окнах не было решеток, зато расположены они были на значительной высоте.

Иманус взял с собой трех человек, таких же, как и он, способных на все и ко всему готовых. Это были Уанар, иначе «Золотая Ветка», и два брата, известные под кличкой «Деревянные Копья». Иманус захватил потайной фонарь, отпер железную дверь и тщательно осмотрел все три этажа замка. Уанар, с тех пор как у него убили брата, не уступал в жестокости самому Иманусу.

Сначала Иманус обошел верхний этаж, забитый соломой и мешками с овсом, потом нижний и велел принести сюда несколько чугунных горшков, которые и поставил рядом с бочками смолы; затем он распорядился подтащить пучки вереска к бочкам и проверил, правильно ли лежит пропитанный серой шнур, один конец которого находился в замке, а другой в башне. Вокруг бочек он налил лужу смолы и окунул в нее конец шнура; потом по его приказу в библиотеку, находившуюся между нижним этажом, где стояли бочки со смолой, и чердаком, где лежала солома, принесли три колыбельки; в них спали крепким сном Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта. Колыбельки несли осторожно, чтобы не разбудить малышей.

Впрочем, это были и не колыбельки даже, а просто низенькие ясельцы вроде ивовых корзин, которые ставят прямо на землю, так что ребенок может выбраться оттуда без посторонней помощи. Возле каждой такой кроватки Иманус велел поставить мисочку с супом и положить деревянную ложку. Спасательную лестницу, снятую с крючьев, поставили на ребро вдоль стены, а колыбельки разместили в противоположном конце, как раз напротив

лестницы. Потом, решив, что в подобных случаях ветер — надежный пособник, Иманус распахнул все шесть огромных окон библиотеки. За окнами стояла ночь — летняя, теплая, светлая.

Иманус приказал Деревянным Копьям распахнуть окна также в нижнем и в верхнем этаже. Он заметил, что восточный фасад замка от земли до самой крыши обвит иссохшим и серым, как трут, плющом, ветки которого заглядывают в окна всех трех этажей. Иманус решил, что и плющ не помешает. Он бросил вокруг последний взгляд, затем все четверо покинули замок и вернулись в башню. Иманус запер тяжелую железную дверь на два поворота ключа, внимательно осмотрел огромный, устрашающего вида запор и, еще раз удовлетворенно кивнув головой, проверил шнур, который выходил через продланное для него отверстие и служил отныне единственным связующим звеном между замком и башней. Начало этот шнур брал в круглом зале, проходил под железной дверью, шел вдоль сводчатого прохода, извивался вместе с поворотами винтовой лестницы, тянулся по полу нижнего этажа замка и заканчивался в луже смолы у кучи сухих пучков вереска. Иманус высчитал, что потребуется приблизительно четверть часа для того, чтобы огонь по шнуру, подожженному в башне, добрался до лужи смолы, разлитой под библиотекой. Закончив последние приготовления и оглядев все в последний раз, он вручил ключ от железной двери маркизу, — тот положил его в карман.

Надо было зорко следить за каждым движением врага. Иманус, с пастушьим рожком за поясом, поднялся на сторожевой пост на вершину башни. Он положил в одну из амбразур пороховницу, холщовый мешочек с пулями и пачку старых газет и, не спуская глаз с леса и плоскогорья, стал крутить пыжи.

Когда взошло солнце, оно озарило три батальона, расположенные на опушке леса: солдаты, с саблями на боку, с патронташами через плечо, с примкнутыми штыками, уже были готовы к штурму; на плоскогорье стояла батарея, зарядные ящики, полные ядер, и зарядные картузы; лучи, проникшие в башню, осветили девятнадцать человек, заряжавших ружья, мушкеты, пистолеты и мушкетонны, а также три колыбельки, где спали трое малюток.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КАЗНЬ СВЯТОГО ВАРФОЛОМЕЯ

I

Дети проснулись.

Первой проснулась крошка Жоржетта.

Когда просыпается ребенок, словно открывается веничек цветка; кажется, от весенне-свежей души исходит благоухание.

Жоржетта, девица года и восьми месяцев, самая младшая из троих ребятишек, которая еще в мае сосала грудь, подняла голову, уселась, взглянула на свои ножки и защебетала.

Солнечный луч скользнул по колыбельке, и, казалось, даже розовая заря блекнет по сравнению с розовыми ножками Жоржетты.

Двое старших еще спали — мужчины тяжелы на подъем.

А Жоржетта весело и невозмутимо щебетала.

Рене-Жан был брюнет, Гро-Алэн — шатен, а Жоржетта — блондинка. Оттенок волос у детей меняется с годами. Рене-Жан был похож на младенца Геркулеса; спал он ничком, уткнувшись лицом в сжатые кулачки. Гро-Алэн во сне свесил с постели ноги.

Все трое были в лохмотьях; батальон Красный Колпак обмундировал своих питомцев, но платья и белье успели с тех пор износиться — то, во что дети были облачены, нельзя было даже назвать рубашонками: мальчики спали почти голые, а Жоржетта щеголяла в юбке, вернее, в какой-то тряпице, державшейся на одной шлейке. Кто заботился о малышах? Трудно ответить на этот вопрос. Матери у них не было. Одичавшие вояки-крестьяне, таскавшие за собой ребятишек по всему Семилесью, честно делились с ними солдатской похлебкой. Вот и все. Так малыши и жили — как могли. У них были сотни хо-

заяв, но не было отца. Но от детских лохмотьев всегда исходит сияние. Все трое были прелестны.

Жоржетта лепетала.

Птица — поет, ребенок — лепечет. И то и другое — гимн. Невнятный, нечленораздельный, проникновенный. Но только птице не сужден тот печальный человеческий удел, что ждет ребенка. Вот почему взрослые с грустью слушают то, о чем так радостно щебечет ребенок. Нет на земле возвышенной песни, чем неясное лепетание человеческой души, вещающей устами младенца. В этом сбивчивом шепоте мысли, даже не мысли еще, а пока только инстинкта, слышится неосознанный призыв к вечной справедливости; быть может, душа возмущается, не желая переступить порог жизни; смиренное и трогательное до слез возмущение; эта улыбка неведения, обращенная к бесконечности, словно обличает все сущее, удел, уготованный слабому и беззащитному. Послать ему беды — значит злоупотребить его доверием.

Лепет ребенка — это и больше и меньше, чем слова: это не звуки музыки, но это песнь, это не слоги, но это речь; лепет этот начался еще на небесах, и ему не будет конца на земле; он предшествовал рождению ребенка и звучит сейчас; это продолжение. В этой невнятице заключено то, что говорило дитя, будучи ангелом, и то, что скажет оно, став человеком; колыбель имеет свое Вчера, как могильный склеп свое Завтра; это Вчера и это Завтра сливаются в таинственном щебете свое двойное неведение; и ничто не доказывает столь бесспорно существование бога, вечности, ответственности, двойственности рока, как грозная тень грядущего, омрачающая эту розовую, словно заря, душу.

Но, видно, Жоржетта лепетала о чем-то таком, что не омрачало души, так как все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, глаза, улыбались ямочки на щеках. И эта улыбка была как бы приятием занимавшегося дня. Душа верит свету. Небо было голубое, воздух теплый, погода прекрасная. И это хрупкое создание, ничего не знавшее, ничего не ведавшее, ничего не понимавшее, баюкаемое мечтой, которая еще не стала мыслью, смело вверяло себя природе, честности леса, искренности зелени, чистым и мирным долинам, хлопотливым птицам у гнезд, ручейку, мошкаре, листьям — всему, над чем сияло солнце во всей своей торжествующей Непорочности.

Вслед за Жоржеттой проснулся старший — Рене-Жан, которому — не шутка! — шел уже пятый год. Он встал во весь рост, храбро перешагнул через край корзины, заметил миску с супом и, ничуть не удивившись, уселся прямо на пол и принялся за еду.

Лепет Жоржетты не разбудил Гро-Алэна, но, услышав сквозь сон мерный стук ложки о миску, он открыл глаза. Гро-Алэну было три года. Он тоже увидел еду и, не долго думая, нагнулся, схватил миску и, усевшись поудобнее, поставил ее на колени, в правую руку взял ложку и последовал примеру Рене-Жана.

Жоржетта ничего не слыхала, и переливы ее голоса, казалось, следовали баюкающему ладу ее грез. Ее широко раскрытые глаза были устремлены ввысь, взгляд их был божественно чист; даже когда над головой ребенка нависает низкий свод или потолок, в зрачках его отражается небо.

Рене-Жан кончил есть, поскреб ложкой по доньшку миски, вздохнул и степенно заметил:

— Весь суп съел

Эти слова вывели Жоржетту из задумчивости.

— Суп съей,— повторила она.

Увидев, что Рене-Жан поел, а Гро-Алэн ест, она подтянула свою мисочку к кровати и принялась за еду; не скроем, что ложку она чаще подносила к уху, чем ко рту.

Время от времени она отбрасывала прочь навыки цивилизации и запускала в миску всю пятерню.

Гро-Алэн в подражание Рене-Жану тоже поскреб ложкой по доньшку миски, потом вскочил с постели и побежал вслед за старшим братом.

II

Вдруг откуда-то снизу, со стороны леса, донеслось пение горна — требовательный и властный зов. И на призыв горна с вершины башни ответил рожок.

На сей раз спрашивал горн, а отвечал рожок.

Вторично заиграл горн, и вторично отозвался рожок.

Потом на опушке леса раздался приглушенный расстоянием голос, однако каждое слово звучало ясно:

— Эй, разбойники! Сдавайтесь. Если вы не сдадитесь на милость победителя до захода солнца, мы начнем штурм.

И с башенной вышки отозвался громовой голос:

— Штурмуйте!

Голос снизу продолжал:

— За полчаса до начала штурма мы выстрелим из пушки, и это будет наше последнее предупреждение.

Голос сверху повторил:

— Штурмуйте!

Дети не могли слышать эти голоса, но звуки горна и рожка, более звонкие и сильные, проникли в библиотеку; Жоржетта при первом звуке горна вытянула шею и перестала есть; когда горну ответил рожок, она отложила в сторону ложку; когда снова заиграл горн, она подняла правую ручонку и стала медленно водить вверх и вниз указательным пальчиком, следуя ритму горна, которому вторил рожок; когда же рожок и горн замолкли, она, не опуская пальчика, задумчиво пролепетала:

— Музыка!

Надо думать, что она хотела сказать «музыка».

Двое старших — Рене-Жан и Гро-Алэн — не обратили внимания ни на рожок, ни на горн; они были всецело захвачены другим: по полу ползла мокрица.

Гро-Алэн первый заметил ее и закричал:

— Зверь!

Рене-Жан подбежал к брату.

— Укусит! — предупредил Гро-Алэн.

— Не обижай его! — приказал Рене-Жан.

И оба стали рассматривать забредшую в библиотеку странницу.

Жоржетта тем временем покончила с супом; она обернулась, ища братьев. Рене-Жан и Гро-Алэн, забившись в проем окна, присели на корточки и с озабоченным видом рассматривали мокрицу; касаясь друг друга головой, смешав свои черные и каштановые локоны, они боялись громкодохнуть и с восхищением следили за зверем, который застыл на месте и не шевелился, отнюдь не польщенный таким вниманием.

Жоржетта заметила, что братья чем-то занялись, ей тоже захотелось посмотреть; хотя добраться до окна было делом нелегким, она все же решилась; предстоявшее ей путешествие было чревато опасностями: на полу валялись стулья, опрокинутые табуретки, кучи бумаг, пустые ящики, сундуки, груды хлама, — требовалось обогнуть весь этот архипелаг подводных рифов! Но Жоржет-

та все-таки рискнула. Первым делом она вылезла из кровати; потом миновала первые рифы, проскользнула в пролив, оттолкнув по дороге табуретку, потом прошмыгнула между двух ящиков, взобралась на связку бумаг и съехала на пол, с милой беззастенчивостью показав при этом свое голое розовое тельце, и наконец достигла того, что моряк назвал бы открытым морем, то есть довольно обширного пространства, ничем не заставленного, где уже ничто не грозило путнице; затем она снова пустилась в путь, быстро, как котенок, пересекала на четвереньках наискось почти всю библиотеку и достигла окна, где ее ждало новое грозное препятствие: длинная лестница, стоявшая на ребре вдоль стены, не только доходила до окна, но даже выдавалась за угол проема; таким образом, Жоржетту отделял от братьев мыс, и его нужно было обогнуть; Жоржетта остановилась и призадумалась; закончив свой внутренний монолог, она наконец решилась: смело уцепилась розовыми пальчиками за одну из перекладин лестницы, которые шли не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, так как лестница стояла на боку, и попыталась подняться на ноги, но пошатнулась и села; она повторила свою попытку; два раза она шлепнулась, и только в третий раз ей удалось встать во весь рост и выпрямиться; перехватывая ручонками ступеньку за ступенькой, она двинулась вдоль лестницы, но, когда добралась до мыса, ступеньки кончились; лишившись опоры, она зашаталась, однако успела вовремя ухватиться за огромное ребро лестницы, выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Рене-Жана и Гро-Алэна и засмеялась.

III

Как раз в эту минуту Рене-Жан, досыта налюбовавшийся мокрицей, поднял голову и заявил:

— Это самка.

Услышав смех Жоржетты, засмеялся и Рене-Жан, а услышав смех Рене-Жана, засмеялся и Гро-Алэн.

Жоржетта благополучно добралась до братьев, и все трое уселись в кружок прямо на полу.

Но мокрица исчезла.

Воспользовавшись весельем детей, она уползла в щель.

Зато начались другие происшествия.

Сначала прилетели ласточки.

Должно быть, они свили себе гнездо над выступом стены. Встревоженные появлением детей, они летали под окном, описывая в воздухе широкие круги, и нежно, повесенному щебетали.

Дети повернулись к окну, и мокрица была забыта.

Жоржетта ткнула пальчиком в сторону ласточек и крикнула:

— Петусек!

Но Рене-Жан осадил сестру:

— Эх ты! Какой же это петушок? Надо говорить: птички.

— Птицьки,— повторила Жоржетта.

И все трое начали следить за полетом ласточек.

Потом появилась пчела.

Пчелу с полным правом можно сравнить с душой человека. Подобно тому как душа перелетает со звезды на звезду, так пчела перелетает с цветка на цветок и несет с собой мед, как душа приносит с собой свет.

Пчела появилась с шумом, она жужжала во весь голос и всем своим видом хотела сказать: «Вот и я! Я обжужжала все розы, а сейчас желаю посмотреть на детей. Что тут происходит?»

Пчела — рачительная хозяйка, и, даже напевая свою песенку, она не может не брзжать.

Пока пчела летала по комнате, дети не спускали с нее глаз.

Пчела деловито обследовала всю библиотеку, заглянула в каждый уголок, словно находилась у себя дома, в собственном улье, и с мелодичным жужжанием, трепеща крылышками, медленно пролетела вдоль всех шкафов, заглядывая через стекла на корешки книг, легкая, будто пух.

Закончив осмотр библиотеки, она удалилась.

— Домой пошла,— сказал Рене-Жан.

— Это зверь! — сказал Гро-Алэн.

— Нет,— возразил Рене-Жан,— это мушка.

— Муська,— повторила Жоржетта.

Тут Гро-Алэн обнаружил на полу веревку с узелком на конце и, крепко зажав другой конец между большим и указательным пальцем, стал вращать ее, с глубоким вниманием глядя на описываемые ею круги.

Жоржетта, снова предпочтя более надежный способ передвижения, на манер четвероногих облазила во всех направлениях зал и обнаружила нечто достойное внимания — почтенное старое побитое молью кресло, из-под обивки которого вылезал конский волос. Жоржетта остановилась возле кресла. Она раздирала пальчиком дыры и с озабоченным видом вытаскивала оттуда волос.

Вдруг она подняла пальчик, что означало: «Слушайте!»

Оба брата обернулись.

Снаружи доносился глухой и неясный шум: должно быть, готовясь к штурму, перестраивались части, расположенные на опушке леса; ржали кони, слышалась дробь барабанов, с грохотом передвигались снарядные ящики, лязгали цепи, перекликались горны, и все эти разрозненные грозные шумы казались издали даже гармоничными: дети слушали как зачарованные.

— Это божемоинька гремит,— сказал Рене-Жан.

IV

Шум прекратился.

Рене-Жан вдруг загрустил.

Кто знает, почему и как в крохотном мозгу возникают и исчезают мысли. Какими таинственными путями идет работа памяти, столь еще короткой и неустойчивой? И в головке притихшего, задумавшегося ребенка смешались в одно: «божемоинька», молитва, сложенные руки, чье-то лицо, которое с нежной улыбкой склонялось над ним когда-то, а потом исчезло, и Рене-Жан тихо прошептал:

— Мама.

— Мама,— сказал Гро-Алэн.

— Мам,— повторила Жоржетта.

И вдруг Рене-Жан запрыгал.

Увидев это, Гро-Алэн тоже запрыгал.

Гро-Алэн повторял все жесты и движения Рене-Жана. Жоржетта тоже повторяла, но не так послушно. В три года нельзя не подражать четырехлетним, но в год восемь месяцев можно позволить себе большую самостоятельность.

Жоржетта осталась сидеть на полу, время от времени произнося какое-нибудь слово. Жоржетта не умела

еще складывать фразы. Как истый мыслитель, она говорила афоризмами, и притом односложными.

Однако немного погодя пример братьев заразил и ее, она присоединилась к их игре, и три пары босых детских ножек заплясали, забегали, затопали по пыльному дубовому паркету, под строгим взглядом мраморных бюстов, на которые то и дело боязливо поглядывала Жоржетта, шепча себе под нос: «Дядядьки».

На языке Жоржетты слово «дядядька» обозначало все, что похоже на человека, но в то же время и не совсем человек. Живые существа неизбежно смешаны в представлении ребенка с призраками.

Жоржетта следовала по залу за братьями, но она была не особенно тверда на ногах и предпочитала передвигаться на четвереньках.

Вдруг Рене-Жан, подойдя к окну, поднял голову, потом опустил ее на грудь и забился в угол. Он заметил, что кто-то на него смотрит. Это был «синий», солдат из лагеря, расположенного на плоскогорье; пользуясь перемирием, а может быть, отчасти и нарушая его, он отважился добраться до крутого склона, откуда была видна внутренность библиотеки. Заметив, что Рене-Жан спрятался, Гро-Алэн спрятался тоже, забившись в угол рядом с братом, а Жоржетта спряталась за них обоих. Так они стояли, не двигаясь, не произнося ни слова, а Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Немного спустя Рене-Жан осмелел и высунул голову: солдат по-прежнему был тут. Рене-Жан отпрянул от окна; теперь трое крошек не смели даже дышать. Это длилось довольно долго. Наконец Жоржетте наскучило бояться, она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел. Ребятишки снова принялись резвиться и играть.

Хотя Гро-Алэн был подражателем и почитателем Рене-Жана, у него был свой талант — находки. Брат и сестра вдруг заметили, что Гро-Алэн бодро гарцует по комнате, таща за собой маленькую четырехколесную тележку, которую он где-то откопал.

Эта кукольная тележка, забытая неизвестно кем и когда, десятки лет провалялась здесь в пыли по соседству с творениями гениев и бюстами мудрецов. Быть может, этой тележкой играл в детстве Говэн.

Не долго думая, Гро-Алэн превратил свою бечевку в кнут и начал громко шелкать; он был очень доволен со-

бою. Таковы уж изобретатели. За неимением Америки неплохо открыть тележку. Так уж повелось издавна.

Но пришлось делиться своим открытием. Рене-Жан захотел превратиться в коня, а Жоржетта — в пассажира.

Не без труда она уселась в тележку. Рене-Жан впрягся в упряжку. Гро-Алэну досталась должность кучера.

Но оказалось, что кучер не особенно силен в своем деле, и коню пришлось обучать его кучерскому искусству.

Рене-Жан крикнул Гро-Алэну:

— Скажи: но-о!

— Но-о! — повторил Гро-Алэн.

Тележка опрокинулась. Жоржетта упала на пол. И ангелы тоже кричат. Жоржетта закричала.

Потом ей захотелось немножко поплакать.

— Мадмуазель! — сказал Рене-Жан. — Вы уже взрослая.

— Взойся, — повторила Жоржетта.

И сознание, что она взрослая, смягчило боль падения.

Карнизы, проходившие под окнами, были очень широки; мало-помалу там скопился занесенный с верескового плоскогорья слой пыли, дожди превратили эту пыль в землю, ветер принес семена, и, уцепившись за жалкий клочок почвы, пробился первый росток ежевики. Ежевика оказалась из живучих, называемая в народе «лисей». Сейчас, в августе, куст ежевики покрылся ягодами, и одна ветка вползла в окно библиотеки. Ветка свешивалась почти до самого пола.

Гро-Алэн, уже открывший бечевку, открывший затем тележку, открыл и ежевику. Он подошел к ветке.

Он сорвал ягоду и съел.

— Есть хочу, — сказал Рене-Жан.

Тут подоспела и Жоржетта, быстро продвигавшаяся с помощью колен и ладоней.

Втроем они обобрали и съели все ягоды. Дети опьянели от ежевики, измазались ее соком, и теперь три херувимчика, с ярко-красными пятнами на щеках и на подбородках, вдруг превратились в трех маленьких фавнов, что, несомненно, смутило бы Данте и восхитило бы Вергилия. Дети громко хохотали.

Колючки ежевики кололи им пальцы. Ничто не достается даром.

Жоржетта протянула Рене-Жану пальчик, на кончике которого алела капелька крови, и сказала, указывая на ежевику:

— Укусийа.

Гро-Алэн, тоже пострадавший от шипов, подозрительно взглянул на ветку и сказал:

— Это зверь!

— Нет,— возразил Рене-Жан,— это палка.

— Палки злые,— сказал Гро-Алэн.

Жоржетте опять захотелось плакать, но она засмеялась.

V

Тем временем Рене-Жан, возможно позавидовав открытиям младшего брата Гро-Алэна, замыслил поистине грандиозное предприятие. Продолжая рвать ягоды и не обращая внимания на шипы, коловшие ему пальцы, он время от времени поглядывал на аналой или, вернее, пюпитр, возвышавшийся посреди библиотеки одиноко, как монумент. На этом аналое лежал экземпляр *Евангелия от Варфоломея*.

Это было великолепное и редчайшее *in quarto*. *Евангелие от Варфоломея* вышло в 1682 году в Кельне в типографии славного Блева, по-латыни Цезиуса, издателя Библии. *Варфоломей* появился на свет с помощью деревянных прессов и воловьих жил, отпечатали его не на голландской, а на чудесной арабской бумаге, которой так восхищался Эдризиди и которая делается из шелка и хлопка и никогда не желтеет; переплели его в золоченую кожу и украсили серебряными застежками; заглавный лист и чистый лист в конце книги были из того пергамента, который парижские переплетчики поклались покупать в зале Сен-Матюрена, и «нигде более». В книге было множество гравюр на дереве и на меди, а также географические карты нескольких стран; вначале был помещен протест гильдии печатников, грамота от торговцев и типографщиков против эдикта 1635 года, обложившего налогом «кожи, пиво, морскую рыбу и бумагу», а на обороте фронтисписа можно было прочесть посвящение

Грифам, которые в Лионе были тем же, чем Эльзевиры в Амстердаме. Словом, в силу всех этих обстоятельств *Евангелие от Варфоломея* являлось столь же знаменитым и почти столь же редкостным, как московский *Апостол*.

Книга и впрямь была красивая; вот почему Рене-Жан поглядывал на нее, пожалуй, чересчур пристально. Том был раскрыт как раз на той странице, где помещался большой эстамп, изображавший святого Варфоломея, несущего в руках содранную с него кожу. Снизу картинку тоже можно было рассмотреть. Когда вся ежевика была съедена, Рене-Жан уставился на книгу глазами, исполненными погибельной любви, а Жоржетта, проследив направление его взгляда, тоже заметила гравюру и пролепетала:

— Кайтинка!

Это слово положило конец колебаниям Рене-Жана. И, к величайшему изумлению Гро-Алэна, он совершил нечто необыкновенное.

В углу библиотеки стоял тяжелый дубовый стул; Рене-Жан направился к стулу, ухватил его и, толкая перед собой, подтащил к аналою. Когда стул очутился возле самого аналая, он вскарабкался на сиденье и положил два крепких кулачка на открытую страницу.

Оказавшись на таких высотах, он почувствовал необходимость совершить нечто великое; он взял «кайтинку» за верхний угол и аккуратнo разорвал; святой Варфоломей разодрался вкось, но Рене-Жан был в этом неповинен; в книге осталась вся левая часть гравюры с одним глазом старого апокрифического евангелиста и куточком ореола над его головой; другую половину Варфоломея вместе с его снятой кожей брат преподнес Жоржетте. Жоржетта взяла святого и шепнула:

— Дядядка.

— А мне? — вдруг завопил Гро-Алэн.

Первая вырванная страница подобна первой капле пролитой крови. Истребление уже неминуемо.

Рене-Жан перевернул страницу; за изображением святого следовал портрет его комментатора Пантениуса; Рене-Жан милостиво одарил Пантениусом Гро-Алэна.

Тем временем Жоржетта разорвала половинку святого на две половинки поменьше, потом обе маленькие половинки еще на четыре части; итак, историки с пол-

ным правом могут добавить, что со святого Варфоломея сначала содрали кожу в Армении, а затем его четвертовали в Бретани.

VI

Покончив с четвертованием, Жоржетта протянула к Рене-Жану ручки и потребовала:

— Еще!

Вслед за святым и комментатором пошли богомерзкие портреты — портреты истолкователей. Первым оказался Гавантус; Рене-Жан вырвал картинку и вручил Гавантуса Жоржетте.

За Гавантусом последовали все прочие истолкователи святого Варфоломея.

Одаривать — значит быть выше одариваемого. И Рене-Жан не оставил себе ничего, Гро-Алэн и Жоржетта смотрели на него снизу вверх; с него этого было достаточно; он довольствовался восхищением зрителей.

Рене-Жан, великодушный и неутомимый даритель, дал Гро-Алэну Фабрицио Пиньятелли, а Жоржетте — преподобного отца Стилтинга; он протянул Гро-Алэну Альфонса Тоста, а Жоржетте *Cornelius a Lapide*; Гро-Алэн получил Анри Аммона, а Жоржетта — преподобного отца Роберти и в придачу город Дуэ, где в 1619 году Аммон увидел свет. Гро-Алэну достался протест бумаготорговцев, а Жоржетта стала обладательницей посвящения Грифам. Оставались еще географические карты. Рене-Жан роздал и их. Эфиопию он преподнес Гро-Алэну, а Ликаонию — Жоржетте. После чего он сбросил книгу на пол.

Страшная минута! Гро-Алэн и Жоржетта с восторгом и ужасом увидели, как Рене-Жан, нахмутив брови, напряжился, сжал кулачки и столкнул с аналая огромный том. Трагическое зрелище являет собою великолепная старинная книга, повергнутая в прах. Тяжелый том, потеряв равновесие, повис на мгновение в воздухе, потом закачался, рухнул и распластался на полу — жалкий, разорванный, смятый, вывалившийся из переплета, с погнувшимися застежками. Счастье еще, что он не упал на ребятшек.

Они были ошеломлены, но невредимы. Не всегда авантюры завоевателей проходят столь гладко.

Такова судьба всякой славы — сначала много шуму, затем облако пыли.

Низвергнув книгу, Рене-Жан слез со стула.

Тут наступил миг ужаса и тишины; победа устрашает не только побежденного. Дети схватились за руки и стали поодаль, созерцая огромный растерзанный том.

Но после короткого раздумья Гро-Алэн решительно подошел и пнул книгу ногой.

Это было начало конца. Вкус к разрушению существует. После Гро-Алэна пнул книгу ногой Рене-Жан, а за ним — Жоржетта, но от усилия она не устояла на ногах и упала, вернее, села на пол; она воспользовалась этим, чтобы накинуться на святого Варфоломея снизу; последние остатки благоговения рассеялись; на книгу налетел Рене-Жан, на нее наскочил Гро-Алэн, и, забыв все на свете, радостно смеясь, торжествующие, беспощадные, розовощекие ангелочки-разрушители, пустив в ход ноги, руки, ногти, зубы, втроем набросились на беззащитного святого, кромсая страницы, с мясом вырывая закладки, царапая переплет, отдирая золоченую кожу, выковыривая серебряные застёжки, комкая пергамент, истребляя царственные письма.

Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где покоятся останки святого, уничтожили Нафанаила, который, может быть, и есть святой Варфоломей, папу Желазы, который объявил апокрифическим Евангелие от Варфоломея-Нафанаила, уничтожили все гравюры, все географические карты, и эта безжалостная расправа над старинной книгой так увлекала их внимание, что они даже не заметили прошмыгнувшей мимо мышки.

Это был разгром.

Разодрать на части историю, легенду, науку, чудеса, подлинные или мнимые, церковную латынь, предрассудки, фанатизм, тайны, разорвать в клочья целую религию — такая работа под силу трем гигантам или, как видите, трем детям; в этих трудах прошло несколько часов, но цель была достигнута: от апостола Варфоломея не осталось и следа.

Когда все было кончено, когда была вырвана последняя страница, когда последний эстамп лежал во прахе, когда от книги остались лишь обрывки листов и гравюр, прилепившиеся к скелету переплета, Рене-Жан встал во

весь рост, оглядел пол, засыпанный клочками бумаги, и забил в ладоши.

Гро-Алэн тоже забил в ладоши.

Жоржетта подобрала с полу страничку, встала на цыпочки, оперлась на подоконник, приходившийся на уровне ее подбородка, и принялась разрывать лист на мелкие кусочки и бросать их за окно.

Рене-Жан и Гро-Алэн поспешили последовать ее примеру. Они подбирали с полу и рвали, снова подбирали и снова рвали страницы, в подражание Жоржетте, и старинная книга, которую истерзали, страница за страницей, крохотные, неугомонные пальчики, была уничтожена и развеяна по ветру. Жоржетта задумчиво смотрела, как кружатся в воздухе и улетают подхваченные ветром рой маленьких белых бумажек.

— Бабоцьки! — сказала она.

Так казнь закончилась исчезновением в небесной лазури.

VII

Так вторично был предан смерти святой Варфоломей, который уже однажды принял мученическую кончину в 49 году по рождестве Христовом.

Под вечер жара стала невыносимой, самый воздух клонил ко сну, у Жоржетты начали слипаться глаза; Рене-Жан подошел к своей кровати, вытащил набитый сеном мешок, заменявший матрасик, доволоч его по полу до окна, вытянулся во весь рост и сказал:

— Ляжем.

Гро-Алэн положил голову на Рене-Жана, Жоржетта положила голову на Гро-Алэна, и трое святотатцев заснули.

В открытые окна вливалось теплое дуновение; аромат полевых цветов, доносившийся из оврагов и с холмов, сливался с дыханием вечера; мирные просторы звали к милосердию, все сияло, все умиротворяло, все любило. солнце посылало всему сущему свою ласку — свет; люди всеми порами впивали гармонию, источаемую беспредельным благоволением природы; в ее бесконечности было что-то материнское: мир есть извечно цветущее чудо, его огромность дополняется его же благодатью; казалось, кто-то невидимый таинственными путями старается ог-

радить слабые существа в их грозной борьбе с более сильными; а кругом все было прекрасно; великодушие природы равнялось ее великолепию. По дремавшим лугам и рекам роскошным муаром переливались свет и тени; дымка плыла вверх, становясь облаком, подобно тому как мечты становятся видениями; над Тургом, разрезая воздух крыльями, носились стаи птиц; ласточки заглядывали в окна библиотеки, будто прилетели сюда убедиться, не нарушен ли мирный сон детей. А они — полуголые амурчики — спали, прижавшись друг к другу, застыв в прелестных позах; они были само очарование и чистота — всем троим не было и девяти лет; им снились райские сны, губы складывались в еле заметную улыбку, может быть, сам бог шептал им что-то на ушко: недаром на всех человеческих языках их зовут слабыми и благословенными созданиями и чтут их невинность; все кругом затихло, будто дыхание их нежных грудок было делом всей вселенной и к нему прислушивалась сама природа; не трепетал лист, не шуршала былинка; казалось, безбрежный звездный мир замер, боясь смутить ангельский сон трех смиренно спящих ангелочков; и возвышеннее всего было безмерное уважение самой природы к подобной малости.

Солнце заходило и уже почти коснулось линии горизонта. Вдруг этот покой нарушила вырвавшаяся из леса молния, за которой последовал страшный гром. Это выстрелили из пушки. Эхо подхватило грохот. Передаваясь от холма к холму, он превратился в грозные раскаты. И они разбудили Жоржетту.

Она присела, подняла пальчик, прислушалась и сказала:

— Бум!

Грохот стих, и вновь воцарилась тишина. Жоржетта опустила головку на плечо Гро-Алэна и снова мирно уснула.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

МАТЬ

I

Смерть везут

Весь этот день мать брела по дорогам, даже не присев до самого вечера. Так повторялось изо дня в день — она шла куда глаза глядят, не останавливаясь, не отдыхая. Короткий сон, вернее, забытие, в первом попавшемся углу не приносил отдыха, а те крохи, которые она проглатывала на ходу, наспех, как птица небесная, не утоляли голода. Она ела и спала лишь для того, чтобы не упасть замертво тут же на дороге.

Последнюю ночь она провела в заброшенном сарае: гражданская война плодит такие лачуги; в пустынном поле она заметила четыре стены, за распахнутой настежь дверью — кучу соломы, как раз в том углу, где еще сохранилась часть крыши. Она легла на эту солому, под этой крышей; она слышала, как под соломой возятся крысы, и видела, как между стропилами загораются звезды. Проспала она всего несколько часов, проснулась среди ночи и снова пустилась в дорогу, чтобы успеть до жары пройти как можно больше. Тому, кто путешествует пешком в летнюю пору, полночь благоприятнее, чем полдень.

Она старалась не сбиться с маршрута, который указал ей крестьянин в Ванторте, то есть по возможности держалась запада. Если бы кто-нибудь дал себе труд прислушаться к ее неясному бормотанию, тот разобрал бы слово «Тург». Слово «Тург» да имена своих детей — больше она ничего теперь не помнила.

Бредя по дорогам, она размышляла. Думала о всех злоключениях, которые ей пришлось пережить; думала

о тех муках, которыми ей пришлось перестрадать, о том, что пришлось безропотно перенести, о встречах, о подлости, об унижениях, о быстрой и бездумной сделке то ради ночлега, то ради куска хлеба, то просто ради того, чтобы указали дорогу. Бездомная женщина несчастнее бездомного мужчины хотя бы потому, что служит орудием наслаждения. Жуткое, нескончаемо долгое странствие! Впрочем, все ей было безразлично, лишь бы найти своих детей.

В тот день дорога вывела ее к какой-то деревеньке; заря только занималась; ночной мрак еще висел над домами; однако то тут, то там хлопала дверь, и из окон выглядывали любопытные лица. Вся деревня волновалась, словно потревоженный улей. И причиной этого был приближающийся грохот колес и лязг металла.

На деревенской площади, возле церкви, стояла в остолбенении кучка людей; они пристально глядели на что-то, что спускалось с вершины холма по дороге. Пять лошадей тащили на цепях, вместо обычных постромок, большую четырехколесную повозку. На повозке виднелась груда длинных балок, а посреди возвышалось что-то бесформенное, прикрытое сверху, словно саваном, куском парусины. Десять всадников ехали перед повозкой, десять других замыкали шествие. На всадниках были треуголки, и над плечом у каждого чуть поблескивало острие: по всей видимости — обнаженные сабли. Кorteж продвигался медленно, выделяясь на горизонте резким черным силуэтом. Черной казалась повозка, черными казались кони, черными казались всадники. А позади них чуть брезжила заря.

Процессия въехала в деревню и направилась к площади.

Тем временем уже рассвело, и теперь стала ясно видна спустившаяся с горы повозка и сопровождающие ее люди; corteж напоминал шествие теней, ибо все молчали.

Всадники оказались жандармами. И за их плечами действительно торчали обнаженные сабли. Парусина была черная.

Несчастная скиталица-мать тоже вошла в деревню с противоположного ее конца; она присоединилась к группе крестьян как раз тогда, когда на площадь вступили жандармы, охранявшие повозку. Люди шушука-

лись, о чем-то спрашивали друг друга, шепотом отвечали на вопросы:

— Что это такое?

— Гильотину везут.

— А откуда везут?

— Из Фужера.

— А куда везут?

— Не знаю. Говорят, в какой-то замок рядом с Паринье.

— Паринье?

— Пусть себе везут куда угодно, лишь бы тут не задерживались.

Большая повозка со своим грузом, укрытым саваном, упряжка, жандармы, лязг цепей, молчание толпы, предрассветный сумрак — все это казалось призрачным.

Процессия пересекла площадь и выехала за околицу; деревушка лежала в ложине меж двух склонов; через четверть часа крестьяне, застывшие на площади, как каменные изваяния, вновь увидели зловещую повозку на вершине западного склона. Колеса подпрыгивали в колеях, цепи упряжки, раскачиваемые ветром, лязгали, блестели сабли; солнце поднималось над горизонтом. Но дорога круто свернула в сторону, и видение исчезло.

Как раз в это самое время Жоржетта проснулась в библиотеке рядом со спящими братьями и пролепетала «доброе утро» своим розовым ножкам.

II

Смерть говорит

Мать видела, как мимо нее промелькнул и исчез этот темный силуэт, но она ничего не поняла и даже не пыталась понять, ибо перед ее мысленным взором вставало иное видение — ее дети, исчезнувшие где-то во мраке.

Она тоже вышла из деревни, почти что вслед за проехавшей процессией, и пошла по той же дороге на некотором расстоянии от всадников, ехавших позади повозки. Вдруг она вспомнила, как кто-то сказал «гильотина». «Гильотина», — подумала она; дикарка Мишель Флешар не знала, что это такое, но внутреннее чутье подсказало ей истину; сама не понимая почему, она задро-

жала всем телом, ей показалось вдруг невысказанно страшным идти следом за этим, и она свернула влево, сошла с проселочной дороги и углубилась в чащу Фужерского заповедника.

Проблуждав некоторое время по лесу, она заметила на опушке колокольню, крыши деревни и направилась туда. Ее мучил голод.

В этой деревне, как и в некоторых других, был расквартирован республиканский сторожевой отряд.

Она добралась до площади, где высилось здание мэрии.

И в этом селении тоже царили волнение и страх. Перед входом в мэрию у каменного крыльца толпился народ. На крыльцо вышел какой-то человек под эскортом солдат и развернул огромный лист бумаги. Справа от этого человека стоял барабанщик, а слева расклейщик объявлений с горшком клея и кистью.

На балкончике, расположенном над крыльцом, появился мэр в трехцветном шарфе, повязанном поверх крестьянской одежды.

Человек с объявлением в руках был глашатай.

К его перевязи была прикреплена сумка — знак того, что ему вменяется в обязанность обходить село за селом с различными оповещениями.

В ту самую минуту, когда Мишель Флешар приблизилась к крыльцу, глашатай развернул объявление и начал читать. Он громко провозгласил:

— «Французская республика единая и неделимая».

Тут барабанщик отбил дробь. По толпе прошло движение. Кто-то снял с головы колпак; кто-то еще глубже нахлобучил на лоб шляпу. В те времена и в тех краях не составляло особого труда определить политические взгляды человека по его головному убору: в шляпе — роялист, в колпаке — республиканец. Невнятный ропот толпы смолк, все прислушалось, и глашатай стал читать дальше:

— «...В силу приказов и полномочий, данных нам, делегатам, Комитетом общественного спасения...»

Снова раздалась барабанная дробь. Глашатай продолжал:

— «...и во исполнение декрета, изданного Конвентом и объявляющего вне закона всех мятежников, захваченных с оружием в руках, и карающего высшею мерой вся-

кого, кто укрывает мятежников или способствует их побегу...»

Какой-то крестьянин вполголоса спросил соседа:

— Что это такое: высшая мера?

А сосед ответил:

— Не знаю.

Глашатай взмахнул бумагой и продолжал:

— «...Согласно статье семнадцатой закона от тридцатого апреля, облакающего неограниченной властью делегатов и их помощников, борющихся с мятежниками, объявляются вне закона лица...»

Он выдержал паузу и продолжал:

— «...имена и клички коих приводятся ниже...»

Все прислушались.

Голос глашатая гремел теперь как гром:

— «...Лантенак, разбойник...»

— Да это наш сеньор! — прошептал кто-то из крестьян.

И по толпе пробежал шепот:

— Наш сеньор!

Глашатай продолжал:

— «...Лантенак, бывший маркиз, разбойник. Иманус, разбойник...»

Двое крестьян украдкой переглянулись:

— Гуж-ле-Брюан.

— Да это Синебой!

Глашатай читал дальше:

— «...Гран-Франкер, разбойник...»

Снова послышался шепот:

— Священник.

— Да, аббат Тюρμο.

— Приход его тут недалеко, около Шапеля; он священник.

— И разбойник,— добавил какой-то человек в колпаке.

А глашатай читал:

— «...Буануво, разбойник. Два брата Деревянные Копья, разбойники. Узар — разбойник...»

— Это господин де Келен,— пояснил какой-то крестьянин.

— «...Панье, разбойник...»

— Это господин Сефер.

— «...Плас-Нетт, разбойник...»

— Это господин Жамуа.

Глашатай продолжал чтение, не обращая внимания на комментарии слушателей.

— «...Гинуазо, разбойник. Шатенэ, кличка Роби, разбойник...»

Какой-то крестьянин шепнул другому:

— Гинуазо — еще его зовут Белобрысый, а Шатенэ — из Сент-Уэна.

— «...Уанар, разбойник...» — выкрикивал глашатай.

В толпе зашумели:

— Он из Рюйе.

— Правильно, это Золотая Ветка.

— У него еще брата убили при Понторсоне.

— Того звали Уанар-Малоньер.

— Хороший был парень, всего девятнадцать минуло.

— А ну, тише! — крикнул глашатай. — Скоро конец. «...Бельвинь, разбойник. Ла Мюзет, разбойник. Круши-всех, разбойник. Любовинка, разбойник...»

Какой-то парень толкнул девушку локтем в бок. Девушка улыбнулась.

Глашатай заканчивал список:

— «...Зяблик, разбойник. Кот, разбойник...»

Крестьянин в толпе пояснил:

— Это Мулар.

— «...Табуз, разбойник...»

Другой добавил:

— А это Гоффр.

— Их, Гоффров, двое, — заметила женщина.

— Два сапога пара, — буркнул ей в ответ парень.

Глашатай тряхнул бумагой, а барабанщик пробил дробь.

Глашатай продолжал:

— «...Где бы ни были обнаружены все вышепоименованные, после установления их личности они будут немедленно преданы смертной казни...»

По толпе снова прошло движение.

А глашатай дочитал последние строки:

— «...Всякий, кто предоставит им убежище или поможет им бежать, будет предан военно-полевому суду и приговорен к смертной казни. Подписано...»

Толпа затаила дыхание.

— «...подписано: делегат Комитета общественного спасения Симурдэн».

— Священник,— сказал кто-то из крестьян.

— Бывший кюре из Паринье,— подтвердил другой.

А какой-то буржуа заметил:

— Вот вам, пожалуйста, Тюρμο и Симурдэн. Белый священник и синий священник.

— Оба черные,— сказал другой буржуа.

Мэр, стоявший на балкончике, приподнял шляпу и прокричал:

— Да здравствует республика!

Барабанная дробь известила слушателей, что чтение еще не окончено. И в самом деле, глашатай поднял руку.

— Внимание! — крикнул он.— Вот еще последние четыре строчки правительственного объявления. Подписаны они командиром экспедиционного отряда Северного побережья, то есть командиром Говэном.

— Слушайте! — пронеслось по толпе.

И глашатай прочел:

— «...Под страхом смертной казни...»

Толпа притихла.

— «...запрещается оказывать, согласно вышеприведенному приказу, содействие и помощь девятнадцати вышепоименованным мятежникам, которые в настоящее время захвачены и осажены в башне Тург».

— Как? — раздался голос.

То был женский голос. Голос матери.

III

Крестьяне ропщут

Мишель Флешар смешалась с толпой. Она не слушала глашатая, но иногда и не слушая слышишь. Она услышала слово «Тург» — и встрепелась.

— Как! — спросила она.— В Турге?

На нее оглянулись. Казалось, она в беспамятстве. Она была в рубище. Кто-то охнул:

— Вот уж и впрямь разбойница.

Какая-то крестьянка, державшая в руке корзину с лепешками из гречневой муки, подошла к Мишели и шепнула:

— Замолчите.

Мишель Флешар растерянно взглянула на крестьян-

ку. Она опять ничего не поняла. Слово «Тург» молнией озарило ее сознание, и вновь все заволокло мраком. Разве она не имеет права спросить? И почему все на нее так уставились?

Между тем барабанщик в последний раз отбил дробь, расклейщик приклеил к стене объявление, мэр удалился с балкончика, глашатай проследовал в соседнее селение, и толпа разбрелась по домам.

Только несколько человек задержались перед объявлением. Мишель Флешар присоединилась к ним.

Говорили о людях, чьи имена были в списке объявленных вне закона.

Перед объявлением стояли крестьяне и буржуа, иначе говоря — белые и синие.

Разглагольствовал какой-то крестьянин:

— Все равно всех не переловишь. Девятнадцать — это и будет девятнадцать. Приу они не поймали, Бенжамена Мулена не поймали, Гупиля из прихода Андуйе не поймали.

— И Лориеля из Монжана не поймали, — подхватил другой.

Тут заговорили все разом:

— И Бриса Дени тоже.

— И Франсуа Дюдюэ.

— Да, он из Лаваля.

— И Гю из Лонэ-Вилье.

— И Грежи.

— И Пилона.

— И Фийеля.

— И Менисана.

— И Гегарре.

— И трех братьев Ложре.

— И господина Лешанделье из Пьервиля.

— Дурачье! — вдруг возмутился какой-то седовласый старик. — Поймали Лантенака, — считай, всех поймали.

— Да они и Лантенака-то пока не поймали, — пробормотал кто-то из парней.

Старик возразил:

— Возьмут Лантенака — значит, самую душу возьмут. Умрет Лантенак — всей Вандее конец.

— Кто это такой — Лантенак? — спросил один из буржуа.

— Так, из бывших,— ответил другой.

А еще кто-то добавил:

— Из тех, кто женщин расстреливает.

Мишель Флешар услышала эти слова и сказала:

— Верно!

Все оглянулись в ее сторону.

А она добавила:

— Меня вот он расстрелял.

Это прозвучало странно; будто живая выдавала себя за мертвую. Все с недоверием уставились на нее.

Действительно, вид ее внушал тревогу: эта дрожь, трепет, звериный страх,— она была так напугана, что пугала других. В отчаянии женщины страшит именно ее беспомощность. Словно сама судьба толкает ее к краю бездны. Но крестьяне смотрят на все много проще. Кто-то в толпе буркнул:

— Уж не шпионка ли она?

— Да замолчите вы и уходите подобру-поздорову! — шепнула Мишели все та же крестьянка с корзинкой.

— Я ведь ничего плохого не делаю. Я только своих детей ищу.

Добрая крестьянка оглядела тех, кто глядел на Мишель Флешар, показала пальцем на лоб и, подмигнув ближайшим соседям, сказала:

— Разве не видите? Блажная.

Потом она отвела Мишель Флешар в сторону и дала ей гречневую лепешку.

Мишель, не поблагодарив, жадно начала есть.

— И впрямь блажная,— рассудили крестьяне.— Ест, что твой зверь.

И толпа разбрелась. Люди расходились поодиночке.

Когда Мишель Флешар расправилась с лепешкой, она сказала крестьянке:

— Вот и хорошо, теперь я сыта. А где Тург?

— Опять она за свое! — воскликнула крестьянка.

— Мне непременно надо в Тург. Скажите, как пройти в Тург?

— Ни за что не скажу,— ответила крестьянка.— Что-бы вас там убили, так, что ли? Да я и сама толком не знаю. А вы вправду сумасшедшая! Послушайте меня, бедняжка, вы ведь еле на ногах стоите. Пойдемте ко мне, хоть отдохнете, а?

— Я не отдыхаю,— ответила мать.

— Ноги-то все в кровь разбила,— прошептала крестьянка.

А Мишель Флешар продолжала:

— Я ведь вам говорю, что у меня украли детей. Девочку и двух мальчиков. Я из леса иду, из землянки. Справьтесь обо мне у бродяги Тельмарша-Нищebroда или у человека, которого я в поле встретила. Нищebroд меня и вылечил. У меня кость какая-то сломалась. Все, что я сказала, правда, все так и было. А потом есть еще сержант Радуб. Можете у него спросить. Он скажет. Это он нас в лесу нашел. А их трое. Трое детей. Старшенького зовут Рене-Жан. Я могу все доказать. Второго зовут Гро-Алэн, а младшую Жоржетта. Мой муж помер. Убили его. Он был батраком в Сискуаньяре. Я вижу, вы добрая женщина. Покажите мне дорогу. Не сумасшедшая я, я мать. Я детей потеряла. Я ищу их. Вот и все. Откуда я иду — сама не знаю. Эту ночь в сарае спала, на соломе. А иду я в Тург — вот куда. Я не воровка. Сами видите, я правду говорю. Неужели же мне так никто и не поможет отыскать детей? Я не здешняя. Меня расстреляли, а где — я не знаю.

Крестьянка покачала головой и сказала:

— Послушайте меня, странница. Сейчас революция, времена такие, что не нужно зря болтать, чего не понимаешь. А то, гляди, вас арестуют.

— Где Тург? — воскликнула мать.— Сударыня! Ради младенца Христа и пресвятой райской девы, прошу вас, сударыня, умоляю вас, закликаю всем святым, скажите мне: как пройти в Тург?

Крестьянка рассердилась.

— Да не знаю я! А если бы и знала, не сказала бы. Плохое там место. Нельзя туда ходить.

— А я пойду,— ответила мать.

И зашагала по дороге.

Крестьянка посмотрела ей вслед и проворчала:

— Есть-то ей надо.

Она догнала Мишель Флешар и сунула ей в руку гречневую лепешку:

— Хоть вечером перекусите.

Мишель Флешар молча взяла лепешку и пошла вперед, даже не обернувшись.

Она вышла за околицу. У последних домов деревни

она увидела трех босоногих оборванных ребятишек. Она подбежала к ним.

— Две девочки и мальчик,— вздохнула она.

Заметив, что ребятишки жадно смотрят на лепешку, она протянула ее им.

Дети взяли лепешку и испуганно бросились прочь.

Мишель Флешар углубилась в лес.

IV

Ошибка

В тот же самый день еще до восхода солнца, в полумраке леса, на проселочной дороге, что ведет от Жавенэ в Лекусс, произошло следующее.

Как и все дороги в Бокаже, дорога из Жавенэ в Лекусс лежит меж двух высоких откосов. К тому же она извилистая: скорее овраг, нежели настоящая дорога. Ведет она из Витрэ,— это ей выпала честь трясти на своих ухабах карету госпожи де Севиньи. По обеим сторонам стеной подымается живая изгородь. Нет лучшего места для засады.

Утром, за час до того как Мишель Флешар, выйдя с другого конца леса, подошла к деревне и мимо нее промелькнула, словно зловещее видение, повозка под охраной жандармов, в лесной чаще, там, где жавенэйский проселок ответвляется от моста через Куэнон, копошились какие-то люди. Густые ветви скрывали их. Люди эти были крестьяне в широких пастушьих плащах из грубой шерсти, в какую облакались в VI веке бретонские короли, а в XVIII — бретонские крестьяне. Люди эти были вооружены — кто карабином, кто дрекольем. Дрекольщики натаскали на полянку груды хвороста и сухого кругляка, так что в любую минуту можно было развести огонь. Карабинщики залегли в ожидании по обеим сторонам дороги. Тот, кто заглянул бы под листву, увидел бы пальцы на взведенных курках и дула карабинов, которые торчали сквозь природные бойницы, образованные сеткой сплетшихся ветвей. Это была засада. Все дула смотрели в сторону дороги, которая смутно белела в свете зари.

В предраассветной мгле негромко перекликались голоса:

- А точно ли ты знаешь?
- Да. Так говорят.
- Стало быть, именно здесь и провезут?
- Говорят, она где-то поблизости.
- Ничего, здесь и останется, дальше не уедет.
- Сжечь ее!
- А как же иначе? Зря, что ли, нас три деревни собралось.
- А с охраной как быть?
- Охрану прикончим.
- Да этой ли дорогой она пойдет?
- Слыхать, этой.
- Стало быть, она из Витрэ идет?
- А почему бы и не из Витрэ?
- Ведь говорили, из Фужера.
- Из Фужера ли, из Витрэ ли, все едино,— от самого дьявола она едет.
- Что верно, то верно.
- Пускай обратно к дьяволу и убирается.
- Верно.
- Значит, она в Паринье едет?
- Выходит, что так.
- Не доехать ей.
- Не доехать.
- Ни за что не доехать!
- Тише вы!

И действительно, пора было замолчать, так как уже начинался рассвет.

Вдруг сидевшие в засаде крестьяне затаили дыхание: до их слуха донесся грохот колес и ржание лошадей. Осторожно раздвинув кусты, они увидели между высокими откосами длинную повозку и вокруг нее конных стражников; на повозке лежало что-то громоздкое; весь отряд двигался прямо в лапы засаде.

— Она! — произнес какой-то крестьянин, по всей видимости, начальник.

— Она самая! — подтвердил один из дозорных.— И верховые при ней.

- Сколько их?
- Двенадцать.
- А говорили, будто двадцать.
- Дюжина или два десятка — убьем всех.
- Подождем, пока они поближе подъедут.

Вскоре из-за поворота показалась повозка, окруженная верховыми стражниками.

— Да здравствует король! — закричал вожак крестьянского отряда.

Раздался залп из сотни ружей.

Когда дым рассеялся, оказалось, что рассеялась и стража. Семь всадников лежали на земле, пять успели скрыться. Крестьяне бросились к повозке.

— Черт! — крикнул вожак. — Да никакая это не гильотина. Обыкновенная лестница.

И в самом деле, на повозке лежала длинная лестница.

Обе лошади были ранены, возчик убит шальной пулей.

— Ну да все равно, — продолжал вожак, — раз лестницу под такой охраной везут, значит, тут что-то неспроста. И везли ее в сторону Паринье. Видно, для осады Турга.

— Сжечь лестницу! — завопили крестьяне.

И они сожгли лестницу.

А злобедная повозка, которую они поджидали здесь, проехала другой дорогой и находилась сейчас впереди в двух милях, в той самой деревушке, где при первых лучах солнца ее увидела Мишель Флешар.

V

Vox in deserto ¹

Отдав ребятишкам последний кусок хлеба, Мишель Флешар тронулась в путь — она шла куда глаза глядят, прямо через лес.

Раз никто не желал показать ей дорогу, что ж — она сама ее отыщет! Временами Мишель садилась отдохнуть, потом с трудом подымалась, потом снова садилась. Ее одолевала та недобрая усталость, которая сначала гнездится в каждом мускуле тела, затем поражает кости, — извечная усталость раба. Она и была рабой. Рабой своих пропавших детей. Их надо было отыскать. Каждая упущенная минута грозила им гибелью; на ком лежит подобная обязанность, не имеет никаких прав; даже перевести дыхание и то запрещено. Но мать слишком устала! Есть такая степень изнеможения, когда при каждом следующем шаге спрашиваешь себя: шагну,

¹ Глас в пустыне (лат.).

не шагну? Она шла с самой зари; теперь ей уже не попадались ни деревни, ни одинокие хижины. Сначала она направилась по верному пути, потом сбилась с пути и в конце концов запуталась среди неотличимо схожих кустов. Приближалась ли она к цели? Скоро ли конец крестному ее пути? Она шла тернистой тропой и ощущала нечеловеческую усталость, предвестницу конца странствий. Ужели она упадет прямо здесь на землю и испустит дух? Вдруг ей показалось, что она не делает больше ни шага; солнце клонилось к закату, в лесу было темно, тропинку поглотила густая трава, и мать остановилась в нерешительности. Только один у нее остался защитник — господь бог. Она крикнула, но никто не отозвался.

Она оглянулась вокруг, заметила среди ветвей просвет, направилась в ту сторону и вдруг очутилась на опушке леса.

Перед ней лежала узкая, как ров, теснина, на дне которой по каменистому ложу бежал прозрачный ручеек. Тут только она поняла, что ее мучит жажда. Она направилась к ручейку, стала на колени и напилась.

А опустившись на колени, заодно уж и помолилась богу.

Поднявшись, она огляделась в надежде увидеть дорогу.

Она перебралась через ручей.

За тесниной, насколько хватал глаз, расстилалось поросшее мелким кустарником плоскогорье, которое отлого подымалось по ту сторону ручейка и заслоняло горизонт. Лес был уединением, а плоскогорье — пустыней. В лесу за каждым кустом можно встретить живое существо; на плоскогорье взгляд напрасно искал признаков жизни. Только птицы, словно испугнутые, выпархивали из вересковых зарослей.

Со страхом озирая бескрайнюю пустынную даль, чувствуя, что у нее мутится рассудок и подгибаются колени, обезумевшая от горя мать крикнула, обращаясь к пустыне, и странен был ее крик:

— Есть здесь кто-нибудь?

Она ждала ответа.

И ей ответили.

Раздался глухой утробный глас: он шел откуда-то издалека, его подхватило и донесло сюда эхо; будто вне-

запно ухнул гром, а может быть, пушка, и, казалось, голос этот ответил на вопрос несчастной матери: «Да».

Потом все смолкло.

Мать поднялась; она приободрилась: значит, здесь есть кто-то; отныне она сможет обращаться к нему, говорить с ним; она напилась из ручья и помолилась; силы возвращались к ней, и она стала взбираться туда, откуда раздался глухой, но могучий зов.

Вдруг в самой глубине горизонта выросла высокая башня. Только эта башня и возвышалась среди одичалых полей; закатный багровый луч осветил ее. До башни оставалось не менее одного лье. А позади в предвечерней дымке смутным зеленым пятном вставал Фужерский лес.

Башня стояла как раз в той стороне, откуда до уха матери донесся голос, прозвучавший как зов. Не из башни ли шел этот гром?

Мишель Флешар добралась до вершины плоскогорья; теперь перед ней расстилалась равнина.

Мать зашагала по направлению к башне.

VI

Положение дел

Час настал.

Неумолимая сила держала в своих руках силу безжалостную.

Лантенак был в руках Симурдэна.

Старый роялист, мятежник Лантенак попался в своем логове; он уже не мог ускользнуть; и Симурдэн решил, что маркиз будет казнен в своем же собственном замке, тут же на месте, на собственной своей земле и даже в своем собственном доме, пусть стены феодального жилища станут свидетелями того, как слетит с плеч голова феодала, и пусть урок этот не забудется.

Потому-то он и послал в Фужер за гильотиной. Мы только что видели ее в пути.

Убить Лантенака — значило убить Вандею; убить Вандею — значило спасти Францию. Симурдэн не колебался. Этот человек был в родной стихии, когда выполнял свой жестокий долг.

Маркиз обречен; на этот счет Симурдэн был спокоен, его тревожило другое. Их ждет, разумеется, кровавая схватка; возглавит ее Говэн и, чего доброго, бросится в самую гущу; в этом молодом полководце живет душа солдата; такие люди первыми кидаются врукопашную; а вдруг его убьют? Убьют Говэна, убьют его дитя! Единственное, что любит он, Симурдэн, на этой земле. До сего дня Говэну сопутствовала удача, но удача своенравна. Симурдэн трепетал. Странный выпал ему удел — он находился меж двух Говэнов, он жаждал смерти для одного и жаждал жизни для другого.

Пушечный выстрел, разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и призвавший мать из глубин ее одиночества, имел не только эти последствия. То ли случайно, то ли по прихоти наводчика ядро, которое должно было лишь предупредить врага, ударило в железную решетку, прикрывавшую и маскировавшую бойницу во втором ярусе башни, исковеркало ее и вырвало из стены. Осажденные не успели заделать новую брешь.

Вандейцы зря хвалились — боевых припасов у них оставалось в обрез. Положение их, повторяем, было куда плачевнее, чем предполагали нападающие. Будь у осажденных достаточно пороха, они взорвали бы Тург, самих себя, неприятеля — такова была их мечта; но все их запасы истощились. На каждого стрелка приходилось патронов по тридцати, если не меньше. Ружей, мушкетонов и пистолетов имелось в избытке, зато пуль не хватало. Вандейцы зарядили все ружья, чтобы вести непрерывный огонь; но как долго придется его вести? Требовалось поддерживать огонь и вместе с тем помнить, что уже нечем его поддерживать. В этом-то и заключалась трудность. К счастью, — если только бывает гибельное счастье, — бой неминуемо перейдет врукопашную; сабля и кинжал заменят ружье. Придется колоть, а не стрелять. Придется действовать холодным оружием; только на этом и покоились все их надежды.

Изнутри башня казалась неуязвимой. В нижнем зале, куда вела брешь, устроили редюит, вернее, баррикаду, возведением которой искусно руководил сам Лантенак; баррикада эта преграждала вход врагу. Позади редюита, на длинном столе, разложили заблаговременно заряженное оружие — пищали, мушкетоны, карабины, а также сабли, топоры и кинжалы. Так как не

представлялось возможным воспользоваться для взрыва башни подземной темницей, маркиз приказал загородить дверь, ведущую в подвал. На втором ярусе башни, прямо над нижним залом, была расположена огромная круглая комната, куда попадали по узенькой винтовой лестнице; и здесь, как и в зале, стоял стол, заваленный оружием, так что стоило только протянуть руку и взять любое на выбор,— свет падал сюда из большой бойницы, с которой ядром только что сорвало железную решетку; из этой комнаты другая винтовая лестница вела в такой же круглый зал на третьем этаже, где находилась железная дверь, соединявшая башню с замком на мосту. Этот зал обычно называли «залом с железной дверью», или зеркальным, ибо здесь по голым каменным стенам на ржавых гвоздях висели зеркала — причудливая уступка варварства изяществу. Верхние залы защищать было бесполезно, так что «зеркальный» являлся, следуя Манессону-Малле, непрекаемому авторитету в области фортификации, «последним убежищем, где осажденные сдаются врагу». Как мы уже говорили, задача заключалась в том, чтобы любой ценой помешать неприятелю сюда проникнуть.

Зал третьего этажа освещался через бойницы; однако и сюда тоже внесли факел. Факел этот, вставленный в железную скобу, точно такую же, как и в нижнем помещении, собственноручно зажег Иманус, он же прикрепил рядом с факелом конец пропитанного серой шнура. Страшное усердие.

В глубине нижнего зала на длинных козлах поставили еду, словно в пещере Полифема,— огромные блюда с вареным рисом, похлебку из ржаной муки, рубленую телятину, пироги, компоты и кувшины с сидром. Ешь и пей сколько душе угодно.

Пушечный выстрел поднял всех на ноги. Времени оставалось всего полчаса.

Взобравшись на верх башни, Иманус зорко следил за передвижением неприятеля. Лантенак приказал не открывать пока огня и дать штурмующим возможность подойти ближе. Он заключил:

— Их четыре с половиной тысячи человек. Убивать их на подступах к башне бесполезно. Убивайте их только здесь. Здесь мы добьемся равенства сил.

И добавил со смехом:

— Равенство, братство!

Было условлено, что, когда начнется движение противника, Иманус протрубит сигнал.

Осажденные молча ждали; кто стоял позади редюнта, кто занял позицию на ступеньках винтовой лестницы, положив одну руку на курок мушкетона и зажав в другой четки.

Положение теперь прояснилось и сводилось к следующему.

Нападающим оставалось проникнуть под градом пуль в пролом, под градом пуль опрокинуть редюнт, взять с бою три расположенных один под другим залы, отвоевать ступеньку за ступенькой две винтовые лестницы; осажденным оставалось умереть.

VII

Переговоры

Готовился к штурму башни и Говэн. Он отдавал последние распоряжения Симурдэну, который, как помнит читатель, не принимал участия в деле, так как должен был охранять плоскогорье, равно как и Гешану, которому передали командование над главной массой войск, остававшихся пока на опушке леса. Было решено, что и нижняя батарея, установленная в лесу, и верхняя, установленная на плоскогорье, откроют огонь лишь в том случае, если осажденные решатся на вылазку или предпримут попытку к бегству. За собой Говэн оставил командование отрядом, идущим на штурм. Это-то и тревожило Симурдэна.

Солнце только что закатилось.

Башня, возвышающаяся среди пустынных пространств, подобна кораблю в открытом море. Поэтому штурм ее напоминает морской бой. Это скорее абордаж, нежели атака. Пушки безмолвствуют. Ничего лишнего. Что даст обстрел стен в пятнадцать футов толщины? Борт пробит, одни пытаются пробраться в брешь, другие ее защищают, и тут уже в ход идут топоры, ножи, пистолеты, кулаки и зубы. Так развиваются события.

Говэн чувствовал, что иначе Тургом не овладеть. Нет кровопролитнее боя, чем бой лицом к лицу. И Го-

вэн знал, как неприступна башня, ибо жил здесь ребенок. Он погрузился в глубокое раздумье.

Между тем Гешан, стоявший в нескольких шагах от командира, пристально глядел в подзорную трубу в сторону Паринье. Вдруг он воскликнул:

— А! Наконец-то!

Говэн встрепнулся:

— Что там такое, Гешан?

— Лестницу везут, командир.

— Спасательную лестницу?

— Да.

— Неужели до сих пор ее не привезли?

— Нет, командир. Я и сам уж забеспокоился. Нарочный, которого я отрядил в Жавенэ, давно возвратился.

— Знаю.

— Он сообщил, что обнаружил в Жавенэ лестницу нужной длины, что он ее реквизировал, велел погрузить на повозку, приставил к ней стражу — двенадцать верховых — и убедился, что повозка, верховые и лестница отбыли в Паринье. После чего он прискакал сюда.

— И доложил нам о своих действиях. Он добавил, что в повозку впрягли добрых коней и выехали в два часа утра, следовательно, должны быть здесь к заходу солнца. Все это я знаю. Ну, а дальше что?

— А дальше то, командир, что солнце садится, а повозки с лестницей еще нет.

— Да как же так? Ведь пора начинать штурм. Уже время. Если мы замешкаемся, осажденные решат, что мы струсили.

— Можно начинать, командир.

— Но ведь нужна лестница.

— Конечно, нужна.

— А у нас ее нет.

— Она есть.

— Как так?

— Не зря же я закричал: наконец-то! Вижу, повозки все нет и нет; тогда я взял подзорную трубу и стал смотреть на дорогу из Паринье в Тург и, к великой своей радости, заметил повозку и стражников при ней. Вот она спускается с откоса. Хотите посмотреть?

Говэн взял из рук Гешана подзорную трубу и поднес к глазам.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть третья.* В Вандее.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть третья.* В Вандее.

— Верно. Вот она. Правда, уже темнеет и плохо видно. Но охрану я вижу. Только знаете, Гешан, что-то людей больше, чем вы говорили.

— Да, что-то многовато.

— Они приблизительно за четверть лье отсюда.

— Лестница, командир, будет через четверть часа.

— Можно начинать штурм.

И в самом деле, по дороге двигалась повозка, но не та, которую с таким нетерпением ждали в Турге.

Говэн обернулся и заметил сержанта Радуба, — тот стоял, вытянувшись по всей форме, опутив, как и положено по уставу, глаза.

— Что вам, сержант Радуб?

— Гражданин командир! Мы, то есть солдаты батальона Красный Колпак, хотим вас просить об одной милости.

— О какой милости?

— Разрешите сложить голову в бою.

— А! — произнес Говэн.

— Что ж, будет на то ваша милость?

— Это... смотря по обстоятельствам, — ответил Говэн.

— Да как же так, гражданин командир? После Дольского дела уж слишком вы нас бережете. А нас ведь еще двенадцать человек.

— Ну и что же?

— Унизительно это для нас.

— Вы находитесь в резерве.

— А мы предпочитаем находиться в авангарде.

— Но вы понадобится мне позже, в конце операции, для решительного удара. Поэтому я вас и берегу.

— Слишком уж бережете.

— Ведь это все равно. Вы в строю. Идете в одной колонне со всеми.

— Идем, да сзади. А парижане вправе идти впереди.

— Я подумаю, сержант Радуб.

— Подумайте сейчас, гражданин командир. Случай уж очень подходящий. Нынче самый раз — свою голову сложить или чужую с плеч долой снести. Дело будет горячее. К башне Тург так просто не притронешься, руки обожжешь. Сделайте милость — пустите нас первыми.

Сержант помолчал, покрутил ус и добавил взволнованно:

— А кроме того, гражданин командир, в этой башне наши ребята. Там наши дети, батальонные, трое наших малюток. И эта гнусная харя Грибуй — «В зад меня поцелуй», он же Синемой, он же Иманус, ну, словом, этот самый Гуж-ле-Брюан, этот Буж-ле-Грюан, этот Фуж-ле-Трюан, эта сатана треклятая, грозитя наших детей погубить. Наших детей, наших крошек, командир. Да пусть хоть все громы небесные грянут, не допустим мы, чтобы с ними беда приключилась. Слышите, командир? Не допустим. Вот сейчас, пока еще тихо, я взобрался на откос и посмотрел на них в окошко; они и верно там, их хорошо видно с плоскогорья, я их видел и, представьте, напугал малюток. Так вот, командир, если с ангельских их головенок хоть один волос упадет, клянусь вам всем святым, я, сержант Радуб, доберусь до потрохов отца предвечного. И вот что наш батальон заявляет: «Мы желаем спасти ребятшек или умрем все до одного». Это наше право, черт побери, наше право — умереть. А засим — привет и уважение.

Говэн протянул Радубу руку и сказал:

— Вы молодцы. Вы пойдете в первых рядах штурмующих. Я разделю вас на две группы. Шесть человек прикомандирую к передовому отряду, чтобы вести остальных, а пятерых к арьергарду, чтобы никто не смел отступить.

— Всеми двенадцатью командовать буду по-прежнему я?

— Конечно.

— Ну, спасибо, командир. Стало быть, я пойду впереди.

Радуб отдал честь и вернулся в строй.

Говэн вынул из кармана часы, шепнул несколько слов на ухо Гешану, и колонна нападающих начала строиться в боевом порядке.

VIII

Речь и рык

Тем временем Симурдэн, который еще не занял своего поста на плоскогорье и не отходил от Говэна, вдруг подошел к горнисту.

— Поддай сигнал! — скомандовал он.

Горнист заиграл, ему ответил рожок.

И снова горн и рожок обменялись сигналами.

— Что такое? — спросил Говэн Гешана. — Что это Симурдэн задумал?

А Симурдэн уже шел к башне с белым платком в руках.

Приблизившись к ее подножию, он крикнул:

— Люди, засевшие в башне! Знаете вы меня?

С вышки ответил чей-то голос — голос Имануса:

— Знаем.

Началась беседа: голос снизу спрашивал, сверху отвечал.

— Я посланец Республики.

— Ты бывший кюре из Паринье.

— Я делегат Комитета общественного спасения.

— Ты священник.

— Я представитель закона.

— Ты предатель.

— Я революционный комиссар.

— Ты расстрига.

— Я Симурдэн.

— Ты сатана.

— Вы меня знаете?

— Мы тебя ненавидим.

— Вам хотелось бы, чтобы я предался в ваши руки?

— Да мы все восемнадцать голову сложим, лишь бы твою с плеч снять.

— Вот и прекрасно, предаюсь в ваши руки.

На верху башни раздался дикий хохот и возглас:

— Иди!

В лагере воцарилась глубочайшая тишина — тишина ожидания.

Симурдэн продолжал:

— Но при одном условии.

— Каком?

— Слушайте.

— Говори.

— Вы меня ненавидите?

— Ненавидим.

— А я вас люблю. Я ваш брат.

— Да ты Каин.

Симурдэн продолжал голосом громким и в то же время кротким:

— Оскорбляй, но выслушай. Я пришел к вам в качестве парламентаря. Да, вы мои братья. Вы несчастные, заблудшие люди. Я ваш друг. Я говорю вам, как свет говорит со тьмой. А братство и есть свет. Да разве мы с вами не дети одной матери — нашей родины? Так слушайте же. Придет время, и вы поймете, или ваши дети поймут, или дети ваших детей поймут, что все, что творится ныне, свершается во имя законов, данных свыше, и что в революции проявляет себя воля бога. Пока не наступит то время, когда все умы, даже ваши, уразумеют истину и всяческий фанатизм, даже ваш, исчезнет с лица земли, пока, повторяю, не воссияет этот великий свет, кто сжалится над вашей темнотой? Я сам пришел к вам, я предлагаю вам свою голову; больше того, протягиваю вам руку. Я как милости прошу: отнимите у меня жизнь, ибо я хочу спасти вас. Я наделен всеми полномочиями и могу выполнить то, что пообещаю. Наступила решительная минута; я делаю последнюю попытку. Да, с вами говорит гражданин, но в этом гражданине — тут вы не ошиблись — жив священнослужитель. Гражданин воюет с вами, а священник молит вас. Выслушайте меня. У многих из вас жены и дети. Я беру на себя охрану ваших детей и жен. Я защищаю их от вас же самих. О братья мои...

— А ну-ка попроповедуй еще! — насмешливо крикнул Иманус.

Симурдэн продолжал:

— Братья мои! Не допустите, чтобы пробил час отвратительной бойни. Близится миг кровопролитной схватки. Многие из нас, что стоят здесь перед вами, не увидят завтрашнего рассвета; да, многие из нас погибнут, но вы, вы умрете все. Так пощадите же самих себя. К чему проливать напрасно столько крови? К чему убивать столько людей, когда можно убить всего двух?

— Двух? — переспросил Иманус.

— Да, двух.

— А кого?

— Лантенака и меня.

Симурдэн возвысил голос:

— Два человека здесь лишние: Лантенак для нас, я для вас. Так вот что я вам предлагаю, и это спасет вашу жизнь: выдайте нам Лантенака и возьмите меня.

Лантенак будет гильотинирован, а со мной сделаете все, что вам будет угодно.

— Да мы тебя живьем зажарим, поп! — заревел Иманус.

— Согласен, — ответил Симурдэн, и он продолжал: — Вы обречены на смерть в этой башне, а я предлагаю вам жизнь и свободу. Я несу вам спасение. Согласны?

Иманус захохотал.

— Ты не только негодяй, но и сумасшедший. Зачем ты нас беспокоишь зря? Кто тебя просил с нами разговаривать? Чтобы мы выдали маркиза? Чего ты хочешь?

— Его голову. А вам предлагаю...

— Свою шкуру. Ведь мы с тебя, как с паршивого пса, шкуру спустим, кюре Симурдэн. Да нет, не выйдет, твоя шкура против его головы не потянет. Убирайся.

— Бой будет ужасен. В последний раз говорю: подумайте хорошенько.

Пока шла эта мрачная беседа, каждое слово которой четко слышалось и внутри башни и в лесу, спустилась ночь. Маркиз де Лантенак молчал, предоставляя действовать другим. Военачальникам свойствен зловеший эгоизм. Это право тех, на ком лежит ответственность.

Иманус заговорил, заглушая слова Симурдэна:

— Люди, идущие на нас штурмом! Мы сообщили вам свои условия, они вам известны, и ничего мы менять не будем. Примите их, иначе раскаетесь. Согласны? Мы отдаем вам троих детей, которые находятся в замке, а вы выпускаете нас всех целыми и невредимыми.

— Всех, согласен, — ответил Симурдэн. — За исключением одного.

— Кого же?

— Лантенака!

— Нашего маркиза! Выдать вам маркиза! Ни за что на свете!

— Нам нужен Лантенак.

— Ни за что.

— Мы можем вести переговоры лишь при этом условии.

— Тогда начинайте.

Наступила тишина.

Иманус, протрубив сигнал сбора, сошел вниз; Лантенак взялся за шпагу; все девятнадцать осажденных молча зашли за редюит и опустились на колени; до них

доносился мерный шаг передового отряда, продвигавшегося в темноте к башне. Шум все приближался; вдруг вандейцы угадали, что враг достиг самого пролома. Тогда мятежники, не подымаясь с колен, припали к бойницам, оставленным в редюнте, вскинули к плечу ружья и мушкетоны, а Гран-Франкер, он же священник Тюрмо, встал во весь свой рост и, держа в правой руке саблю, а в левой распятие, торжественно провозгласил: — Во имя отца и сына и святого духа! Осажденные дали залп, и бой начался.

IX

Титаны против гигантов

Началось нечто неописуемо страшное.

Рукопашная в Турге превосходила все, что может представить себе человеческое воображение.

Чтобы дать о ней хоть слабое представление, пришлось бы вспомнить величественные картины единоборства у Эсхила или резню феодальных времен, те побоища «нож к ножу», которые происходили еще в XVII веке, когда наступающие проникали в крепость через пролом... Вспомнить те трагические схватки, о которых старик сержант из провинции Алентехо говорит: «Когда мины сделают свое дело, нападающие пойдут на штурм, опустив забрало, прикрываясь щитами и досками, обшитыми железом, вооруженные гранатами; они вытеснят врага из ретраншементов и редюитов, овладеют ими и продолжают неудержимое наступление».

Уже само место боя внушало ужас; битва разыгрывалась в проломе, который на военном языке зовется «подсводная брешь», ибо, если читатель помнит, стена треснула, но не раскололась пополам. Порох в данном случае сыграл роль бурава. Действие мины было столь сильно, что по стене прошла трещина, достигшая сорока футов высоты над местом взрыва, но это была лишь трещина, а единственное отверстие, которое отвечало своему назначению и позволяло проникнуть внутрь башни в нижний зал, напоминало скорее узкий след копы, нежели щель от удара топором.

Это был прокол на теле башни, глубокий шрам, похожий на горизонтально прорытый колодезь или на

извилистый коридор, идущий вверх, некое подобие кишки, пропущенной через стену пятнадцатифутовой толщины, некий бесформенный цилиндр, где неприятеля ожидают препятствия, ловушки, взрывы: гранит здесь норовил разбить человеку лоб, щебень — засосать его по колено, а мрак — застлать ему глаза.

Перед штурмующими зияла черная арка, пасть бездны, ощерившейся острыми обломками камней, торчавшими снизу и сверху, как зубы в гигантской челюсти; пожалуй, акуля пасть не так зубаста, как эта страшная пробоина. Надо было войти в эту дыру и выйти из нее живым.

Тут рвалась картечь, там преграждал путь редюит, — там, то есть в зале нижнего этажа.

Только в подземных галереях, где саперы, подводящие мину, встречаются с вражеским отрядом, ставящим контрмину, только в трюмах взятого на абордаж корабля, где идут в ход топоры, только там бой достигает такого накала. Битва в глубине рва — это предельная степень ужасного. Чудовищная рукопашная под нависающим над головою сводом. В ту самую минуту, когда первая волна нападающих заполнила пролом, редюит засверкал молниями и глухо, словно под землей, проворчал гром. Грому осады ответил гром обороны. На эхо отвечало эхо; раздался крик Говэна: «Вперед!» Потом крик Лантенака: «Держитесь стойко!» Потом крик Имануса: «Ко мне, земляки!» Потом лязг скрещивающихся сабель, и один за другим — залпы ружей, несущие смерть. Факел, воткнутый в трещину стены, бросал слабый свет на эту ужасную картину. Все смешалось, все было окутано красноватым мраком, попавший сюда человек сразу глух и слеп, глух от шума, слеп от дыма. Раненые, уже неспособные сражаться, лежали среди обломков; атакующие шагали по трупам, скользили в крови, доламывая сломанные кости, с пола доносился вой, в ноги бойцов умирающие впивались зубами. Временами воцарялась тишина, еще более гнетущая, чем шум битвы. Грудь прижималась к груди, слышалось тяжелое дыхание, зубовный скрежет, предсмертный хрип, проклятья, и вновь все заглушалось раскатами грома. Из бреши струился ручеек крови, растекаясь по земле в ночном мраке. От темной лужи подымался пар.

Казалось, кровоточит сама башня — смертельно раненная великанша. Странно, но снаружи почти не было слышно отголосков боя. Ночь выдалась темная, над равниной и в лесу, подступавшем к башне, стояла зловещая тишина. Внутри был ад, снаружи безмолвие гробницы. Глухие звуки битвы, где люди уничтожали друг друга во мраке, мушкетные выстрелы, вопли, крики ярости — все эти шумы замирали под сводами, среди толщи стен; звуки слабели от недостатка воздуха, ужас резни усугублялся удушьем. Но грохот битвы почти не доносился наружу. Дети мирно спали в библиотеке.

Ожесточение нарастало. Редюит держался стойко. Труднее всего опрокинуть именно такой редюит со входящим углом. На стороне штурмующих было численное превосходство, зато на стороне осажденных — позиционное преимущество. Атакующие несли большой урон. Теснившаяся у подножия башни колонна республиканцев медленно просачивалась в зияющую брешь, укорачиваясь, как змея, вползающая в свою нору.

Говэн все время забывал о благоразумии, как то свойственно молодым полководцам, и, находясь в нижнем зале, в самой гуще схватки, не обращал внимания на свистевшие вокруг пули. Добавим, что, подобно многим счастливым, выходящим из боя без единой царапины, он верил в свою звезду.

Когда он обернулся, чтобы отдать приказание, раздался залп из мушкетов, и при вспышке огня рядом с собой он увидел знакомое лицо.

— Симурдэн! — вскричал он. — Что вы здесь делаете?

В самом деле это был Симурдэн. Симурдэн ответил:

— Я хочу быть рядом с тобой.

— Но ведь вас убьют.

— А ты сам зачем сюда пришел?

— Но я здесь нужен. А вы нет.

— Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь.

— Отнюдь нет, учитель.

— Да, дитя мое.

И Симурдэн остался рядом с Говэном.

На каменных плитах зала росла гряда трупов.

Хотя редюит еще держался, было очевидно, что более сильный числом противник победит. Правда, нападающие шли без всякого прикрытия, а осажденные укры-

лись, и на одного убитого вандейца приходилось десять убитых республиканцев, зато у них на месте павшего бойца вырастал десяток новых. Ряды республиканцев множились, а ряды осажденных таяли.

Все девятнадцать осажденных находились позади редюита, здесь и сосредоточился бой. У них были убитые и раненые. Сражалось не более пятнадцати человек. Один из самых свирепых вандейцев, Зяблик, был весь изувечен. Это был коренастый бретонец с курчавой шевелюрой, неугомонный и верткий коротышка. Ему выкололи глаз и раздробили челюсть. Но двигаться он еще мог. Он пополз вверх по винтовой лестнице и добрался до второго этажа, надеясь с молитвой отойти здесь к богу.

Он прислонился к стене, неподалеку от бойницы, и жадно вдыхал свежий воздух.

А внизу резня становилась все ожесточеннее. В минуту затишья, меж двух залпов, Симурдэн вдруг возвысил голос:

— Осажденные! Зачем дальше проливать кровь? Вы в наших руках. Сдавайтесь! Подумайте: ведь нас четыре с половиной тысячи против девятнадцати, другими словами, более двухсот на одного человека. Сдавайтесь!

— Прекратить эту комедию! — крикнул в ответ Лантенак.

И двадцать пуль ответили Симурдэну.

Верх редюита не доходил до свода, что давало осажденным возможность стрелять поверх редюита, зато нападающие могли взобраться на него.

— На приступ! — прокричал Говэн. — Есть охотники добровольно взобраться на редюит?

— Есть, — отозвался сержант Радуб.

Х

Радуб

При этих словах нападающие оцепенели от изумления. Радуб ворвался в пролом башни во главе колонны, шестым по счету; из шести человек, уцелевших от парижского батальона, четверо пали в бою. Закричав «есть», он, к удивлению присутствующих, и не подумал броситься к редюиту, а, наоборот, согнувшись, стал про-

бираться назад; скользя между ног своих товарищей, он добрался до устья бреша и вышел наружу. Неужели такой человек способен убежать с поля боя? Что все это значит?

Выйдя из-под свода, еще полуслепой от едкого дыма, Радуб протер глаза, словно желая прогнать прочь мрак и ужас, и при свете звезд оглядел стену башни. Потом удовлетворенно кивнул головой, словно говоря сам себе: «Да, я не ошибся».

Еще раньше Радуб заметил, что глубокая трещина, образовавшаяся после взрыва мины, шла вверх по стене вплоть до той бойницы второго яруса, в которую угодило ядро, повредив железную решетку и расширив отверстие. Наполовину вырванные из камня железные прутья свисали вниз, и теперь, пожалуй, человек мог проникнуть внутрь башни.

Человек мог проникнуть внутрь, но мог ли человек подняться? По трещине мог, но лишь при одном условии — стать кошкой.

Радуб ею стал. Он принадлежал к той породе людей, которых Пиндар именует «атлеты проворные». Можно быть старым воякой и не старым человеком; Радубу, бывшему рядовому французской гвардии, не исполнилось еще сорока лет. Это был Геркулес, наделенный ловкостью.

Радуб положил наземь мушкетон, снял кафтан и кожаное снаряжение, оставив при себе лишь два пистолета, которые он заткнул за пояс, и обнаженную саблю, которую он взял в зубы. Рукоятки пистолетов торчали из-за пояса.

Избавившись таким образом от всего лишнего, он под внимательным взглядом солдат, не успевших проникнуть в брешь, начал взбираться по камням, выступавшим по краям трещины, будто по ступенькам лестницы. Отсутствие сапог на сей раз пошло на пользу, босая нога, не в пример обутой, легко цепляется за любой выступ; Радуб просовывал пальцы ног в малейшую расселину. Он подтягивался на руках и удерживался на весу, упираясь коленями в края трещины. Подъем был труден. Вообразите, что человеку пришлось бы лезть вверх по зубьям бесконечно длинной пилы. «Хорошо еще,— думал Радуб,— что в зале наверху никого нет, а то ни за что бы мне не взобраться!»

Ему предстояло преодолеть не менее сорока футов. По мере подъема трещина становилась все уже, рукоятки пистолетов цеплялись за камни, что затрудняло продвижение. И чем глубже становилась бездна, тем более неминуемым казалось падение.

Наконец он добрался до края бойницы; он раздвинул прутья искалеченной и вывороченной из стены решетки, с силой подтянулся, уперся коленом о карниз, схватился правой рукой за уцелевший обломок решетки, левой рукой — за другой обломок и приподнялся до половины бойницы, держа в зубах саблю и повиснув над бездной только на руках.

Ему оставалось перенести через край бойницы ногу, и он спустился бы в зал второго яруса.

Но вдруг в бойнице показалось лицо.

Во мраке Радуб увидел нечто страшное: перед ним возникла окровавленная маска с вырванным глазом и раздробленной челюстью.

И маска эта пристально глядела на него своим единственным зрачком.

Но у маски оказалось две руки; две эти руки поднялись из мрака и потянулись к Радубу; одна ловким движением вытащила у него из-за пояса оба пистолета, а другая вырвала из зубов саблю.

Радуб оказался безоружным. Его колено скользило по наклонному карнизу, руками он судорожно цеплялся за обломки решетки, с трудом удерживаясь на весу, а под ним зияла пропасть в сорок футов глубиной.

Эти руки и эта маска принадлежали Зяблику.

Задыхаясь от порохового дыма, поднимавшегося снизу, Зяблик кое-как дополз до бойницы: свежий воздух оживил его, ночная прохлада остановила кровь, сочившуюся из раны, и придала ему сил; вдруг в отверстие бойницы он увидел торс Радуба, а так как Радуб сжимал обеими руками прутья решетки и ему не было иного выбора, как рухнуть вниз или лишиться оружия, Зяблик, грозный и спокойный, вытащил у него из-за пояса пистолеты, а из зубов саблю.

Начинался неслыханный поединок. Поединок раненого с безоружным.

Казалось, победителем станет умирающий. Единственной пули было достаточно, чтобы сбросить Радуба в зиявшую под его ногами бездну.

К счастью для Радуба, Зяблик, держа оба пистолета в одной руке, не мог стрелять и вынужден был действовать саблей. Он ударил ею Радуба. Сабля рассекала плечо Радуба, но он был спасен.

Безоружный и тем не менее полный сил, Радуб, презрев удар, который, впрочем, не тронул кости, напрысав всем телом и впрыгнул в бойницу, выпустив из рук прутья решетки.

Теперь он очутился лицом к лицу с Зябликом, который отбросил саблю и схватил в каждую руку по пистолету.

Зяблик почти в упор целился с колен в Радуба, но ослабевшая рука задрожала, и он не успел спустить курок.

Радуб воспользовался этой передышкой и громко заохотал.

— А ну-ка, мордоворот,— закричал он,— уж не думаешь ли ты меня своим бифштексом запугать?.. А здорово, ей-богу, тебе личико освежали.

Зяблик молча продолжал целиться.

Радуб не унимался.

— Не обессудь, но наша картечь тебе малость рыло подпортила. Бедный ты парень, гляди, как Беллона всю морду тебе поцарапала. А ну, стреляй, голубчик, стреляй скорее.

Раздался выстрел, пуля просвистела у самого виска Радуба и оторвала пол-уха. Зяблик поднял другую руку с пистолетом, но Радуб не дал ему времени прицелиться.

— И так уж я без уха остался! — закричал он. — Ты меня два раза ранил. Теперь мой черед.

Он бросился на врага, подбил снизу его руку так, что пистолет выстрелил в воздух, затем потянул вандейца за разбитую челюсть.

Зяблик взвыл от боли и потерял сознание.

Радуб перешагнул через бесчувственное тело, валявшееся поперек бойницы.

— А теперь потрудись выслушать мой ультиматум,— произнес он,— и не смей шелохнуться. Лежи здесь, злыдень ползучий. Сам понимаешь, нет мне сейчас времени с тобой возиться, добивать тебя. Ползай себе по земле сколько твоей душе угодно, только с моим башмаком тебе компанию водить. А лучше умирай, вот это

будет дело. Сам скоро поймешь, что твой поп тебе глупостей наобещал. Лети, мужичок, в райские кущи.

Радуб спрыгнул в зал второго этажа.

— Ни черта не видно! — буркнул он.

Зяблик взревел и судорожно забился в предсмертных муках. Радуб обернулся.

— Сделай милость, помолчи, гражданин холоп. Я больше в твои дела не мешаюсь. Презираю тебя и даже добивать не стану. Иди ты к черту!

Он в раздумье поскреб затылок, глядя на Зяблика:

— Что же мне делать? Все это хорошо, но я остался без оружия. А мог два раза выстрелить. Ты меня обездолил, скотина! А тут еще дым этот, так глаза и ест.

Случайно коснувшись раненого уха, он воскликнул: «Ой!»

Потом снова заговорил:

— Ну что, легче тебе оттого, что ты конфисковал у меня ухо? Хорошо еще, что все прочее цело, ухо — оно больше для украшения. Да еще плечо мне повредил, но это ничего. Помирай, мужичок; я тебя прощаю.

Он прислушался. Из зала доносился страшный гул. Бой достиг высшего накала.

— Там внизу дело идет на лад. Смотри ты, все еще кричат: «Да здравствует король!» Хоть и подышают, а благородно.

Нога его задела за саблю, которую отбросил Зяблик. Радуб поднял ее и обратился к вандейцу, который уже не шевелился, да и вряд ли был еще жив:

— Видишь ли, леший, для того дела, что я задумал, сабля мне ни к чему. А беру я ее только потому, что она мой старый друг. Вот пистолеты мне были бы нужны. Чтобы тебя, дикаря, черти подрали! Что же мне делать? Куда я теперь похожу?

Он стал пробираться через зал, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Вдруг возле колонны, посреди комнаты, он заметил длинный стол, и на этом столе что-то тускло поблескивало. Радуб протянул руку. Он нащупал пищаля, пистолеты, карабины, целый склад оружия, разложенного в строгом порядке; казалось, оно только и ждало руки бойца: это осажденные припасли себе оружие для второй фазы битвы. Словом, целый арсенал.

— Гляди, какое богатство! — воскликнул Радуб и бросился к оружию, не веря своим глазам.

Теперь он стал поистине грозен.

Рядом со столом, нагруженным оружием, Радуб увидел широко распахнутую дверь, ведущую на лестницу, которая соединяла этажи башни. Радуб отбросил саблю, схватил в каждую руку по двустольному пистолету и выстрелил наудачу вниз, в пролет винтовой лестницы, потом взял мушкетон и выстрелил, затем схватил пищаль, заряженную крупной дробью, и еще раз выстрелил. Выстрел из пищали, выпускавшей сразу пятнадцать свинцовых шариков, походил по звуку на залп картечи. Передохнув, Радуб оглушительным голосом крикнул в пролет лестницы: «Да здравствует Париж!»

Схватив вторую пищаль, еще более крупного калибра, чем первая, он наставил ее дулом на лестницу и стал ждать.

В нижнем зале началось неопишемое смятение. Такие минуты внезапного замешательства парализуют действия сопротивляющихся.

Две пули из трех залпов попали в цель: одна убила старшего из братьев Деревянные Копья, другая сразила Узара, иначе господина де Келена.

— Они наверху! — воскликнул маркиз.

Этот возглас решил судьбу редюита; защитники его, какстая испуганных птиц, бросились к винтовой лестнице. Маркиз подгонял отступающих.

— Скорее, скорее, — говорил он. — Сейчас бегство и есть проявление мужества. Подыдемся на третий этаж! Там мы снова дадим бой!

Он покинул баррикаду последним.

Этот отважный поступок спас его от гибели.

Радуб, засевший на лестнице второго этажа, поджидал отступающих, держа палец на курке пищали. Вандейцы, первыми появившиеся из-за поворота лестницы, были сражены его пулями. Если бы в их числе был маркиз, он не миновал бы той же участи. Но прежде чем Радуб успел схватить заряженный мушкетон, уцелевшие вандейцы поднялись на третий этаж, а за ними неторопливо проследовал Лантенак. Вандейцы решили, что весь зал второго этажа занял неприятель, и потому, не останавливаясь, пробрались прямо на третий этаж, в зеркальный. Здесь была железная дверь, здесь был пропитанный серой шнур, здесь предстояло погибнуть или сдаться на милость победителя.

Говэн, не меньше, чем вандейцы, удивленный выстрелами на лестнице, не знал, чему приписать эту неожиданную подмогу, но не стал доискиваться причины; воспользовавшись благоприятной минутой, он во главе своих солдат перескочил через редюит и бросился за вандейцами к лестнице, подгоняя их ударами шпаги.

На втором этаже он обнаружил Радуба.

Радуб отдал Говэну честь по всей форме и сказал:

— Сию секунду, командир. Это я наделал такой переполох. Вспомнил, как было в Доле, и повторил ваш тогдашний маневр. Зажал, так сказать, неприятеля меж двух огней.

— Что ж, ученик способный, — ответил, улыбаясь, Говэн.

Когда человек долгое время пробыл в неосвещенном помещении, глаза его постепенно привыкают к темноте и приобретают совиную зоркость; приглядевшись, Говэн заметил, что Радуб весь залит кровью.

— Да ты ранен, друг! — воскликнул он.

— Пустяки, командир, не стоит обращать внимания. Велика важность, одним ухом больше, одним меньше. Правда, меня и саблей хватили, да наплевать, — так, царапина. Волков бояться — в лес не ходить. Впрочем, тут не одна только моя кровь.

В зале второго этажа, отбитом Радубом у противника, устроили короткий привал. Принесли фонарь. Симурдэн подошел к Говэну. Они стали совещаться. И правда, было что обсудить. Нападающие так и не раскрыли тайны осажденных, не подозревали, что у вандейцев совсем мало боевых припасов; не знали они и того, что запасы пороха у врага приходят к концу; зал третьего этажа был последним оплотом осажденных; но нападающие могли предполагать, что лестница заминирована.

Одно было ясно — враг теперь не ускользнет из их рук. Уцелевшие в бою были как бы заперты в зеркальном зале. Лантенак попался в мышеловку.

Значит, можно было передохнуть и найти наилучшее решение. И без того уже ряды республиканцев поредали. Надо было действовать так, чтобы не понести большого урона в последней схватке.

Решительный приступ был сопряжен с немалым риском. Вполне может статься, что враг встретит их ожесточенным огнем.

Наступило затишье. Осаждающие, завладев двумя нижними этажами, ждали, когда командир даст сигнал к атаке. Говэн и Симурдэн держали совет. Радуб молча присутствовал при обсуждении.

Но вот он снова стал навтыяжку и робко окликнул:

— Командир!

— Что тебе, Радуб?

— Заслужил я хоть небольшую награду?

— Конечно. Проси чего хочешь.

— Прошу разрешения идти первым.

Отказать ему было невозможно. Впрочем, он и не стал бы дожидаться разрешения.

XI

Обреченные

Пока в зале второго этажа шло совещание, на третьем спешно возводили баррикаду. Успех — это исступление, поражение — бешенство. Двум этажам башни предстояло схватиться в отчаянном поединке. Мысль о близкой победе пьянит. Второй этаж был окрылен надеждой, которую следовало бы признать самой могучей силой, движущей человеком, если бы не существовало отчаяния.

На третьем этаже царило отчаяние.

Отчаяние холодное, спокойное, мрачное.

Добравшись до зала третьего этажа — до последнего своего прибежища, дальше которого отступать было некуда, — осажденные первым делом загородили вход. Просто запереть двери было бы бесполезно, куда разумнее представлялось преградить лестницу. В подобных случаях любая преграда, позволяющая осажденным видеть противника и сражаться, надежнее закрытой двери.

Факел, прикрепленный Иманусом к стене возле пропитанного серой шнура, освещал лица вандейцев.

В зале третьего этажа стоял огромный, тяжелый дубовый сундук, в каких, до изобретения шкафов, наши предки хранили одежду и белье.

Осажденные подтащили сундук к лестнице и поставили его стоймя на самой верхней ступеньке. Размером он пришелся как раз по проему двери и плотно закупорил вход. Между сундуком и сводом осталось только узкое отверстие, через которое с трудом мог протиснуть-

ся человек, что давало в руки осажденным огромное преимущество, позволяя им разить одного наступающего за другим. Да и сомнительно было, что кто-нибудь отважится на такой шаг.

Забаррикадивав дверь, осажденные получили небольшую отсрочку.

Пересчитали бойцов.

Из девятнадцати человек осталось лишь семеро, в том числе Иманус. За исключением Имануса и маркиза, все остальные были ранены.

Впрочем, все пятеро раненых вели себя, как здоровые, ибо в пылу битвы любая рана, если только она не смертельна, не мешает бойцу двигаться и действовать; то были Шатенэ, он же Роби, Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовинка и Гран-Франкер. Все прочие погибли.

Боевые припасы иссякли. Пороховницы опустели. Вандейцы сосчитали оставшиеся пули. Сколько они, семеро, могут сделать выстрелов? Четыре.

Пришла минута, когда осталось только одно — пасть в бою. Они были прижаты к краю ужасной зияющей бездны. К самому ее краю.

Тем временем штурм возобновился, на этот раз его вели не столь стремительно, зато более уверенно. Слышно было, как осаждающие, поднимаясь по лестнице, выстукивают прикладами каждую ступеньку.

Бежать некуда. Через библиотеку? Но на плоскогорье стоят заряженные пушки и уже зажжены фитили. Через верхние залы? Но куда? Все ходы ведут на крышу. Правда, оттуда можно броситься вниз.

Семь уцелевших из этой легендарной банды понимали, что они попали в западню, откуда нет выхода, что они заключены среди толстых стен, которые охраняют, но и выдают их с головой врагу. Их еще не взяли в плен, однако они уже были пленниками.

Маркиз произнес громким голосом:

— Друзья мои, все кончено!

И, помолчав, добавил:

— Гран-Франкер снова становится аббатом Тюрмо.

Вандейцы, перебирая четки, преклонили колена. Стук прикладов по ступенькам лестницы приближался.

Гран-Франкер, с залитым кровью лицом, так как пуля сорвала ему с черепа лоскут кожи, поднял правую

руку, в которой он держал распятие. Маркиз, скептик в глубине души, преклонил колено.

— Пусть каждый из вас,— начал Гран-Франкер,— вслух исповедуется в грехах своих. Маркиз, начинайте.

Маркиз произнес:

— Убивал.

— Убивал,— промолвил Уанар.

— Убивал,— промолвил Гинуазо.

— Убивал,— промолвил Любовинка.

— Убивал,— промолвил Шатенэ.

— Убивал,— промолвил Иманус.

И Гран-Франкер возгласил:

— Во имя отца и сына и святого духа, отпускаю вам грехи ваши; мир вам.

— Аминь,— ответили хором шесть голосов.

Маркиз поднялся с колен.

— А теперь,— сказал он,— умрем.

— И уьем,— добавил Иманус.

Приклады уже били по сундуку, загораживавшему вход.

— Обратитесь помыслами к богу,— сказал священник.— Отныне земные заботы для вас уже не существуют.

— Да,— подхватил маркиз,— мы в могиле.

Вандейцы склонили головы и стали бить себя в грудь. Лишь маркиз да священник стояли неподвижно. Все глаза были опущены, священник творил молитву, крестьяне творили молитву, маркиз был погружен в раздумье. Сундук зловеще гудел под ударами топора.

В эту минуту чей-то зычный голос внезапно прозвучал из темноты, из дальнего угла зала:

— Я ведь вам говорил, ваша светлость!

Все в изумлении обернулось.

В стене вдруг открылось отверстие.

Камень, искусно пригнанный к соседним камням, но не скрепленный с ними и вращавшийся на двух стержнях, повернулся вокруг своей оси, как турникет, и открыл лазейку в стене. Камень свободно ходил в обе стороны, а за ним тянулись налево и направо два коридора, хоть и узкие, но достаточные для прохода поодиночке. В отверстие виднелись ступеньки винтовой лестницы. Из-за камня выглядывало чье-то лицо.

Маркиз узнал Гальмало.

Спаситель

— Это ты, Гальмало?

— Я, ваша светлость. Как видите, камни иной раз все-таки вертятся, и отсюда можно бежать. Я пришел вовремя, но торопитесь. Через десять минут вы будете уже в чаще леса.

— Велико милосердие божье,— сказал священник.

— Бегите, ваша светлость! — прокричали все разом.

— Сначала вы,— ответил маркиз.

— Вы пойдете первым, ваша светлость,— сказал аббат Тюрмо.

— Последним. Борьба великодушия здесь неуместна,— строго заговорил маркиз.— У нас для этого нет времени. Вы ранены. Приказываю вам жить и уйти немедленно. Спешите воспользоваться лазейкой. Спасибо, Гальмало.

— Стало быть, нам приходится расстаться, маркиз? — спросил аббат Тюрмо.

— Внизу мы, конечно, расстанемся. Бежать нужно всегда по одному.

— А вы, ваша светлость, изволите назначить место встречи?

— Да. На лужайке в лесу, около камня Говэнов. Знаете, где он?

— Знаем.

— Я завтра буду там ровно в полдень. Всем, кто может передвигаться, быть на месте.

— Будем.

— И мы снова начнем войну,— сказал маркиз.

Гальмало стоял, опершись на вращающийся камень; вдруг он заметил, что камень больше не движется. Отверстие теперь уже не закрывалось.

— Торопитесь, ваша светлость,— повторил Гальмало.— Камень что-то не поддается. Открыть-то проход я открыл, а вот закрыть не могу.

И в самом деле, камень, который простоял неподвижно долгие годы, словно застыл в проеме. Невозможно было сдвинуть его с места.

— Ваша светлость,— продолжал Гальмало,— я надеялся закрыть проход, и синие, ворвавшись сюда, не

обнаружили бы в зале ни души; пусть бы поломали себе голову, куда вы делись, уж не с дымом ли через трубу вылетели? А камень, гляди, упирается. Теперь враг заметит открытое отверстие и бросится за нами в погоню. Мешкать не годится. Скорее сюда.

Иманус положил руку на плечо Гальмало:

— Приятель! Сколько потребуется времени, чтобы пройти через эту лазейку и очутиться в лесу в полной безопасности?

— Тяжело раненных нет? — осведомился Гальмало.

Ему хором ответили:

— Нет.

— В таком случае, четверти часа хватит.

— Значит, — продолжал Иманус, — если враг не придет сюда еще четверть часа...

— Пусть тогда гонится за нами, — все равно не догонит.

— Но, — возразил маркиз, — они ворвутся сюда через пять минут. Старый сундук не такая уж страшная для них помеха. Достаточно нескольких ударов прикладом. Четверть часа! А кто их задержит на эти четверть часа?..

— Я, — сказал Иманус.

— Ты, Гуж-ле-Брюан?

— Да, я, ваша светлость. Послушайте меня. Из шести человек пять раненых. А у меня даже царапины нет.

— У меня тоже.

— Вы вождь, ваша светлость. А я солдат. Вождь и солдат — не одно и то же.

— Знаю, у каждого из нас свой долг.

— Нет, ваша светлость, у нас с вами, то есть у меня и у вас, один долг — спасти вас.

Иманус повернулся к товарищам.

— Друзья! Сейчас важно одно — преградить путь врагу и, по возможности, задержать преследование. Слушайте меня. Я в полной силе, я не потерял ни капли крови, я не ранен и потому выстою дольше, чем кто-либо другой. Уходите все. Оставьте мне оружие. Не беспокойтесь, я сумею пустить его в дело. Обещаю задержать неприятеля на добрых полчаса. Сколько у нас заряженных пистолетов?

— Четыре.

— Клади их все сюда, на пол.

Вандейцы повиновались.

— Вот и хорошо. Я остаюсь. Будет кому их встретить. А теперь бегите скорее.

В чрезвычайных обстоятельствах слова благодарности неуместны. Беглецы едва успели пожать Иманусу руку.

— До скорого свидания,— сказал маркиз.

— Нет, ваша светлость. Надеюсь, что свидание наше не скоро состоится: я здесь сложу голову.

Пропустив вперед раненых, беглецы поочередно прошли в проход. Пока передние спускались, маркиз вынул из карманной записной книжечки карандаш и написал несколько слов на возвращавшемся, отныне неподвижном, камне, уже не закрывавшем зияющий проход.

— Уходите, ваша светлость, вы последний остались,— сказал Гальмало.

С этими словами Гальмало стал спускаться по лестнице.

Маркиз последовал за ним.

Иманус остался один.

ХІІІ

Палач

Четыре заряженных пистолета вандейцы положили прямо на каменные плиты, так как в зеркальном зале не было паркета. Иманус взял из них два, по одному в каждую руку.

Затем он стал сбоку от двери, ведущей на лестницу, загороженный и полускрытый сундуком.

Нападающие, очевидно, боялись какого-то подвоха со стороны врага, они ждали взрыва, который может принести неожиданную гибель в решительную минуту и победителю и побежденному. Насколько первый натиск прошел бурно, настолько последний был медлительным, осторожным. Солдаты Говэна не могли, а может быть, и не хотели с размаху разнести сундук; они разбили прикладом дно сундука, изрешетили крышку штыками и через эти отверстия пытались заглянуть в зал, прежде чем проникнуть туда. Сквозь эти щели пробивался свет фонарей, освещавших лестницу.

Иманус заметил, что к отверстию в днище сундука припал чей-то глаз. Он приставил пистолет прямо к дыре и нажал курок. Раздался выстрел, и торжествующий Иманус услышал страшный вопль. Пуля, пройдя через глаз, пробила череп солдата, глядевшего в щель, и он упал навзничь на ступеньки лестницы.

Наступающие в двух местах осторожно расширили отверстие между досками сундука и устроили две бойницы. Иманус воспользовался этим обстоятельством, просунул в отверстие руку и выстрелил из второго пистолета наудачу в самую гущу нападающих. Очевидно, пуля пошла рикошетом, так как слышались крики; должно быть, выстрелом Имануса ранило или убило трех-четыре человека; на лестнице раздался громкий топот сбежавших вниз людей.

Иманус отбросил два теперь уже ненужных ему пистолета и схватил два последних; затем, крепко зажав пистолеты в руке, посмотрел в щелку.

Он убедился, что первые выстрелы не пропали даром.

Атакующие отошли вниз. На ступеньках корчились в предсмертных муках раненые; винтовая лестница позволяла видеть лишь три-четыре ступеньки.

Иманус ждал.

«Все-таки время выиграно», — подумал он.

Между тем он заметил, что какой-то человек осторожно ползет по ступенькам лестницы; в то же время над последней площадкой лестницы показалась голова солдата. Иманус прицелился и выстрелил. Раздался крик, солдат упал, и Иманус переложил из левой руки в правую последний оставшийся у него заряженный пистолет.

В это мгновение он почувствовал страшную боль и дико взвыл. Сабля вонзилась ему прямо в живот. Рука, рука человека, который полз вверх по лестнице, просунулась во вторую бойницу, устроенную внизу сундука, и эта рука погрузила саблю в живот Имануса.

Рана была ужасна. Живот был распорот сверху до низу.

Но Иманус устоял. Он заскрежетал зубами и прошептал:

— Ну ладно ж!

Потом, шатаясь, едва передвигая ноги, он добрался до железной двери, положил пистолет на пол, схватил

горящий факел и, поддерживая левой ладонью выпадающие внутренности, нагнулся и поджег пропитанный серой шнур.

Огонь в мгновение ока охватил шнур. Иманус вырвал из рук факел, который не потух от падения, снова взял пистолет, рухнул ничком на каменные плиты пола и, приподняв голову, стал слабеющим дыханием раздвигать фитиль.

Пламя, пробежав по шнуру, тут же исчезло под железной дверью и достигло замка.

Убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим злодеянием, быть может, более, нежели своей добродетелью, этот человек, за минуту до того бывший героем и ставший теперь просто убийцей, улыбнулся на пороге смерти.

— Помогут они меня, — прошептал он. — Я отмстил. Пусть их дети поплатятся за наше дитя — за нашего короля, заточенного в Тампле.

XIV

Иманус тоже уходит

В эту минуту раздался страшный грохот, под мощными ударами рухнул сундук, и в образовавшийся проход ворвался человек с саблей наголо.

— Это я, Радуб! А ну, выходи! Надоело мне ждать. Вот я и решился. Я тут одному распорол сейчас брюхо. А теперь выходи все. Идут за мной наши или не идут, а я уже здесь. Сколько вас тут?

Это действительно был Радуб, в единственном числе. После побоища, учиненного Иманусом на лестнице, Говэн, боясь наткнуться на скрытую мину, отвел своих людей и стал совещаться с Симурдэном.

Радуб, стоя с саблей наголо у порога, зорко вглядывался в полумрак зеркального зала, еле освещенного пламенем потухающего факела, и повторил:

— Я тут один. А вас сколько?

Не дождавшись ответа, он двинулся вперед. Догоравший факел вдруг ярко вспыхнул, и последняя вспышка угасавшего пламени, которую можно назвать предсмертным вздохом света, осветила все уголки зала.

Радуб вдруг заметил маленькое зеркало, висевшее

на стене в ряд с другим, подошел поближе, поглядел на свое залитое кровью лицо, на свое полуоторванное ухо и сказал:

— Здорово попортили фасад.

Потом, обернувшись, с удивлением убедился, что зал пуст.

— Да здесь никого нет! — закричал он. — В наличии ноль.

Его взгляд упал на повернутый камень, он заметил проход и позади него лестницу.

— Ага, понятно! Удрали... Сюда, товарищи! Идите скорее: они улизнули. Ушли, ускользнули, улетучились, убежали. Этот каменный кувшин оказался с трещиной. Вот через эту дыру они, каналы, и прошли. Попробуй-ка одолей Питта и Кобурга с их фокусами! Держи карман шире! Не иначе как сам черт им помог. Никого здесь нет!

Вдруг раздался пистолетный выстрел, пуля слегка задела локоть Радуба и сплющилась о камень стены.

— Вот как! Оказывается, здесь кто-то есть. Кто это пожелал мне уважение оказать?

— Я, — ответил чей-то голос.

Радуб вытянул шею и с трудом различил в полумраке какую-то темную массу, другими словами — распростертого на полу Имануса.

— Ага! — закричал Радуб. — Одного все-таки поймал. Все остальные убежали, зато тебе, голубчик, не уйти.

— Ты в этом уверен? — спросил Иманус.

Радуб сделал шаг вперед и остановился:

— Эй, человек, лежащий на полу, кто ты таков?

— Я хоть и лежащий, да смеюсь над вами, стоящими.

— Что это у тебя в правой руке?

— Пистолет.

— А в левой?

— Собственные потроха.

— Ты мой пленник.

— Плевать я на тебя хотел.

С этими словами Иманус потянулся к тлеющему шнуру, дунул на него из последних сил и умер.

Через несколько минут Говэн, Симурдэн и солдаты вошли в зеркальный зал. Они сразу увидели отверстие в стене. Обшарили все закоулки, обследовали лестни-

цу — она выводила на дно оврага. Сомнения быть не могло — вандейцы спаслись бегством. Попробовали встряхнуть Имануса. Он был мертв. Говэн с фонарем в руке осмотрел камень, послуживший дверью беглецам; он давно слышал рассказы об этом возвращающемся камне, но считал их пустыми баснями. Исследуя камень, Говэн заметил на нем какую-то надпись, сделанную карандашом; приблизив к ней фонарь, он прочел следующие слова:

*«До свиданья, виконт.
Лантенак».*

К Говэну подошел Гешан. Преследовать беглецов было бессмысленно, — они успели скрыться, и скрыться надежно: весь край, каждый куст, каждый овраг, все чащи, любой крестьянин были за них и к их услугам. Кто же отыщет их в Фужерском лесу, когда весь Фужерский лес представляет собой огромный тайник? Что делать? Все приходилось начинать сызнова. Говэн и Гешан, не скрывая досады, обменивались соображениями.

Симурдэн молча и серьезно слушал их беседу.

— Кстати, Гешан, — вспомнил вдруг Говэн, — а где же лестница?

— Не привезли, командир.

— Как же так? Ведь мы сами видели повозку под охраной конвоя.

Гешан ответил:

— На ней привезли не лестницу.

— А что же тогда привезли?

— Гильотину! — сказал Симурдэн.

XV

Не следует класть в один карман часы и ключ

Маркиз де Лантенак был не так уж далеко, как предполагали преследователи.

Тем не менее он находился в полной безопасности, вне пределов досягаемости.

Он шел следом за Гальмало.

Лестница, по которой они с Гальмало спустились вслед за другими беглецами, вела в узкий сводчатый коридор неподалеку от арок моста и рва. Коридор выво-

дил в естественную глубокую расщелину, которая одним концом упиралась в овраг, а другим — в опушку леса. Непроницаемо густая зелень, среди которой извивалась расщелина, надежно укрывала ее от людских глаз. Здесь был в безопасности любой беглец. Достигши этой расщелины, он мог ужом проскользнуть в лес, и тут найти его было невозможно. Строители даже не потрудились замаскировать потайной выход, — сама природа превосходно спрятала его в зарослях колючего кустарника.

Маркиз мог свободно уйти этим путем. Менять костюм ему было незачем. С первого дня своего прибытия в Бретань он носил крестьянское платье, считая, что его знатности ничто не может умалить.

Он только снял шляпу и бросил ее в кусты вместе с портупеей.

Когда Гальмало и маркиз выбрались из потайного хода в расщелину, пятеро их товарищей — Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовинка, Шатенэ и аббат Тюрмо — уже скрылись.

— Птицы-то, как видно, упорхнули, — заметил Гальмало.

— Последуй и ты их примеру, — сказал маркиз.

— Значит, ваша светлость, вы желаете, чтобы я вас оставил?

— Конечно. Я тебе уже говорил. Бежать можно только поодиночке. Где пройдет один, там двое попадутся. Вдвоем мы только привлечем к себе внимание. Я тебя погублю, а ты погубишь меня.

— Ваша светлость! Вы здешние места знаете?

— Да.

— Значит, встреча назначена у камня Говэнов, ваша светлость?

— Да, завтра. В полдень.

— Я приду. Все мы придем. — Гальмало помолчал. — Ах, ваша светлость, подумать только, — мы вдвоем плыли с вами в открытом море, и я хотел вас убить, — я ведь не знал, что вы мой сеньор. Вы могли бы мне это сказать, да не сказали! Вот какой вы человек!

Маркиз прервал его:

— Англия! Больше помощи ждать неоткуда. Надо, чтобы через две недели англичане были во Франции.

— Я еще не успел отдать вам отчет, ваша светлость. Я все ваши поручения выполнил.

— Поговорим об этом завтра.

— Слушаюсь. До завтра, ваша светлость.

— Погоди. Ты не голоден?

— Да как сказать? Я так торопился. Теперь уж и не помню, ел я нынче что-нибудь или нет.

Маркиз вынул из кармана плитку шоколада, разломил ее пополам, протянул одну половину Гальмало и сам откусил от другой.

— Ваша светлость, не заблудитесь,— сказал Гальмало,— направо будет ров, а налево — лес.

— Хорошо. А теперь оставь меня. Иди.

Гальмало повиновался. Вскоре он исчез во мраке. Сначала слышен был хруст веток под его ногами, потом все смолкло; несколько секунд спустя уже невозможно было отыскать его след. Вандейский Бокаж, ошетилившийся, густо заросший и неприступный, был славным пособником беглецов. Здесь человек даже не исчезал, а как бы растворялся без остатка. Именно эта способность противника мгновенно рассеиваться настораживала наши армии, и подчас они останавливались в нерешительности перед этой неизменно отступающей Вандеей, перед ее неправдоподобно проворной ратью.

Маркиз стоял неподвижно. Он принадлежал к той породе людей, которые умеют подавить в себе все чувства, но и он не смог сдержать волнения, вдыхая свежий воздух после запаха крови и резни. Знать, что ты спасся, после того как ты уже был на краю гибели, видеть перед собой свою разверстую могилу и вдруг оказаться в безопасности, вырваться из лап смерти и возвратиться к жизни — все это могло потрясти даже такого человека, как Лантенак; и хотя ему уже доводилось бывать в подобных переделках, он не мог оградить свой неприступный дух от мгновенного потрясения. Он не мог не сознаться себе, что он доволен. Но он быстро подавил это движение души, пожалуй, походившее на обыкновенную человеческую радость.

Он вытащил часы и нажал репетир. Который сейчас мог быть час?

К великому его удивлению, было всего десять. Когда человек только что пережил одно из тех грозных испытаний, где все поставлено на карту, он невольно поражается: как, неужели эти столь насыщенные минуты — не длиннее всех прочих? Пушечный выстрел, известив-

ший о начале штурма, грянул незадолго до захода солнца, и через полчаса, то есть в восьмом часу, когда уже начало смеркаться, на Тург двинулась колонна республиканских войск. Следовательно, эта гигантская битва, начавшаяся в восемь часов, кончилась в десять. Вся эпопея длилась только сто двадцать минут. Иной раз трагические действия разворачиваются молниеносно. Катастрофы обладают удивительной способностью сдвинуть часы к минутам.

Но, по здоровом размышлении, следовало бы удивляться другому: целых два часа небольшая горстка людей сопротивлялась большому отряду, чуть ли не армии,— вот что было поразительно; эту битву девятнадцати против четырех тысяч никак нельзя было назвать краткой, а конец ее мгновенным.

Однако пора было двигаться в путь. Гальмало, конечно, успел уже уйти далеко, и маркиз рассудил, что нет никакой нужды оставаться здесь дольше. Он положил часы в карман, но не в тот, из которого их вынул, а в другой, так как убедился, что там лежит ключ от железной двери, врученный ему Иманусом, и побоялся, что от соприкосновения с тяжелом ключом стекло может разбиться; затем он направился вслед за прочими беглецами к лесу.

Но когда он уже повернул влево, ему вдруг показалось, что сквозь густой покров зелени пробился неяркий луч света.

Он обернулся и заметил, что заросли кустарника внезапно с поразительной четкостью выступили на фоне багрового неба, стал виден каждый листок, каждая веточка, а весь овраг залит светом. Он тронулся было обратно к замку, но тут же остановился: что бы там ни произошло, оказаться в освещенном месте бессмысленно, да и какое в конце концов ему до всего этого дело? Он повернулся к тропинке, указанной ему Гальмало, и пошел в сторону леса.

Он уже вступил под шатер скрывавших его ветвей, как вдруг услышал где-то над своей головой страшный крик; крик, казалось, шел с плоскогорья, там, где оно переходило в овраг. Маркиз вскинул голову и остановился.

КНИГА ПЯТАЯ

IN DAEMONE DEUS¹

I

Найдены, но потеряны

В тот миг, когда Мишель Флешар заметила башню, всю багровую в лучах заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии полутора лье. И хотя она с трудом передвигала ноги, эти полтора лье не испугали ее. Женщина слаба, но силы матери неиссякаемы. Она двинулась дальше.

Солнце село, спустился сумрак, потом полный мрак; упорно шагая вперед, она услышала, как вдалеке на невидимой отсюда колокольне пробило восемь, затем девять часов. Должно быть, это отбивали часы на колокольне в Паринье. Время от времени она останавливалась и прислушивалась к глухим ударам, которые, казалось, были смутным рокотом самой ночи.

И она все шла, ступая окровавленными ногами по колючкам и острым камням. Мать шла теперь на слабый свет, исходивший от башни, которая четко выступала из мрака, облитая таинственным мерцанием. И чем явственнее доносились удары, тем ярче вспыхивал свет, тут же сменявшийся мглой.

На широком плоскогорье, по которому брела Мишель Флешар, не было ни дерева, ни хижины, ничего, кроме травы и вереска; оно незаметно подымалось, и его прямые резкие очертания тянулись далеко-далеко, сливаясь на горизонте с темным, усеянным звездами небосводом. Путница шла с трудом, и лишь вид башни, ни на минуту не скрывавшейся из глаз, поддерживал ее силы.

¹ В демоне — бог (лат.).

Башня на ее глазах постепенно увеличивалась в размерах.

Глухие раскаты и белесые вспышки, вырывавшиеся из башни, как мы уже говорили, следовали через определенные промежутки, и для безутешной матери в этом была мучительная загадка.

Вдруг все смолкло; стихли удары, потух свет; наступила глубокая тишина; какой-то зловещий покой окутал все вокруг.

Как раз в эту минуту Мишель Флешар достигла края плоскогорья.

Внизу лежал ров, дно которого скрывалось в бледной ночной мгле, чуть подальше, на верхней части плоскогорья, колеса, пушечные лафеты, брустверы, амбразуры указывали на месторасположение батареи, а прямо, освещенное тлеющими фитилями, вырисовывалось огромное здание, как бы высеченное из самого мрака, но мрака еще более густого, еще более черного, чем тот, что царил вокруг.

К зданию вел мост, арки которого своим основанием упирались в дно рва, а за мостом, примыкая к замку, темной, круглой громадой высилась башня, к которой из такого далека брела мать.

Огни факелов перебежали от окна к окну, и по доносившемуся из башни гулу голосов нетрудно было догадаться, что там внутри собралось множество людей, человеческие фигуры вырисовывались даже на самой вышке.

Возле батареи расположился лагерь; Мишель Флешар различала часовых, выставленных у палаток, но ее скрывала от них темнота и кустарник.

Она подошла к самому краю плоскогорья и очутилась так близко от моста, что, казалось, стоит только протянуть руку, чтобы коснуться его. Но ее отделял от моста глубокий ров. В темноте обозначались все три этажа замка, высившегося на мосту.

Сколько времени она простояла так — неизвестно, ибо время перестало существовать для нее; молча, не отрывая взора от страшного зрелища, смотрела она на зияющий под ногами ров и мрачное строение. Что это такое? Что там происходит? Да и Тург ли это? У нее закружилась голова, как будто она ждала чего-то и сама уже не знала, конец это пути или только начало

его. Она с удивлением спрашивала себя: зачем она очутилась здесь?

Она глядела, она слушала.

Вдруг она перестала видеть что-либо. Завеса дыма встала между нею и тем, с чего она не спускала глаз. Она зажмурилась — так у нее защипало глаза. Но и под опущенными веками она видела багровый свет. И она снова открыла глаза.

Теперь уже не мрак ночи, а день окружал ее, но день безрадостный, день, порожденный пламенем. На глазах у матери начинался пожар.

Черное облако дыма стало вдруг пурпурным — внутри него пылало пламя; оно то исчезало, то вырывалось наружу неистовыми зигзагами, на какие способны лишь молнии и змеи.

Пламя, словно живой язык, высовывалось из черной пасти, вернее, из провала окна, за которым бушевал огонь. Окно, забранное железной решеткой, прутья которой уже раскались докрасна, помещалось в ряду других окон нижнего этажа замка, построенного на мосту. Из всех окон здания теперь видно было лишь одно это окно. Все вокруг, даже плоскогорье, обволакивал дым, и только край оврага черной линией выделялся на фоне алого зарева.

Мишель Флешар в изумлении глядела на пожар. Клубы дыма подобны облаку, облако подобно грезе; уж не пригрезилось ли ей все это? Бежать прочь? Остаться здесь? Ей казалось, что она уже переступила порог реального мира.

Налетевший порыв ветра разорвал завесу дыма, и в разрыве внезапно открылась вся трагическая цитадель с башней, замком, мостом, ослепляющая, страшная, в великолепной позолоте пожара, игравшей на ней от подножия до кровли. При свете зловещего пламени Мишель Флешар увидела все.

Нижний этаж замка, построенный на мосту, пылал.

Пламя еще не коснулось двух верхних этажей, и они, казалось, были вознесены к небу в огненной корзине. С края плоскогорья, где стояла Мишель Флешар, можно было различить внутренность комнат в те краткие минуты, когда отступали огонь и дым. Все окна были открыты настежь.

В широкие окна второго этажа Мишель Флешар разглядела стоящие у стен шкафы и даже как будто книги, а прямо на полу, напротив одного из окон, какое-то темное пятно, вернее, кучку каких-то предметов, нечто напоминавшее гнездо или выводок птенцов, и это «нечто» временами шевелилось.

Она продолжала вглядываться.

Что это за комочек теней?

Мгновениями ей приходило в голову, что эти тени похожи на живые существа. Ее била лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она шла пешком весь день без отдыха, она с трудом держалась на ногах; она чувствовала, что у нее начинается бред, и потому инстинктивно не доверяла самой себе; и все же она вглядывалась все пристальнее, не могла отвести взора от чего-то неподвижного, быть может, даже неодушевленного, что чернело на паркете зала, расположенного над горящей кордегардией.

Вдруг огонь, словно наделенный волей, послал длинный язык пламени в направлении сухого плюща, обвивавшего весь фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Казалось, пламя только сейчас обнаружило эту сетку мертвых ветвей; сначала всего лишь одна искра жадно прильнула к ним и начала карабкаться по побегам плюща с той грозной быстротой, с какой бежит огонь по пороховой дорожке. В мгновение ока пламя достигло третьего этажа, и тогда оно сверху осветило внутренность второго. Резкий свет озарил комнату и выхватил из мрака три спящие крохотные фигурки.

Очаровательная группа! Прижавшись друг к другу, сплетаясь ручками и ножками, спали спокойным детским сном и улыбались во сне три беленьких младенца.

Мать узнала своих детей.

Она испустила душераздирающий крик.

Только в материнском крике может звучать такое невыразимое отчаяние. Как дик и трогателен этот вопль! Когда его испускает женщина, кажется, что воет волчица; когда воет волчица, кажется, что стенает мать.

Крик Мишель Флешар был подобен вою. Гекуба валайала,— говорит Гомер.

Этот-то крик и достиг ушей маркиза де Лантенака. И, как мы знаем, Лантенак остановился.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть третья.* В Вандее.



ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД. *Часть третья.* В Вандее.

Он стоял между потайным ходом, через который его провел Гальмало, и рвом. Сквозь ветви кустарника, переплетавшиеся над его головой, он видел охваченный огнем мост, весь красный от зарева Тург и в просвете между ветвей заметил вверх, на противоположной стороне рва, на самом краю плоскогорья, напротив пылающего замка, где было светло как днем, жалкую и страшную фигуру женщины, склонившуюся над рвом.

Эта женщина и закричала так пронзительно.

Впрочем, сейчас то была уже не Мишель Флешар, то была Горгона. Беспомощные бывают сильными. Простая крестьянка превратилась в Эвмениду. Темная, невежественная, грубоватая поселанка вдруг поднялась до эпических высот отчаяния. Великие страдания мощно преобразуют души; эта мать была само материнство; то, что вмещает в себя все человеческое, становится сверхчеловеческим. Она возникла здесь, на краю оврага, перед бушующим пламенем пожара, перед этим злодейством, как загробное видение; она выла, как зверь, но движения ее были движениями богини; ее скорбные уста слали проклятия, а лицо казалось огненной маской. Что сравнится в царственном величии со взором матери, застанным слезами, мечущим молнии?! Ее взгляд испепелял пожарище.

Маркиз прислушался. Поток ее жалоб низвергался вниз, прямо на него. Он слышал бессвязные речи, раздирающие душу выкрики, слова, подобные рыданиям:

— Ах, господи боже мой! Дети, дети! Ведь это мои дети! На помощь! Пожар! Пожар! Пожар! Значит, все вы разбойники? Неужели там никого нет? Сгорят! Слышите? Сгорят! Жоржетта! Детки мои! Гро-Алэн, Рене-Жан! Да где же это видано! Кто запер там моих детей? Они ведь спят. Да нет, я с ума сошла. Разве такое бывает? Помогите!

Тем временем вокруг башни и на плоскогорье поднялось движение. Когда начался пожар, сбежался весь лагерь. Нападающие, только что встретившиеся с картечью, встретились теперь с огнем. Говэн, Симурдэн, Гешан отдавали приказания. Но что можно было сделать? Ручеек, бежавший по дну рва, совсем пересох, там не наберешь и десяти ведер воды. Всех охватил ужас. По краю плоскогорья толпились люди, обратив испуганные лица в сторону пожара.

Зрелище, открывшееся их взорам, было поистине ужасное.

Люди смотрели и ничем не могли помочь.

Пламя, пробежав по веткам плюща, перекинулось в верхний этаж. Там ему нашлась пожива — целый чердак, набитый соломой. Теперь пылал чердак. Вокруг плясали языки пламени; ликование огня — ликование зловещее. Казалось, само зло раздувает этот костер. Словно чудовищный Иманус вдруг обернулся вихрем искр, слив свою жизнь со смертоносной жизнью огня, а его звериная душа стала душою пламени. Второй этаж, где помещалась библиотека, был еще не тронут огнем — толстые стены и высокие потолки отсрочили миг его вторжения, но роковая минута неотвратимо приближалась; его уже лизали языки пламени, подбиравшегося снизу, и ласкал огонь, бежавший сверху. Его уже коснулось неумолимое лобзание смерти. В нижнем этаже, — огненная лава, наверху, под сводами, — пылающий костер; прогорит хоть в одном месте пол библиотеки — и все рухнет в огненную пучину; прогорит потолок — и все погребут под собой раскаленные угли. Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта еще не проснулись, они спали глубоким и безмятежным сном детства, и сквозь волны огня и дыма, то окутывавшие окна, то уносившиеся прочь, было видно, как в огненном гроте, в сиянии, равном сиянию метеора, мирно спят трое ребятишек, прелестных, как три младенца Иисуса, доверчиво заснувших в аду; и тигр заплакал бы при виде этих лепестков розы в горниле огня, при виде этих детских колыбелек в могиле.

Мать в отчаянье ломала руки:

— Пожар! Пожар! Спасите! Да что же вы все оглохли, что ли? Почему никто не спешит им на помощь? Там ведь моих детей жгут! Да помогите же, вон сколько вас тут! Я много дней шла, я две недели шла, и вот, когда я до них наконец добралась, видите, что случилось. Пожар! Спасите! Ангелочки ведь! Ведь это же ангелочки! Чем они провинились, невинные крошки? Собаку и ту пожалели бы. Детки мои, детки спят там. Жоржетта, — вон, посмотрите, — разбросалась, маленькая, животик у нее голенький. Рене-Жан! Гро-Алэн! Ведь их Рене-Жан и Гро-Алэн зовут! Вы же видите, что я их мать. Что же это творится? Какие гнусные времена

настали! Я шла дни и ночи. Еще сегодня утром я говорила с одной женщиной... На помощь! Спасите! Да это не люди, а чудовища какие-то! Злодеи! Ведь старшенькому-то всего пять лет, а меньшей и двух нету. Вон смотрите, какие у них ножки — босенькие. Спят, святая дева Мария! Рука Всевышнего вернула их мне, а рука Сатаны отняла. Ведь сколько я шла! Дети мои, дети, я вскормила их собственным молоком!.. Да как же это?.. А я-то еще считала, что не будет хуже горя, если я их не найду! Сжальтесь надо мной! Верните мне моих детей! Посмотрите: ноги мои все в ссадинах, в крови, сколько я шла! На помощь! Ни за что не поверю, что люди дадут несчастным крошкам погибнуть в огне. На помощь, люди! На помощь! Да разве может такое на земле случиться? Ах, разбойники! Да что это за дом такой страшный? У меня украли детей, чтобы их убить. Иисусе милостивый, верни мне моих детей! Я все, все готова сделать, только бы их спасти. Не хочу, чтобы они умирали! На помощь! Спасите! Спасите! О, если б я знала, что им так суждено погибнуть, я бы самого бога убила!

Грозные мольбы матери покрывал громкий гул голосов, подымавшихся с плоскогорья и из оврага:

— Лестницу!

— Нет лестницы.

— Воды.

— Нет воды!

— В башне на третьем этаже есть дверь.

— Она железная.

— Так взломаем ее!

— До нее не достать.

А мать взывала с новой силой:

— Пожар! Спасите! Да торопитесь же вы! Скорее!

Спасите или убейте меня. Мои дети! Мои дети! Ах, треклятый огонь! Пусть их вынесут оттуда или пусть меня бросят в огонь.

И когда на мгновение утихал плач матери, слышалось деловитое потрескивание огня.

Маркиз опустил руку в карман и нащупал ключ от железной двери. Затем, пригнувшись, он снова вступил под своды подземелья, через которое выбрался на свободу, и пошел обратно к башне, откуда он только что бежал.

От каменной двери до двери железной

Целая армия, парализованная невозможностью действовать, четыре с половиной тысячи человек, бессильные спасти трех малюток,— таково было положение дел.

Лестницы действительно не оказалось; лестница, отправленная из Жавенэ, не дошла до места назначения; пламя ширилось, словно из кратера выливалась огненная лава; пытаться заглушить его, черпая воду из пересохшего ручейка, бегущего по дну рва, было столь же нелепо, как попытаться залить извержение вулкана стаканом воды.

Симурдэн, Гешан и Радуб спустились в ров; Говэн поднялся в зал, расположенный в третьем ярусе башни Тург, где находились вращающийся камень, прикрывавший потайной ход, и железная дверь, ведущая в библиотеку. Как раз здесь поджег Иманус пропитанный серою шнур, отсюда и распространилось по замку пламя.

Говэн привел с собой двадцать саперов. Оставалась единственная надежда— взломать железную дверь, но она была закрыта наглухо.

Саперы для начала пустили в ход топоры. Топоры сломались. Кто-то из саперов заметил:

— Против этой двери любая сталь — стекло.

И верно, дверь была из кованого железа. Да еще обшита двойными металлическими полосами в три дюйма толщины.

Решили взять железные брусья и, подсунув их под дверь, налечь на них; железные брусья тоже сломались.

— Как спички,— заметил тот же сапер.

Говэн мрачно проговорил:

— Только ядром и можно пробить эту дверь. Попытаться разве вкатить сюда пушку?

— Не поможет! — сказал сапер.

Наступила минута уныния. Все бессильно опустили руки. Побежденные, растерянные, молча смотрели они на эту страшную железную дверь. В узенькую щелку под ней пробивался багровый отблеск. А за дверью бушевал огонь.

Страшный труп Имануса справлял здесь свою зловещую победу.

Еще несколько минут, и все пропало.

Что делать? Никакой надежды на спасение нет.

Глядя на отодвинутый камень, за которым зиял потайной ход, Говэн воскликнул в отчаянье:

— Но ведь маркиз де Лантенак ушел по этому ходу.

— И по нему же вернулся,— раздался чей-то голос.

И в каменной рамке потайного хода показалась седая голова.

Это был маркиз.

Многие годы Говэн не видел его так близко, как сейчас, и невольно отступил.

Да и все присутствующие замерли, окаменев в тех позах, в которых их застало неожиданное появление маркиза.

В руках маркиз держал огромный ключ; высокомерным взглядом он словно отодвинул от себя саперов, стоявших на его пути, подошел к железной двери, наклонился и вставил ключ в замочную скважину. Ключ заскрипел, дверь отворилась, за ней открылась огненная бездна. Маркиз вступил в нее.

Вступил твердой стопой, не склонив головы.

Все с трепетом следили за ним.

Не успел маркиз сделать несколько шагов по охваченной пламенем зале, как вдруг паркет, подточенный огнем, дрогнул под шагами человека и рухнул, так что между дверью и маркизом легла пропасть. Но он даже не обернулся и продолжал идти вперед. Скоро он исчез в клубах дыма.

Больше ничего не было видно.

Удалось ли маркизу добраться до цели? Не разверзся ли под его ногами новый огнедышащий провал? Значит, единственное, что он может,— это погибнуть? Кто знает? Перед Говэном и саперами стояла сплошная стена дыма и огня. А по ту ее сторону был маркиз, живой или мертвый.

III

Дети, которых мы видели спящими, просыпаются

Тем временем дети все-таки открыли глаза.

Пламя, обходившее пока стороной библиотечный зал, окрашивало весь потолок в розоватые тона. Впервые де-

ти видели такую странную зарю и внимательно глядели на нее. Жоржетта вся погрузилась в созерцание.

Пожар развертывал перед ними все свое величие. Бесформенные клубы дыма, роскошно окрашенные в бархатисто-темные и пурпуровые цвета, превращались то в черного дракона, то в алую гидру. Искры, улетая вдаль, прочерчивали мрак, и казалось, что это гонятся одна за другой враждующие кометы. Огонь по своей природе расточителен: любой костер беспечно пускает на ветер целые алмазные россыпи, ведь не случайно алмаз — близкий родич углю. Стены третьего этажа местами прогорели, и из образовавшихся брешей огонь щедро сыпал в ров каскады драгоценных камней; солома и овес, пылавшие на чердаке, заструились из всех окон золотой пылью, зерна овса вдруг начинали сиять, как аметисты, а соломинки превращались в рубины.

— Къясиво! — заявила Жоржетта.

Трое ребятишек приподнялись.

— Ах! Они просыпаются! — закричала мать.

Рене-Жан встал на ноги, затем встал Гро-Алэн, затем поднялась Жоржетта.

Рене-Жан потянулся, подошел к окну и сказал:

— Мне жарко!

— Зяйко! — повторила Жоржетта.

Мать окликнула их:

— Дети! Рене! Алэн! Жоржетта!

Дети огляделись. Они старались понять. Там, где взрослым владеет страх, ребенком владеет любопытство. Кто легко удивляется, пугается с трудом; неведение полно отваги. Дети так не заслуживают ада, что даже при виде пламени преисподней пришли бы в восторг.

Мать крикнула снова:

— Рене! Алэн! Жоржетта!

Рене-Жан обернулся; голос привлек его внимание; у детей короткая память, зато вспоминают они быстрее взрослых; все их прошлое — вчерашний день; Рене-Жан увидел мать, счел ее появление вполне естественным, а так как кругом творились какие-то странные вещи, он хоть и смутно, но почувствовал необходимость в чьей-то поддержке и крикнул:

— Мама!

— Мама! — повторил Гро-Алэн.

— Мам! — повторила Жоржетта. И протянула к матери ручонки.

Мать закричала раздирающим голосом:

— Мои дети!

Все трое подбежали к окну; к счастью, пламя бушевало с противоположной стороны.

— Ой, как жарко! — сказал Рене-Жан и добавил: — Жжется!

Он стал искать глазами свою мать.

— Мама, иди сюда!

— Мам, иди! — повторила Жоржетта.

Мать с разметавшимися по плечам волосами, в разодранном платье, с окровавленными ногами бросилась, не помня себя, вниз по откосу, цепляясь за ветки кустарника. Там стояли Симурдэн с Гешаном, и внизу, во рву, они были столь же беспомощны, как Говэн наверху, в зеркальном зале. Солдаты, в отчаянии от собственной бесполезности, теснились вокруг них. Жара была непереносимая, но никто этого не ощущал. Они учили все — наклон обрыва у моста, высоту арок, расположение этажей и окон, недоступных для человека, а также необходимость действовать быстро. Но как преодолеть три этажа? Нет никакой возможности туда добраться. Весь в поту и крови, подбежал раненый Радуб — сабля рассекла ему плечо, пуля оторвала ухо; он увидел Мишель Флешар.

— Эге! — сказал он. — Расстрелянная! Вы, значит, воскресли?

— Дети! — вопила мать.

— Правильно, — ответил Радуб, — сейчас не время заниматься привидениями.

Он начал карабкаться на мост. Увы, попытка оказалась безуспешной. Обломав о каменную стену все ногти, он поднялся лишь на небольшую высоту; устои моста были гладкие, как ладонь, без трещинки, без выступа; камни были подогнаны, как в новой кладке, и Радуб сорвался. Пожар продолжал беспощадно бушевать; в пламенеющем квадрате окна ясно виднелись три светлые головки. Тогда Радуб погрозил кулаком небу и, впившись в него взором, словно ища там виновника, произнес:

— Так вот как ты себя ведешь, милосердный господь!

Мать упала на колени и, охватив руками каменный устой моста, молила:

— Смилуйтесь!

Потрескивание горящих балок сопровождалось шипением огня. Стекла в библиотечных шкафах лопались и со звоном падали на пол. Было ясно, что перекрытия замка сдают. Не в силах человека было предотвратить катастрофу. Еще минута, и все рухнет. Ждать оставалось одного — страшной развязки. А тоненькие голоса звали: «Мама, мама!» Ужас достиг предела.

Вдруг в окне, по соседству с тем, возле которого стояли дети, на пурпуровом фоне пламени возникла высокая человеческая фигура.

Все подняли головы, все впились взглядом в окно. Какой-то человек был там, наверху, какой-то человек проник в библиотечный зал, какой-то человек вошел в самое пекло. На фоне огня его фигура выделялась резким черным силуэтом, только волосы были седые. Все узнали маркиза де Лантенака.

Он исчез, затем появился вновь.

Грозный старик высунулся из окна, держа в руках длинную лестницу.

Это была та самая спасательная лестница, которую заблаговременно убрали в библиотеку, положили у стены, а маркиз подтащил ее к окну. Он схватил лестницу за конец, с завидной легкостью атлета перекинул ее через оконницу и стал осторожно спускать вниз, на дно рва. Радуб, стоявший во рву, не помня себя от радости, протянул руки, принял лестницу и закричал:

— Да здравствует Республика!

Маркиз ответил:

— Да здравствует король!

— Кричи все, что тебе угодно, любые глупости кричи.

Все равно ты сам господь бог,— проворчал Радуб.

Лестницу приставили к стене; теперь горящий зал и земля были соединены; двадцать человек во главе с Радубом бросились к лестнице и в мгновение ока заняли все перекладины снизу доверху, наподобие каменщиков, которые передают вверх на стройку или спускают вниз кирпичи. На деревянной лестнице выросла вторая живая лестница из человеческих тел. Радуб, взобравшийся на самую верхнюю ступеньку, оказался у окна, лицом к лицу с пламенем.

Солдаты маленькой армии, волнуемые самыми разнообразными чувствами, теснились кто в зарослях вереска, кто на склонах рва, кто на плоскогорье, а кто и на вышке башни.

Маркиз опять исчез, затем показался в окне, держа на руках ребенка.

Его приветствовали оглушительными рукоплесканиями.

Маркиз схватил первого, кто подвернулся ему под руку. Это оказался Гро-Алэн.

Гро-Алэн закричал:

— Боюсь!

Маркиз передал Гро-Алэна Радубу, тот передал его солдату, стоявшему ниже, а тот таким же образом передал следующему, и пока перепуганный плачущий Гро-Алэн переходил из рук в руки, маркиз снова исчез и через секунду появился у окна, держа на руках Рене-Жана. Рене-Жан плакал, отбивался и успел ударить Радуба, когда маркиз протянул ему малыша.

Маркиз в третий раз скрылся в зале, куда уже вошло пламя. Там оставалась Жоржетта. Лантенак подошел к ней. Она улыбнулась. И этот человек, будто высеченный из гранита, почувствовал вдруг, что глаза его увлажнились. Он спросил:

— Как тебя зовут?

— Зойзета, — ответила она.

Маркиз взял Жоржетту на руки, она все улыбалась, и в ту минуту, когда Радуб уже принимал малютку из рук маркиза, душа этого старика, столь высокомерного и столь мрачного, внезапно озарилась восторгом перед детской невинностью, и он поцеловал ребенка.

— Вот она, наша крошка! — кричали солдаты. Жоржетту тем же способом под восхищенные крики снесли с лестницы, и она очутилась на земле. Люди хлопали в ладоши, топали ногами; седые гренадеры плакали, а она улыбалась им.

Мать стояла внизу у лестницы, задыхаясь от волнения, уже ничего не сознавая, опьяненная тем, что произошло, разом вознесенная из преисподней в рай. Избыток радости по-своему ранит сердце. Она протянула руки, схватила сначала Гро-Алэна, затем Рене-Жана, наконец Жоржетту, осыпала их поцелуями, потом захохотала диким смехом и лишилась чувств.

Со всех концов слышались громкие крики:

— Все спасены!

И впрямь все, кроме старика, были спасены.

Но никто не думал о нем; возможно, и сам он тоже.

Несколько мгновений он задумчиво стоял на подоконнике, словно ждал, чтобы огонь сказал свое последнее слово. Потом не торопясь перешагнул через подоконник и, не оборачиваясь, медленно и величаво, прямой и словно застывший, стал спускаться по лестнице, спиной к бушующему пламени, среди общего молчания, торжественно, как призрак. Те, что еще замешкались на лестнице, быстро скатывались вниз; все почувствовали трепет и расступились в священном ужасе перед этим человеком, будто перед сверхъестественным видением. А он тем временем медленно спускался в подстерегавший его мрак; они отступали, а он приближался к ним; ничто не дрогнуло на его бледном, словно из мрамора изваянном лице; в его застывшем, как у призрака, взгляде не промелькнуло ни искорки; при каждом шаге, который приближал его к людям, смотревшим на него из темноты, он казался выше, лестница сотрясалась и скрипела под его тяжелой пятой,— казалось, это статуя командора вновь сходит в свою гробницу.

Когда маркиз спустился, когда он достиг последней ступеньки и уже поставил ногу на землю, чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся.

— Я арестую тебя,— сказал Симурдэн.

— Я одобряю тебя,— сказал Лантенак.

КНИГА ШЕСТАЯ

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЕТСЯ БИТВА

I

Лантенак в плену

И в самом деле, маркиз спустился в могильный склеп. Его увели.

Подземный каземат, расположенный под нижним ярусом башни Тург, был тут же открыт под строгим надзором самого Симурдэна; туда внесли лампу, кувшин с водой, каравай солдатского хлеба, бросили на пол охапку соломы, и меньше чем через четверть часа после того, как рука священника схватила маркиза, за Лантенаком захлопнулась дверь.

Затем Симурдэн отправился к Говэну; в это время где-то далеко, в Паринье, на колокольне пробило одиннадцать часов; Симурдэн обратился к Говэну:

— Завтра я соберу военно-полевой суд. Ты в нем участвовать не будешь. Ты — Говэн, и Лантенак — Говэн. Вы слишком близкая родня, и ты не можешь быть судьей; я порицаю Филиппа Эгалитэ за то, что он судил Капета. Военно-полевой суд соберется в следующем составе: от офицеров — Гешан, от унтер-офицеров — сержант Радуб, а я буду председательствовать. Все это тебя больше не касается. Мы будем придерживаться декрета, изданного Конвентом, и ограничимся тем, что установим личность маркиза де Лантенака. Завтра военно-полевой суд, послезавтра — гильотина. Вандея мертва.

Говэн не ответил ни слова, и Симурдэн, озабоченный важной миссией, которая ему предстояла, отошел. Нужно было назначить время и место казни. Подобно Лекинио в Гранвиле, подобно Тальену в Бордо, подобно Шалье в Лионе, подобно Сен-Жюсту в Страсбурге, Симурдэн имел привычку, считавшуюся похвальной, лично присутствовать при казнях; судья должен был видеть

работу палача; террор девяносто третьего года перенял этот обычай у французских парламентов и испанской инквизиции.

Говэн тоже был озабочен.

Холодный ветер дул со стороны леса. Говэн, передав Гешану командование лагерем, удалился в свою палатку, которая стояла на лугу у лесной опушки близ башни Тург; он взял свой плащ с капюшоном и закутался в него. Плащ этот, по республиканской моде, скупой на украшения, был обшит простым галуном, что указывало на высокий чин. Говэн вышел из палатки и долго ходил по лугу, обогренному кровью, так как здесь началась схватка. Он был один. Пожар все еще продолжался, но на него уже не обращали внимания; Радуб возился с ребятишками и матерью, пожалуй, не уступая ей в материнском усердии; замок уже догорал, саперы довершали дело огня, солдаты рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых, разбирали редюит, очищали залы и лестницы от трупов, наводили порядок на месте побоища, сметали прочь зловещий хлам победы — словом, с военной сноровкой и быстротой занялись тем, что было бы справедливо назвать генеральной уборкой после битвы. Говэн не видел ничего.

Погруженный в свои мысли, он рассеянно скользнул взглядом по черному пролому башни, где по приказу Симурдэна был выставлен удвоенный караул.

Этот пролом — в ночном мраке вырисовывались его очертания — находился приблизительно шагах в двухстах от луга, где Говэн надеялся укрыться от людей. Он видел эту черную пасть. Через нее начался штурм три часа тому назад; через нее Говэн проник в башню; за ней открывался нижний ярус с редюитом; из нижнего зала дверь вела в темницу, куда был брошен маркиз. Караул, стоявший у пролома, охранял именно эту темницу.

В то время как его взгляд угадывал неясные очертания пролома, в ушах его, будто похоронный звон, звучали слова: «Завтра военно-полевой суд, послезавтра — гильотина».

Хотя пожар удалось обуздать, хотя солдаты вылили на огонь всю воду, которую только удалось раздобыть, пламя не желало сдаваться без боя и еще выбрасывало багровые языки; слышно было, как трещат потолки и с грохотом рушатся перекрытия; взмывал целый

вихрь огненных искр, словно кто-то встряхивал горящим факелом; яркий отблеск на мгновение озарял небосклон, а тень от башни Тург, став вдруг гигантской, протягивалась до самого леса.

Говэн медленно шагал взад и вперед во мраке перед черным зевом пролома. Время от времени он, сцепив пальцы, закидывал руки за голову, прикрытую капюшоном. Он думал.

II

Говэн в раздумье

Мысль Говэна впервые проникала в такие глубины. На его глазах произошла неслыханная перемена.

Маркиз де Лантенак вдруг преобразился.

Говэн был свидетелем этого преобразования.

Никогда бы он не поверил, что сплетение обстоятельств, пусть самых невероятных, может привести к подобным результатам. Никогда, даже во сне, ему не пригрезилось бы ничего подобного. То непредвиденное, что высокомерно играет человеком, овладело Говэном и не выпускало его из своих когтей. Говэн видел, что невозможное стало реальным, видимым, осязаемым, неизбежным, неумолимым.

Что думал об этом он сам, Говэн?

Теперь уже нельзя уклоняться; надо делать выводы.

Перед ним поставлен вопрос, и он не смеет бежать от него.

Кем поставлен?

Событиями.

Да и не только событиями.

Коль скоро события, которые суть величина переменная, ставят перед нами вопрос, то справедливость, величина постоянная, понуждает нас отвечать.

За тучами, которые отбрасывают на нас черную тень, есть звезда, которая шлет нам свой свет.

Мы не можем избежать и этой тени и этого света.

Говэна допрашивали.

Допрашивал кто-то.

Кто-то грозный.

Его совесть.

Говэн чувствовал, как все в нем заколебалось. Его решения самые твердые, обеты самые священные, выво-

ды самые непреложные — все это вдруг рушилось в самых глубинах его воли.

Бывают великие душевные потрясения.

И чем больше он размышлял над всем виденным, тем сильнее становилось его смятение.

Республиканец Говэн верил, что он достиг — да он и впрямь достиг — абсолюта. Но вдруг перед ним только что открылся высший абсолют.

Выше абсолюта революционного стоит абсолют человеческий.

То, что произошло, нельзя скинуть со счетов; случилось нечто весьма важное, и Говэн сам был участником случившегося; был внутри его, не мог оказаться вне; пусть Симурдэн говорит: «Тебя это не касается», — он все равно чувствовал нечто сходное с тем, что должно испытывать дерево в ту минуту, когда его рубят под корень.

У каждого человека есть жизненная основа; потрясение этой основы вызывает глубокое смятение; Говэн испытывал именно такое смятение.

Он сжимал обеими руками голову, словно надеясь, что сейчас хлынет из нее свет истины. Разобраться в том, что произошло, было делом нелегким. Свести сложное к простому всегда очень трудно: перед Говэном словно был начертан столбец грозных цифр — предстояло подвести итог, итог слагаемых, данных судьбою, — есть от чего закружиться голове. Но он старался собраться с мыслями, силился дать себе отчет в происшедшем, сломить внутреннее сопротивление, восстановить ход событий.

Он выстраивал их одно за другим.

Кому не доводилось хоть раз в жизни, в чрезвычайных обстоятельствах, отчитываться перед собой и спрашивать у себя, каким путем идти — будь то вперед или назад?

Говэн только что был свидетелем чуда.

Пока на земле шла битва, шла битва и на небесах.

Битва добра против зла.

Было побеждено сердце, наводившее ужас.

Если принять во внимание, что в этом человеке было столько дурного — необузданная жестокость, заблуждения, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм, — то с ним поистине произошло чудо.

Победа человечности над человеком.

Человечность победила бесчеловечность.

С помощью чего была одержана победа? Каким образом? Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? Какое оружие было употреблено против него? Пушка, ружья? Нет, — колыбель.

Говэна как будто осенило. В разгар гражданской войны, в неистовом полыхании вражды и мести, в самый мрачный и самый яростный час схватки, когда преступление алеет пожаром, а ненависть чернеет мраком, в минуту борьбы, где все становится оружием, когда битва столь трагична, что люди уже не знают, где справедливость, где честность, где правда, вдруг в это самое время Неведомое — таинственный наставник душ — проливает свой извечный свет, перед которым бледнеют человеческие зори и ночи человеческие.

Лик истины внезапно воссиял из бездны над мрачным поединком меж ложным и относительным.

Неожиданно проявила себя сила слабых.

На глазах у всех три жалких крохотных существа, трое неразумных брошенных сироток, что-то лепечущих, чему-то улыбающихся, восторжествовали, хотя против них было все — гражданская война, закон возмездия, неумолимая логика расправы, убийство, резня, братоубийство, ярость, злоба, все фурии ада; на глазах у всех пожар, который вел к жесточайшему преступлению, отступил и сдался; на глазах у всех были расстроены и пресечены злодейские замыслы; на глазах у всех старинная феодальная жестокость, старинное неумолимое высокомерие, пресловутая вера в необходимость войны, государственные соображения, надменная предвзятость неистовствующей старости — все рассыпалось прахом перед невинным взором младенцев, которые почти и не жили еще. И это естественно, ибо те, кто мало жил, не успели еще сделать зла, они — сама справедливость, сама истина, сама чистота; великий сонм ангелов небесных живет в душе младенцев.

Поучительное зрелище, наставление, урок. Свирепые ратники безжалостной войны вдруг увидели, как перед лицом всех злодеяний, всех посягательств, всяческого фанатизма, всех убийств, перед лицом мести, раздувающей костер вражды, и смерти, шествующей с факелом в руке, над легионом преступлений подымалась всемогущая сила — невинность.

И невинность победила. Каждый вправе был ска-

зять: «Нет, гражданской войны не существует, не существует варварства, не существует ненависти, не существует преступления, не существует мрака; чтобы одолеть все эти призраки, достаточно было утренней зари — детства».

Никогда еще, ни в одной битве, так явственно не проступал лик Сатаны и лик бога.

И ареной этой битвы была человеческая совесть.

Совесть Лантенака.

Теперь началась вторая битва, еще более яростная и, может быть, еще более важная, и ареной ее была тоже совесть человека.

Совесть Говэна.

Человек — какое же это необъятное поле битвы!

Мы отданы во власть богов, чудовищ, гигантов, чье имя — наши мысли.

Часто эти страшные бойцы растаптывают своей пятой нашу душу.

Говэн размышлял.

Маркизу де Лантенаку, окруженному, запертому, обреченному, объявленному вне закона, затравленному, как дикий зверь на арене цирка, зажатому, как гвоздь в тисках, осажденному в его убежище, которому суждено было стать его тюрьмою, замурованному в стене из железа и огня, все же удалось ускользнуть. Произошло чудо — он скрылся. Он совершил побег, то есть сделал то, что требует в такой войне высшего искусства. Он снова стал хозяином леса и мог укрыться в нем, хозяином Вандей — и мог продолжать войну, хозяином мрака — и исчезнуть во мраке. Он снова стал грозным и вездесущим, стал зловещим скитальцем, вожакom невидимок, главой подземных обитателей леса, владыкой Боккажа. Говэн добился победы, но Лантенак добился свободы. Лантенак был уже в полной безопасности, был волен идти в любом направлении, выбрать любое убежище из тысячи. Он вновь становился неуловимым, неуязвимым, недосыгаемым. Лев попался в западню, но вырвался на волю.

И вот он вернулся.

Маркиз де Лантенак по доброй воле, во внезапном порыве, никем не понуждаемый, покинул верный мрак леса, лишился свободы и пошел навстречу неминуемой гибели, и пошел без страха. В первый раз Говэн уви-

дел его, когда он бросился навстречу пламени, рискуя жизнью, и второй раз — когда он спускался по лестнице, которую своими руками отдал врагу, по той лестнице, что принесла спасение другим, а ему принесла гибель.

Почему он пошел на это?

Чтобы спасти троих детей.

Что его ждет, этого человека?

Гильотина.

Итак, этот человек ради трех маленьких детишек — своих детей? — нет; своих внуков? — нет; даже не детей своего сословия — ради трех крохотных ребятишек, которых он почти и не видел, трех найденышей, трех никому не известных босоногих оборвышей, ради них он, дворянин, он, вельможа, он, старик, только что спасшийся, только что вырвавшийся на свободу, он, победитель, ибо его побег есть победа, поставил на карту все, все загубил, рискуя всем, и, спасая трех ребятишек, гордо отдал врагу свою голову, склонив перед ним свое доселе грозное, а теперь царственное чело.

А что собирались сделать?

Принять его жертву.

Маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью; не колеблясь в страшном выборе, он выбрал для себя смерть.

И с этим выбором согласились. Согласились его убить.

Такова награда за героизм!

Ответить на акт великодушия актом варварства!

Так унижить Революцию!

Так умалить Республику!

В то время как этот старик, проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображается, возвращаясь в лоно человечности, — они, носители избавления и свободы, неужели они так и не вырвутся из рутины гражданской войны, не отвергнут кровопролития, братоубийства?

Неужели высокий закон всепрощения, самоотречения, искупления, самопожертвования существует лишь для защитников неправого дела и не существует для воинов правды?

Как? Отказаться от борьбы великодушия? Примириться с таким поражением? Будучи более сильными — стать более слабыми, будучи победителями — стать убий-

цами, дать богатую пищу молве, которая не преминет разнести, что на стороне монархии — спасители детей, а на стороне Республики — убийцы стариков!

На глазах у всех этот закаленный солдат, этот могучий восьмидесятилетний старик, этот безоружный боец, даже не взятый честно в плен, а схваченный за шиворот в тот самый миг, когда он совершил благородный поступок, старик, сам позволивший связать себя по рукам и ногам, хотя на челе его еще не высох пот от трудов величественного самопожертвования, этот старец взойдет по ступеням эшафота, как восходят к славе. И голову его, вокруг которой витают, моля о пощаде, невинные ангельские души трех спасенных им младенцев, положат под нож, и казнь его покроет позором палачей, ибо люди увидят улыбку на устах этого человека и краску стыда на лице Республики.

И все это должно свершиться в присутствии его, Говэна, военачальника!

И он, который может помешать этому, он отстранится! И он сочтет себя удовлетворенным высокомерно брошенной фразой: «Тебя это уже не касается!» И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие — то же соучастие! И он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвуют двое: тот, кто действует, и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует, худший из двух, ибо он трус!

Но не сам ли он предуготовил эту смерть? Он, Говэн, милосердный Говэн, разве не объявил он, что милосердие не распространяется на Лантенака и что он предаст Лантенака в руки Симурдэна?

Да, он в долгу у Симурдэна, он обещал ему эту голову. Что ж, он платит свой долг. Вот и все.

Но та ли это голова, что прежде?

До сегодняшнего дня Говэн видел в Лантенаке лишь варвара с мечом в руках, фанатического защитника престола и феодализма, истребителя пленных, кровавого убийцу — порождение войны. И этого Лантенака он не боялся; этого палача он отдал бы палачу; этот неумолимый не умолил бы Говэна. Ничего не могло быть легче, путь, намеченный заранее, был зловеще прост, все было предрешиено: тот, кто убивает, — того убьют; оставалось только следовать, не уклоняясь, этой до ужаса прямолинейной логике. Внезапно эта прямая линия

прервалась, неожиданный поворот открыл иные горизонты, вдруг произошла метаморфоза. На сцену вышел Лантенак в новом облике. Чудовище обернулось героем, больше чем героем — человеком. Больше чем просто человеком — человеком с благородным сердцем. Перед Говэном был уже не прежний ненавистный убийца, а спаситель. Говэна захлестнуло потоками небесного света. Лантенак сразил его своим благодеянием.

Могло ли преобразование Лантенака не преобразить Говэна? Как? И этот свет не зажжет ответного света? Человек прошлого пойдет вперед, а человек будущего назад? Этот варвар, этот защитник суеверий воспарит ввысь, внезапно окрыленный, и сверху будет взирать, как влачится в грязи и мраке человек идеала! Говэн поползет по проторенным колеям жестокости, а Лантенак вознесется к неведомым вершинам!

И еще одно.

Узы родства!

Кровь, которую он прольет, — ибо позволить пролить кровь все равно что самому пролить ее, — разве это не его, не Говэна кровь? Родной дед Говэна умер, но двоюродный дед жив. И этот двоюродный дед зовется маркиз де Лантенак. И разве не восстанет из гроба старший брат, чтобы воспрепятствовать младшему сойти в могильный мрак? Разве не накажет он своему внуку с уважением взирать на этот нимб серебряных кудрей, подобных тем, что обрамляли чело старшего брата? И разве не сверкнет, будто молния, между Говэном и Лантенаком негодующий взор призрака?

Разве цель революции — извратить природу человека? Разве она свершилась лишь для того, чтобы разбивать семейные узы, душить все человеческое? Ведь восемьдесят девятый год поднялся над землей, чтобы утвердить эти непреложные истины, а отнюдь не затем, чтобы их отрицать. Разрушить все бастилии — значит освободить человечество; уничтожить феодализм — значит заново создать семью. Если считать, что власть начинается с творца и в нем самом заключена, то нет власти выше родительской; отсюда законность власти пчелиной матки, которая выводит свой рой: будучи матерью, она становится королевой; отсюда вся бессмысленность власти короля-человека, который, не будучи отцом, не может быть властелином; отсюда — свержение

монархии; отсюда — Республика. А что такое Республика? Это семья, это человечество, это революция. Революция есть пришествие народа; а ведь по сути Народ — это Человек.

Теперь, когда Лантенак вернулся в лоно человечества, следовало решить, вернется ли он, Говэн, в лоно семьи.

Теперь следовало решить, соединятся ли дед и внук, озаренные единым светом, или же тот шаг вперед, который сделал дед, вызовет отступление внука.

Это и было предметом того страстного спора, который вел Говэн со своей совестью, и решение, казалось, напрашивалось само собой: спасти Лантенака.

— Да... А Франция?

Тут головоломная задача оборачивалась иной стороной.

А Франция? Франция при последнем издыхании; Франция, отданная врагу, беззащитная, безоружная Франция! Даже ров не отделяет ее от неприятеля — Германия перешла Рейн; она не ограждена более стеной — Италия перешагнула через Альпы, а Испания через Пиренеи. Ей осталось одно — бескрайняя бездна, океан. Ее заступница — пучина. Она может еще опереться на этот щит, она, великанша, призвав в соратники море, может сразиться с землей. И тогда она неодолима. Но, увы, даже этого выхода у нее нет. Океан больше не принадлежит ей. В этом океане есть Англия. Правда, Англия не знает, как его перешагнуть. Но вот нашелся человек, который хочет перебросить ей мост, который протягивает ей руку, человек, который кричит Питту, Крэгу, Корнуэлсу, Дундасу, кричит этим пиратам: «Сюда!» — человек, который взывает: «Англия, возьми Францию!» И человек этот — маркиз де Лантенак.

Этот человек в нашей власти. После трех месяцев погони, преследований, ожесточенной охоты он наконец пойман. Длань революции опустилась на Каина; рука девяносто третьего года крепко держит за шиворот роялистского убийцу; по таинственному предначертанию свыше, которое вмешивается во все людские деяния, этот отцеубийца ждет теперь кары в фамильном замке, в их фамильной темнице; феодал заключен в феодальное узилище; камни его собственного замка возопили против него и поглотили его; того, кто хотел предать

свою родину, предал его родной дом. Сам господь явно способствовал этому. Пробыл назначенный час; революция взяла в плен врага всего общества; отныне он не может сражаться, не может бороться, не может вредить; в этой Вандее, где тысячи рук, он, и только он, был мозгом; умрет он, умрет и гражданская война; теперь он пойман; счастливая и трагическая развязка; после долгих месяцев бойни и резни он здесь, этот человек, который убивал, и настал его черед умереть.

Так неужели же у кого-нибудь подымется рука спасти его?

Симурдэн, другими словами, сам девяносто третий год, крепко держал Лантенака, другими словами, монархию. Так неужели найдется человек, который пожелал бы вырвать из стальных тисков эту добычу? Лантенак, воплощение того груза бедствий, что именуется прошлым, маркиз де Лантенак в могиле, тяжелые врата вечности захлопнулись за ним; и вдруг кто-то живой подойдет и отодвинет засов; этот преступник против всего общества уже мертв, вместе с ним умерли мятеж, братоубийство, зверская война, и вдруг кто-то пожелает воскресить их!

О, какой насмешкой осклабится этот череп!

И с каким удовлетворением промолвит этот призрак: «Прекрасно, я снова жив! Слышите вы, глупцы?»

И с каким рвением возьмется он вновь за свое гнусное дело! С какой радостью вновь окунется неумолимый Лантенак в пучину ненависти и войны! И уже завтра мы увидим пылающие хижины, убитых пленников, приконченных раненых, расстрелянных женщин!

Да полно, уж не переоценивает ли Говэн завожавший его добрый поступок старика?

Трое детей были обречены на гибель: Лантенак их спас.

Но кто обрек их на гибель?

Разве не тот же Лантенак?

Кто поставил их колыбельки среди пламени пожара?

Разве не Иманус?

А кто такой Иманус?

Правая рука маркиза.

За действия подчиненного отвечает начальник.

Следовательно, и поджигатель и убийца — сам Лантенак.

Что же он сделал такого необыкновенного?

Просто не довершил начатого. Не более.

Замыслив преступление, он отступил. Ужаснулся самого себя. Вопль матери разбудил дремавшую под спудом извечную человеческую жалость, хранительницу всего живого, что есть в каждой душе, даже в самой роковой. Услышав крик, он возвратился в замок. Из мрака, где он погряз, он обернулся к дневному свету. Совершив преступное деяние, он сам расстроил свои козни. Вот и вся его заслуга: не остался чудовищем до конца.

И за такую малость вернуть ему все! Вернуть просторы, поля, равнины, воздух, свет дня, вернуть лес, который он превратит в разбойничье логово, вернуть свободу, которую он отдаст на служение рабству; вернуть жизнь, которую он отдаст на служение смерти!

А если попытаться убедить его, попробовать вступить в сговор с этой высокомерной душой, обещать ему жизнь на определенных условиях, потребовать, чтобы в обмен на свободу он отказался впредь от вражды и мятежа, — какой непоправимой ошибкой был бы такой дар! Это даст ему огромное преимущество, и ответ его прозвучит как пощечина; с каким презрением воскликнет он: «Позор — это ваш удел! Убейте меня!»

Когда имеешь дело с таким человеком, есть всего два выхода: или убить его, или вернуть ему свободу. Он не знает середины; он способен и на низкий поступок, и на высокое самопожертвование; он и орел и бездна. Странная душа!

Убить его? Какая мука! Дать ему свободу? Какая ответственность!

Пощадив Лантенака, им пришлось бы начинать в Вандее все сначала: гидра остается гидрой, пока ей не отрубят последнюю голову. В мгновение ока, с быстротой метеора, пламя, затихшее с исчезновением этого человека, возгорелось бы вновь. Лантенак не уgomонится до тех пор, пока не приведет в исполнение свой гнусный замысел — придавить республику, словно могильным камнем, монархией, а Францию — Англией. Спасти Лантенака — значило принести в жертву Францию; жизнь Лантенака — это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных существ: мужчин, женщин, детей, захваченных водоворотом гражданской войны; это высадка англичан, отступление революции, разграбленные города, истер-

занный народ, залитая кровью Бретань — добыча, вновь попавшая в когти хищника. И в сознании Говэна, в свете противостоявших друг другу истин, в неверном свете сомнений, начинал брезжить и становился все яснее вопрос — выпускать ли тигра на волю?

И снова Говэн приходил к первоначальному рассуждению; камень Сизифа, который есть не что иное, как борьба человека с самим собой, снова скатывался вниз: значит, Лантенак — тигр?

Может быть, раньше он и был тигром, ну, а теперь? Мысль, пройдя по головокружительной спирали, возвращается к своим истокам, вот почему рассуждения Говэна были подобны свивающейся кольцом змее. В самом деле, можно ли, вникнув в суть дела, отрицать самоотречение Лантенака, его стоическую самоотверженность, его великолепное бескорыстие? Под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность! В споре низких истин провозгласить высшую истину! Доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех земных дел — способность человеческой души к всеобъемлющей нежности, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему, долг каждого старца по-отечески печься о младенцах! Доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы! Стать полководцем и отказаться от своего стратегического замысла, от битв, от возмездия! Будучи роялистом, взять весы, поместить на одну их чашу французского короля, монархию, насчитывающую пятнадцать веков, старые законы, их восстановление, старое общество, его воскрешение, а на другую — трех безвестных крестьянских ребятишек и обнаружить вдруг, что король, трон, скипетр и пятнадцать веков монархии куда легковеснее, чем жизнь трех невинных существ! Неужели же все это пустяки? Неужели же совершивший это был и останется тигром и должен впредь быть травим, как хищник? Нет, нет и нет! Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра пучину гражданских войн! Меченосец превратился в светоносца! Сатана, владыка преисподней, вдруг стал светозарным Люцифером. Лантенак, жертвуя собой, искупил все свои злодеяния; губя свое тело, он спас свою душу; он заслужил прощение грехов; он сам подписал себе помилование. Разве

не существует право прощать самому себе? Отныне он достоин уважения.

Лантенак доказал, что он способен совершить необычайное. Теперь очередь была за Говэном.

Теперь Говэну предстояло ответить на этот вызов.

Борьба добрых и злых страстей разыгрывалась сейчас над миром, порождая хаос. Восторжествовав над хаосом, Лантенак взял под защиту идею человечности; теперь Говэну надлежало сделать то же с идеей семьи.

Как он поступит?

Неужели он обманет доверие творца? Нет. И он прошептал еле слышно: «Спасу Лантенака».

Ну что ж! Спасай! Иди помогай англичанам в их замыслах! Стань перебежчиком! Перейди на сторону врага! Спаси Лантенака и предай Францию!

Говэн затрепетал.

Твое решение не есть решение, мечтатель! Говэн видел во мраке зловещую улыбку сфинкса.

Положение Говэна как бы ставило его на грозном перекрестке трех дорог, где сходились и сталкивались три истины, находившиеся в борении, и где мерились взглядом три самые высокие идеи, исповедуемые человеком: человечность, семья, родина.

Каждый из этих голосов вещал в свой черед, и каждый вещал истину. Как выбрать? Казалось, каждый в свой черед находил звено, соединяющее мудрость и справедливость, и говорил: «Поступи так». Надо ли так поступать? Да. Нет. Рассудок твердил одно, чувство говорило другое, и советы их противоречили друг другу. Рассудок — это всего лишь разум, а чувство — нередко сама совесть; первое исходит от человека, а второе — свыше.

Вот почему чувство не столь ясно, как разум, но более мощно.

И все же какая сила заключена в неумолимости разума!

Говэн был в нерешительности.

Жестокие колебания!

Две бездны открывались перед Говэном. Погубить маркиза? Или спасти его? Надо было броситься в одну из этих бездн.

Какая из этих двух пучин звалась долгом?

Плащ командира

А ведь дело шло как раз о долге.

В зловещем свете вставал этот долг перед Симурдэном, и в грозном — перед Говэном.

Простой для одного; сложный, многоликий, мучительный для другого.

Пробило полночь, затем час.

Говэн незаметно для себя приблизился к пасти пролома. Затухавшее пожарище бросало теперь лишь неяркие отсветы.

Те же отсветы падали на плоскогорье, по ту сторону башни, и оно то становилось отчетливо видным, то исчезало, когда клубы дыма заволакивали огонь. Эти вспышки вдруг оживавшего пламени, сменявшиеся внезапной темнотой, искажали размеры и очертания предметов, придавали часовым, стоявшим у входа в лагерь, вид призраков. Говэн, поглощенный своими думами, рассеянно следил за этой игрой; то дым исчезал в вспышках пламени, то пламя исчезало в клубах дыма. И в том, что происходило перед его глазами — в этом появлении и исчезновении света, — было нечто сходное с тем, что творилось в его мыслях, где также то появлялась, то исчезала истина.

Вдруг меж двух огромных клубов дыма, из полуугасшего пожарища, пронеслась пылающая головня, ярко осветила вершину плоскогорья и окрасила в багрянец темный силуэт повозки. Говэн взглянул на эту повозку; вокруг нее стояли всадники в жандармских треуголках. Он вспомнил, что эту самую повозку они с Гешаном видели в подозрную трубу несколько часов назад, еще до заката. Какие-то люди, забравшись на повозку, видимо, разгружали ее. Они снимали оттуда что-то, должно быть, очень тяжелое и издававшее по временам металлический лязг, трудно было сказать, что это такое; больше всего это, пожалуй, походило на плотничьи леса; два солдата сошли с повозки и опустили на землю ящик, в котором, судя по его форме, лежал какой-то треугольный предмет. Головня потухла, все вновь погрузилось во мрак. Говэн стоял в раздумье, пристально всматриваясь в темноту и стараясь понять, что там происходит.

А там зажигались фонари, сутились люди, но ночная мгла скрадывала очертания предметов, и снизу, с противоположной стороны рва, трудно было разглядеть, что делается на плоскогорье.

Оттуда доносились голоса, но слова сливались в нестройный гул. То и дело слышались удары по дереву. Временами раздавался металлический визг, словно точили косу.

Пробило два часа.

Говэн медленно, неохотно, как это бывает, когда делаешь шаг вперед, чтобы тут же отступить назад, направился к брешу. Когда он приблизился, часовой в потемках разглядел его командирский плащ с галунами и взял на караул. Говэн проник в зал нижнего яруса, превращенный в кордегардию. К балке под сводами прицепили фонарь. Его слабого света хватало ровно настолько, чтобы пройти по залу, не наступая на лежавших на соломѣ солдат, большинство из которых уже спали.

Они лежали здесь на том самом месте, где еще несколько часов назад дрались с врагом; пол, усеянный осколками, картечи, которую не удосужились вымести, вряд ли мог служить особенно удобным ложем, но люди утомились и теперь отдыхали. Этот зал еще так недавно был ареной ужасов; здесь начался штурм башни, здесь раздавались вой, рычание, скрежет, удары, здесь убивали, здесь выпускали дух; много солдат упало бездыханными на этот пол, где мирно почивали сейчас их товарищи; солома, служившая постелью для спящих, впитала кровь их соратников; сейчас все кончилось, кровь перестала литься, сабли были насухо вытерты, мертвецы были мертвецами, а живые спали мирным сном. Такова война. К тому же на всех нас, быть может, завтра снизойдет тот же сон.

При появлении Говэна кое-кто из спящих проснулся и приподнялся, и среди прочих офицер, начальник караула. Говэн указал ему на дверь темницы.

— Откройте,— промолвил он.

Тот отодвинул засовы, дверь открылась.

Говэн вошел в темницу.

Дверь за ним захлопнулась.

КНИГА СЕДЬМАЯ

ФЕОДАЛИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ

I

Старший родич

На полу каземата, выложенном плитами, стояла лампа около четырехугольной отдушины, пробитой в своде каменного мешка.

Тут же рядом на плитах пола виднелся кувшин с водой, солдатский паек хлеба и охатка соломы. Каземат был высечен прямо в скале, и если бы узнику пришла дикая мысль поджечь солому, он только впустую потерял бы время: тюрьма все равно бы не загорелась, а узник наверняка задохся бы.

Когда Говэн открыл дверь, маркиз шагал из угла в угол — так хищник в неволе мечется по клетке.

Услышав скрип отворившейся и захлопнувшейся двери, старик поднял голову, и лампа, стоявшая на полу, как раз между Говэном и маркизом, ярко осветила их лица.

Они взглянули друг на друга, и такова была сила их взгляда, что оба застыли на месте.

Наконец маркиз разразился хохотом и воскликнул:

— Добро пожаловать, сударь! Вот уже много лет, как я не имел счастья вас видеть. Но вы все же соизволили ко мне пожаловать. От души благодарю. Я как раз не прочь поболтать немного. Признаться, я уже начал скучать. Ваши друзья зря теряют время: установление личности, военно-полевой суд — только излишние проволочки. Я бы действовал гораздо быстрее. Я здесь у себя дома. Соболаговолите войти. Ну, что же вы мне скажете обо всем, что творится? Оригинально, не правда ли? Жили-были король и королева, король был король, королева была Франция. Отрубили королю голову, а королеву выдали за Робеспьера; от этого господина и этой дамы родилась дочь, которую нарекли «гильотина» и

с которой, если не ошибаюсь, мне завтра суждено свести знакомство. Заранее восхищен. Равно как и встречей с вами. Для чего вы явились сюда? Вас, возможно, повысили в чине, назначили палачом? Если это просто дружеский визит — я тронут. Вы, виконт, должно быть, уже забыли, что такое настоящий дворянин. Так вот он перед вами — это я. Смотрите хорошенько. Зрелище любопытное: верит в бога, верит в традиции, верит в семью, верит в предков, верит в благой пример отцов, верит в преданность, в честность, в долг по отношению к своему государю, уважает старые законы, добродетель, справедливость — и этот человек с наслаждением приказал бы расстрелять вас. Садитесь, сделайте милость. Придется, правда, сесть на пол — в этой гостиной нет кресел, но тот, кто живет в грязи, может сидеть и на земле. Я отнюдь не желаю обидеть вас своими словами, ибо то, что мы зовем грязью, вы зовете нацией. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я провозгласил: Свобода, Равенство, Братство? Мы находимся с вами в одной из комнат моего собственного дома; некогда сеньоры сажали сюда смердов; ныне смерды сажают сюда сеньоров. И вот эти-то нелепости называются революцией. Если не ошибаюсь, через тридцать шесть часов мне отрубят голову. Я не досажую на это обстоятельство, но люди вежливые прислали бы мне мою табакерку, которую я обронил в зеркальном зале, где вы играли ребенком, а я качал вас у себя на коленях. Я сейчас, сударь, сообщу вам нечто — вас зовут Говэн, и по странной игре случая в ваших жилах течет благородная кровь, та же черт побери, что и в моих, и именно эта кровь сделала меня человеком чести, а вас негодяем. Каждому свое. Вы скажете, что это не ваша вина. И не моя. Ей-богу же, человек становится преступником, сам того не замечая. Это зависит от того, кто каким воздухом дышит; в такие времена, как наши, никто не отвечает за свои поступки. Революция — большая плутовка в отношении всех и вся, и все ваши великие преступники просто дети. Экие глупцы! Начать хотя бы с вас. Примите мое восхищение. Да, я вами восхищаюсь. Помилуйте, юноша прекрасного рода, могущий занимать государственные посты, человек, в чьих жилах течет великолепная старинная кровь, достойная быть пролитой за великие дела, виконт, владелец вот этой самой Тур-Говэн, бретонский принц, в бу-

душем герцог и пэр Франции по праву наследования,— другими словами, имеющий все, чего только может пожелать на земле мало-мальски разумный человек, предпочел стать тем, что он есть сейчас, и посему враги считают его злодеем, а друзья — глупцом. Соболаговолите, кстати, засвидетельствовать аббату Симурдэну мое почтение.

Маркиз говорил непринужденным, миролюбивым тоном, ничего не подчеркивая, как и положено человеку светскому, серые его глаза смотрели спокойно, а руки были засунуты в карманы куртки. Он помолчал, глубоко вздохнул и заговорил снова:

— Не хочу скрывать — я делал все, чтобы вас убить. Я сам, собственной рукой трижды наводил на вас пушку. Не совсем учтиво, не спорю, но воображать, что на войне враг старается доставить нам удовольствие,— значит исходить из ложных соображений. Ибо мы, дорогой мой племянник, мы с вами воюем. Все предано огню и мечу. Ведь убили же короля. Прекрасные времена!

Он снова замолчал, потом начал:

— И ничего бы этого не произошло, если бы в свое время вздернули Вольтера и сослали Руссо на галеры. Ох уж эти мне умники! Сущий бич. А теперь, скажите честно: в чем вы можете упрекнуть монархию? Правда, аббата Пюселя сослали в его аббатство Корбиньи, но его не торопили и разрешили ему ехать в любом экипаже, какой ему заблагорассудится выбрать. А что касается господина Титона, который, с вашего разрешения, был отчаянным дебоширом и не прочь был заглянуть в веселое заведение, отправляясь смотреть чудеса диакона Париса, то этого Титона перевели из Венсенского замка в замок Гам в Пикардии,— откровенно говоря, довольно неприятное место. Вот и все обвинения... Как же, помню: я тоже возмущался в свое время: был таким же глупцом, как и вы.

Маркиз притронулся к карману, словно нащупывая табакерку, и продолжал:

— Но только не таким злобным. Мы говорили, чтобы говорить. Случалось, что бунтовали парламенты. А потом появились на сцене господа философы и, вместо того чтобы сжечь самих авторов, сожгли их сочинения, а тут еще начались все эти придворные интриги, вмешались эти ротозей Тюрго, Кенэй, Мальзерб,

физиократы и прочее и прочее, и пошла ссора. Все началось с писак и рифмоплетов. Ах, *Энциклопедия!* Ах, *Дидро!* Ах, *д'Аламбер!* Вот уж жалкие бездельники! Даже человек королевской крови, сам прусский король, и тот попался на их удочку! Я всех этих писак прибрал бы к рукам. Да, мы чинили суд и расправу! Вот, любуйтесь: здесь на стене следы колес, употребляемых для четвертования! Мы шутить не любили. Нет, нет, только не писаки! Пока есть Вольтеры, будут и Мараты. Пока есть бумагомаратели, переводящие бумагу, будут и мерзавцы, которые убивают; пока есть чернила, будут черные дела, пока человек держит в пятерне гусиное перо, легкомыслие и глупость будут порождать жестокость. Книжки творят преступления. Слово *химера* имеет двойной смысл — оно означает мечту, и оно же означает чудовище. Каким только вздором не тешат людей! Что это вы твердите о ваших правах? Права человека! Права народа! Да все это яйца выеденного не стоит: все это глупости и выдумка, прямая бессмыслица! Когда я, например, говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла в приданое графство Бретонское супругу своему Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэльскому, трон коего унаследовал Алэн Железная Перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась законным браком с Алэном Черным, владельцем земель и замка Рош-сюр-Ион, и была матерью Конана Младшего, прадеда Ги, или Говэна де Туар, то есть нашего предка, — я говорю вещи бесспорные, — вот оно — право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голытьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве. Что за мерзость! Ах, негодяи! Как это ни прискорбно для вас, сударь, но в ваших жилах течет благородная бретонская кровь; мы с вами оба происходим от Говэна де Туар; нашим с вами предком был великий герцог де Монбазон, который получил звание пэра Франции и был пожалован орденом цепи; он взял штурмом Тур, был ранен при Арке и скончался на восемьдесят шестом году жизни в чине обер-егермейстера в своем замке Кузьер в Турине. Я мог бы вам назвать также герцога Лодюна, сына госпожи де ла Гарнаш, Клода де Лорена, герцога де Шеврез, и Анри де Ленонкура, и Франсуаза де Лаваль-Буадоффен. Но к чему? Вам, сударь, угодно быть идиотом, вам не терпится стать ровней моему конюху. Знайте же: я был уже стари-

ком, когда вы лежали в колыбели. Я вытирал вам нос, сопляк, и сейчас я тоже утру вам нос. Вы как-то ухитрились расти и в то же время мельчать. С тех пор, что мы с вами не виделись, мы шли каждый своей дорогой: я — дорогой чести, а вы — в противоположном направлении. Не знаю, чем все это кончится, но, господа, ваши друзья — жалкие людишки. О, все это прекрасно, согласен, прогресс умопомрачительный,— еще бы! У нас солдат, уличенный в пьянстве, должен был три дня сряду выпивать перед фронтом штоф чистой воды,— это суровое, видите ли, наказание вы отменили; теперь у вас есть максимум, есть Конвент, епископ Гобель, господин Шомет и господин Эбер, и вы яростно уничтожаете все прошлое, начиная с Бастилии и кончая календарем, где святых вы заменили овощами. Ну что ж, господа граждане, будьте хозяевами, берите в руки бразды правления, располагайтесь как дома, не стесняйтесь. Но как бы вы ни изощрялись, религия все равно останется религией, и того обстоятельства, что монархия пятнадцать веков освещала нашу историю, вам не зачеркнуть, как не зачеркнуть и того, что старое дворянство, даже обезглавленное, все равно выше вас. А что касается ваших споров об исторических правах королевских династий, то ведь это же смеха достойно. Хильперик был простым монахом и звался Даниэль, и не кто иной, как Рэнфруа породил Хильперика, чтобы досадить Карлу Мартелу; все это мы знаем не хуже вас. Да разве в этом дело? Дело в том, чтобы быть великим королевством, быть старой Францией, быть превосходно устроенным государством, где почитаются священными, во-первых, особа монарха-самодержца, затем принцы, затем королевская гвардия, охраняющая с оружием в руках нашу страну на суше и на море, затем артиллерия, затем высшие правители и главные контролеры по финансам, затем королевские судьи и судьи низшие, затем чиновничество, взимающее подати и налоги, и наконец — три департамента королевской полиции. Вот что называется прекрасным и образцовым устройством, а вы разрушили его. Вы, жалкие невежды, вы уничтожили наши провинции, так и не поняв, чем они были. Гений Франции вобрал в себя гений всего континента, и каждая из провинций Франции представляла одну из добродетелей Европы; германская честность была представлена в Пикардии; вели-

кодушие Швеции — в Шампани; голландское трудолюбие — в Бургундии; польская энергия — в Лангедоке; испанская гордость — в Гаскони; итальянская мудрость — в Провансе; греческая смекалка — в Нормандии; швейцарская верность — в Дофинэ. А вы ничего этого не знали; вы все сломали, разбили, разнесли в щепы, уничтожили с равнодушием скотов. Ах, вы не желаете иметь аристократию? Что ж, больше ее у вас не будет. Вы еще пожалеете о ней. У вас не будет отныне рыцарей, не будет героев. Прощай, бывшее величие Франции! Покажите мне нынешнего Асса. Все вы трясетесь за свою шкуру. Не видать вам больше рыцарей, вроде тех, что сражались при Фонтенуа и сначала приветствовали противника и только потом убивали его; не видать вам воинов, подобных тем, что шли на штурм Лериды в шелковых чулках, не видать вам таких битв, где плюмажи кавалеристов проносились, словно метеоры; вы пропащий народ, вы еще испытаете самое страшное из бедствий — иноземное владычество; если Аларих Второй воскреснет, он не встретит достойного противника в лице Хлодвига; если воскреснет Абдеран, он не встретит достойного противника в лице Карла Мартела; если вернутся саксонцы, они не встретят больше Пепина, не будет у вас великих сражений: ни Аньяделя, ни Рокруа, ни Ленса, ни Стаффорда, ни Нервинда, ни Штейнкерка, ни Марсайля, ни Року, ни Лоуфельда, ни Магона; не видать вам ни Франциска Первого при Марьиньяне, ни Филиппа-Августа при Бувине, который одной рукой захватил в плен Рено, графа Булонского, а другой — Феррана, графа Фландрского. У вас будет Азенкур, но не будет кавалера Баквиля, великого знаменосца, который, завернувшись в знамя, дал себя так убить! Ну что ж, действуйте. Будьте новыми людьми. Мельчайте.

Помолчав немного, маркиз заговорил снова:

— Но предоставьте нам быть великими. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, разоряйте, разрушайте, режьте, топчите, попирайте своим сапогом древние установления, низвергайте троны, опрокидывайте алтари, свергайте бога и отпьясывайте на развалинах — это ваше дело. На то вы изменники и трусы, неспособные ни на преданность, ни на жертвы. Я кончил. А теперь, виконт, прикажите гильотинировать меня. Честь имею выразить вам свое нижайшее почтение.

К этому маркиз добавил:

— Да, я сказал вам много правды! Но что мне до того? Я мертв.

— Вы свободны! — сказал Говэн.

Говэн подошел к маркизу, снял с себя плащ, набросил на плечи старика и надвинул капюшон ему на глаза. Оба Говэна были одного роста.

— Что ты делаешь? — воскликнул маркиз.

Говэн, не отвечая, крикнул:

— Лейтенант! Откройте дверь.

Дверь открылась.

Говэн крикнул:

— Потрудитесь запереть за мной дверь.

И вытолкнул вперед оцепеневшего от неожиданности маркиза.

В низком зале, превращенном в кордегардию, горел, если помнит читатель, лишь один фонарь, еле-еле озарявший помещение своим неверным светом. При этом тусклом освещении солдаты, которые еще бодрствовали, увидели, как мимо них проследовал, направляясь к выходу, высокий человек в плаще, с низко надвинутым капюшоном, обшитым офицерским галуном; они отдали офицеру честь, и он исчез.

Маркиз медленно пересек кордегардию, прошел через пролом, стукнувшись раза два о выступы камней, и выбрался из башни.

Часовой, решив, что перед ним Говэн, взял на караул.

Когда Лантенак очутился на свободе, когда он ощутил под ногами луговую траву, увидел в двухстах шагах перед собой опушку леса, а там впереди просторы, почувал ночную свежесть, свободу, жизнь, он остановился и с минуту простоял неподвижно, как человек, который от неожиданности действует словно не по своей воле: увидев случайно открытую дверь, он выходит и вот теперь размышляет, правильно ли он поступил или нет, колеблется, идти ли дальше, и в последний раз проверяет ход своих мыслей. Потом, словно стряхнув с себя глубокую задумчивость, Лантенак приподнял руку, звонко прищелкнул пальцами и произнес: «Н-да!»

И исчез.

Железная дверь захлопнулась. Говэн остался в темнице.

Военно-полевой суд

В ту пору военно-полевые суды не имели еще точно установленного кодекса. Дюма в Законодательном собрании наметил первоначальный проект военного судопроизводства, переработанный позже Тало в Совете пятисот, но окончательный военно-полевой кодекс появился лишь в годы Империи. Заметим кстати, что именно во времена Империи был введен порядок, по которому при вынесении решения голоса должны были подаваться, начиная с низших чинов. Во время революции такого закона не существовало.

В девяносто третьем году председатель военно-полевого суда воплощал в своем лице чуть ли не весь состав трибунала, он сам назначал членов суда, устанавливал порядок подачи голосов по чинам и самую систему голосования; словом, был не только судьей, но и полновластным хозяином суда.

По мысли Симурдэна, заседание трибунала должно было происходить в том самом нижнем зале башни, где раньше помещался редюит, а сейчас устроили кордегардию. Он старался сократить путь от темницы до суда и путь от суда до эшафота.

В полдень, согласно его приказу, открылся суд в следующей обстановке: три соломенных стула, простой сосновый стол, два подсвечника с зажженными свечами, перед столом табурет.

Стулья предназначались для судей, а табурет для подсудимого. По обоим концам стола стояли еще два табурета: один — для комиссара-аудитора, которым назначили полкового каптенармуса, другой — для секретаря, которым назначили капрала.

На столе были приготовлены палочка красного сургуча, медная печать Республики, две чернильницы, папки с чистой бумагой и два развернутых печатных оповещения: одно — объявлявшее Лантенака вне закона, другое — с декретом Конвента.

За стулом, стоявшим посредине, поставили несколько трехцветных знамен; в те времена суровой простоты декорум был несложен, и не потребовалось много времени, чтобы превратить кордегардию в зал суда.

Стул, стоявший посредине и предназначенный для председателя суда, помещался как раз напротив двери в темницу.

В качестве публики — солдаты.

Два жандарма охраняли скамью подсудимых.

Симурдэн занял средний стул, по правую его руку сидел капитан Гешан — первый судья, по левую сержант Радуб — второй судья.

Симурдэн был в форме — в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Ярко-красный шрам от недавно зажившей раны придавал ему грозный вид.

Радуб решил наконец сделать перевязку. Он обмотал голову носовым платком, на котором медленно проступало кровавое пятно.

В полдень заседание суда еще не было открыто, перед столом стоял вестовой, а лошадь его ржала во дворе. Симурдэн писал. Писал следующие строки:

«Гражданам членам Комитета общественного спасения.

Лантенак взят. Завтра он будет казнен».

Ниже он поставил число и подпись, сложил и запечатал депешу и вручил ее вестовому, который тут же удалился.

Закончив писать, Симурдэн произнес громким голосом:

— Откройте темницу!

Два жандарма отодвинули засов, открыли дверь и вошли в каземат.

Симурдэн вскинул голову, сложил на груди руки и, глядя на дверь, крикнул:

— Введите арестованного!

Под сводом открытой двери появились два жандарма и между ними какой-то человек.

Это был Говэн.

Симурдэн задрожал.

— Говэн! — воскликнул он.

И добавил:

— Я велел привести арестованного.

— Это я, — сказал Говэн.

— Ты?

— Я.

— А Лантенак?

— Он на свободе.

— На свободе?

— Да.

— Бежал?

— Бежал.

Симурдэн пробормотал дрожащим голосом:

— Верно, ведь замо́к его, он знает здесь все лазейки. Должно быть, темница сообщается с каким-нибудь потайным ходом, я обязан был это предусмотреть... Он нашел возможность скрыться, для этого ему не понадобилось посторонней помощи.

— Ему помогли,— сказал Говэн.

— Помогли бежать?

— Да.

— Кто помог?

— Я.

— Ты?

— Я.

— Ты бредишь.

— Я вошел в темницу, я был наедине с заключенным, я снял свой плащ, я набросил свой плащ ему на плечи, я надвинул ему капюшон на лоб, он вышел вместо меня, я остался вместо него и стою здесь перед вами.

— Ты не мог этого сделать.

— Я это сделал.

— Это немыслимо.

— Это так.

— Немедленно привести сюда Лантенака.

— Его там нет. Солдаты, увидев на нем командирский плащ, приняли его за меня и пропустили. Было еще темно.

— Ты сошел с ума.

— Я говорю то, что есть.

Воцарилось молчание. Затем Симурдэн произнес, запинаясь:

— В таком случае ты заслуживаешь...

— Смерти,— закончил Говэн.

Симурдэн стал бледен как мертвец. Он застыл на месте, словно сраженный молнией. Казалось, он не дышит. Крупные капли пота заблестели на его лбу.

Вдруг окрепшим голосом он произнес:

— Жандармы! Пусть обвиняемый сядет.

Говэн опустил на табурет.

Симурдэн командовал жандармам:

— Сабли наголо!

Эта фраза произносилась в суде в тех случаях, когда обвиняемому угрожала смертная казнь.

Жандармы обнажили сабли.

Симурдэн заговорил теперь своим обычным голосом.

— Подсудимый! — сказал он. — Встаньте.

Он больше не говорил Говэну «ты».

III

Голосование

Говэн поднялся.

— Ваше имя? — спросил Симурдэн.

Говэн ответил:

— Говэн.

Симурдэн продолжал допрос:

— Кто вы такой?

— Командир экспедиционного отряда Северного побережья.

— Не состоите ли вы в родстве или в связи с бежавшим?

— Я его внучатный племянник.

— Вам известен декрет Конвента?

— Он лежит у вас на столе.

— Что вы скажете по поводу этого декрета?

— Что я скрепил его своей подписью, что я приказал выполнять его неукоснительно и что по моему приказанию было написано объявление, под которым стоит мое имя.

— Выберите себе защитника.

— Я сам буду себя защищать.

— Слово предоставляется вам.

Симурдэн вновь обрел свое бесстрашие. Но только бесстрашие эта походила более на равнодушие скалы, чем на спокойствие человека.

Говэн с минуту молчал, словно собираясь с мыслями.

Симурдэн повторил:

— Что вы можете сказать в свою защиту?

Говэн медленно поднял голову и, не глядя вокруг, начал:

— Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от ме-

ня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети,— они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добытых раненых, расстрелянных женщин, я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя,— это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти,— свою честь.

— Это все? — спросил Симурдэн.— Все, что вы можете сказать в свою защиту?

— Могу добавить одно: будучи командиром, я обязан был подавать пример, в свою очередь, и вы, будучи судьями, обязаны подать пример.

— Какой пример вы имеете в виду?

— Мою смерть.

— Вы находите ее справедливой?

— И необходимой.

— Садитесь.

Каптенармус, он же комиссар-аудитор, поднялся с места и прочитал сначала приказ, объявлявший вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет Конвента, согласно которому каждый, способствовавший побегу пленного мятежника, подлежит смертной казни. В заключение он огласил несколько строк, приписанных внизу печатного текста декрета, в которых «под угрозой смертной казни» запрещалось оказывать «какое-либо содействие или помощь» вышеупомянутому мятежнику и стояла подпись: «Командир экспедиционного отряда: Говэн».

Закончив чтение, комиссар-аудитор сел.

Симурдэн скрестил на груди руки и произнес:

— Подсудимый! Слушайте внимательно. Публика! Слушайте, смотрите и храните молчание. Перед вами закон. Сейчас будет проведено голосование. Приговор будет вынесен простым большинством голосов. Каждый судья выскажет свое мнение вслух, в присутствии обвиняемого, правосудию нечего таиться.— Помолчав, он добавил: — Слово предоставляется первому судье. Говорите, капитан Гешан.

Казалось, капитан Гешан не видит ни Симурдэна, ни Говэна. Он не подымал опущенных век, скрывавших

выражение его глаз, и не сводил пристального взгляда с приказа, лежавшего на столе,— он смотрел на него, как смотрит человек на разверзшуюся перед ним бездну. Он сказал:

— Закон ясен. Судья больше и в то же время меньше, чем человек: он меньше, чем человек, ибо у него не должно быть сердца, и он больше, чем человек, ибо в руке его меч. В четыреста четырнадцатом году до рождения Христова римский полководец Манлий обрек на смерть родного сына, преступление которого заключалось лишь в том, что он одержал победу, не испросив разрешения отца. Нарушение дисциплины требовало кары. В нашем случае нарушен закон, а закон еще выше дисциплины. Порыв милосердия вновь поставил под удар родину. Иной раз милосердие может обратиться в преступление. Командир Говэн помог бежать мятежнику Лантенаку. Говэн виновен. Я голосую за смертную казнь.

— Занесите в протокол, писец,— сказал Симурдэн. Писец записал: «Капитан Гешан: смерть».

Говэн произнес громким голосом:

— Гешан! Вы проголосовали правильно, благодарю вас.

Симурдэн продолжал:

— Слово предоставляется второму судье. Слово имеет сержант Радуб.

Радуб поднялся с места, повернулся к подсудимому и отдал ему честь. Потом прокричал:

— Если уж на то пошло, гильотинируйте меня! Потому что я, черт побери, даю честное слово, я сам хотел бы сделать то, что сделал старик, и то, что сделал мой командир. Когда я видел, как старик бросился прямо в огонь,— а ему восемьдесят лет,— чтобы спасти трех крошек, я тут же подумал: «Ну, молодец дед!» А когда я узнал, что наш командир спас этого старика от вашей окаянной гильотины, я — тысяча чертей! — так подумал: «Вас, командир, нужно произвести в генералы, вы настоящий человек, и если бы от меня зависело, будь я неладен, я бы вам дал крест Святого Людовика, если бы еще были кресты, если бы еще были святые и если бы еще были Людовики.» Да неужели мы все стали безмозглыми дураками? Если ради этого мы выиграли битву при Жемапе, битву при Вальми, битву при Флерюсе и

битву при Ватиньи, тогда прямо так и скажите. Вот уже четыре месяца наш командир Говэн гонит всю эту роялистскую сволочь, будто стадо баранов, и защищает Республику с саблей в руках, выигрывает битву под До-лем,— а тут надо мозгами пораскинуть. И вы, имея такого человека, все делаете, чтобы его потерять, и не то что в генералы не производите, а еще задумали ему голову отрубить! Да я вам прямо скажу: лучше уж броситься с Нового Моста. А вам, гражданин Говэн, я вот что скажу: не будь вы моим командиром, а, предположим, моим капралом, я бы прямо так и заявил: «Ну и глупостей вы здесь наговорили!» Старик хорошо сделал, что спас детей, вы хорошо сделали, что спасли старика, и если посылать людей на гильотину за то, что они делают хорошие дела, так пусть все идет к чертовой матери, тут уж я ничего не понимаю!.. Значит, и дальше так пойдет? Да скажите же мне, что все это неправда! Вот я сейчас себя ущипну,— может, мне это только сон привиделся? Может, я проснусь? Ничего не понимаю. Выходит, что старик должен был допустить, чтобы крошки сгорели заживо, выходит, что наш командир должен был позволить отрубить старику голову. Нет, уж лучше гильотинируйте меня. Мне оно будет приятнее. Вы только подумайте: ведь если 6 крошки погибли, батальон Красный Колпак был бы опозорен. Этого, что ли, хотели? Тогда уж давайте прямо перегрызем друг друга глотки. Я тоже в политике разбираюсь не хуже, чем вы все, я состоял в клубе секции Пик. Черт возьми! Неужели мы окончательно озверели? Я говорю то, что думаю. Не нравится мне, когда творятся такие дела,— прямо ума не приложишь, что происходит. Тогда какого дьявола мы под пули лезли? Для того, выходит, чтобы нашего командира убивали? Нет, нет, Луизетта,— прошу, как говорится, прощения. Командира нашего в обиду не дадим! Мне мой командир нужен! Я его сегодня еще сильнее люблю, чем вчера. Посылать его на гильотину! Да это же просто людей смешить! Нет, нет, этого мы не допустим. Я выслушал все, что вы тут плели. Говорите, что хотите. А я говорю — этому не бывать.

Радуб сел. Рана его открылась. Струйка крови показалась из-под повязки, прикрывавшей полуоторванное ухо, и поползла вдоль шеи.

Симурдэн повернулся к Радубу:

— Вы подаете голос за оправдание подсудимого?

— Я голосую,— ответил Радуб,— за то, чтобы его произвели в генералы.

— Я вас спрашиваю: вы подаете голос за его оправдание?

— Я подаю голос за то, чтобы его сделали первым человеком в Республике.

— Сержант Радуб! Голосуете вы за то, чтобы командир Говэн был оправдан, или нет?

— Я голосую за то, чтобы вместо него отрубили голову мне.

— Следовательно, за оправдание,— сказал Симурдэн.— Занесите в протокол, писец.

Писец написал: «Сержант Радуб: оправдать».

— Один голос за смертную казнь, один голос за оправдание. Голоса разделились,— сказал он.

Теперь голосовать должен был Симурдэн.

Он поднялся с места, снял шляпу и положил ее на стол.

Мертвенная бледность сошла с его лица, оно приняло землистый оттенок.

Если бы все присутствующие на заседании суда вдруг очутились в гробу, то и тогда бы в зале не могло быть тише.

Симурдэн торжественно провозгласил твердым и строгим голосом:

— Обвиняемый Говэн! Дело слушанием закончено. Именем Республики военно-полевой суд большинством двух голосов против одного...

Он замолчал, словно собирался с мыслями. Что заставляло его колебаться? Смерть? Жизнь? Все затаили дыхание. Симурдэн продолжал:

— ...приговаривает вас к смертной казни.

Лицо его исказила мука зловещего торжества... Должно быть, такая же устрашающая улыбка искривила уста Иакова, когда во мраке он поборол ангела и заставил его благословить себя.

Но этот мгновенный отблеск тут же угас. Лицо Симурдэна вновь застыло, словно мрамор, он надел шляпу и добавил:

— Говэн! Вы будете казнены завтра, на рассвете.

Говэн поднялся, поклонился и сказал:

— Я благодарю суд.

— Уведите осужденного, — приказал Симурдэн.

Симурдэн махнул рукой, дверь отворилась, темница поглотила Говэна, и дверь захлопнулась. Два жандарма с саблями наголо встали по обе ее стороны.

Радуба пришлось вынести на руках — он потерял сознание.

IV

Симурдэн-судья становится Симурдэном-учителем

Военный лагерь — то же осиное гнездо, особенно во времена революции. Жало гражданского гнева, которое таится в душе каждого солдата, слишком легко и охотно вырывается наружу; поразив насмерть врага, оно не постесняется уязвить и своего военачальника. Доблестный отряд, овладевший Тургом, жужжал на разные лады; сначала, когда прошел слух о том, что Лантенак на свободе, недовольство обратилось против командира Говэна. Когда из темницы, где полагалось сидеть взаперти Лантенаку, вывели Говэна, словно электрический разряд прошел по залу суда, и через минуту весть о происшествии облетела лагерь. В маленькой армии поднялся ропот. «Сейчас они судят Говэна, — говорили солдаты, — но это только для отвода глаз. Знаем мы этих бывших и попов. Сначала виконт спас маркиза, а теперь священник помилует аристократа!» Когда же разнесся слух о том, что Говэн приговорен к смертной казни, снова поднялся ропот: «Молодец Говэн! Вот командир у нас так командир! Молод годами, а герой! Что ж, что он виконт, если он при том честный республиканец, — в этом двойная заслуга! Как?! Казнить его, освободителя Понторсона, Вильдье, Понт-о-Бо?! Победителя при Доле и Турге?! Да ведь с ним мы непобедимы! Да ведь он меч республики в Вандее! Казнить человека, который нагнал страху на шуанов и вот уже пять месяцев исправляет все те глупости, что наделал Лешель с присными! И Симурдэн еще смеет приговаривать его к смертной казни! А за что? За то, что он спас старика, который спас трех детей! Чтобы поп убивал солдата? Этого еще не хватало!»

Так ворчали солдаты этого победоносного и растревоженного отряда. Глухой гнев подымался против Симур-

дэна. Четыре тысячи человек против одного — какая же это на первый взгляд сила! Но нет, это не сила. Четыре тысячи человек были толпой. А Симурдэн был волей. Каждый знал, что стоит Симурдэну нахмурить брови — и вся армия придет в повиновение. В те суровые времена, если за спиной человека подымалась тень Комитета общественного спасения, этого было достаточно, чтобы он стал грозой, и проклятия сами собой переходили в приглушенный ропот, а ропот в молчание. Был ли ропот или нет, Симурдэн распоряжался судьбой Говэна, равно как и судьбою всех остальных. Каждый понимал, что просить бесполезно, что Симурдэн будет повиноваться только своей совести, а ее нечеловеческий глас был слышен ему одному. Все зависело от него. То, что он решил в качестве военного судьи, мог перерешить он один в качестве гражданского делегата. Только он один мог миловать. Он был наделен чрезвычайными полномочиями: мановением руки он мог дать Говэну свободу; он был полновластным хозяином над жизнью и смертью; он повелевал гильотиной. В эту трагическую минуту он воплощал верховную власть, данную человеку.

Оставалось только одно — ждать.

Тем временем наступила ночь.

V

В темнице

Зал, где отправляли правосудие, вновь превратился в кордегарию; караулы, как и накануне суда, удвоили; два жандарма стояли на страже перед запертой дверью темницы.

В полночь какой-то человек с фонарем в руках прошел через кордегарию; он назвал себя и приказал отпереть двери темницы. Это был Симурдэн.

Он переступил порог, оставив дверь полуоткрытой.

В подземелье было тихо и темно. Симурдэн сделал шаг, поставил фонарь наземь и остановился. Во мраке слышалось ровное дыхание спящего человека. Симурдэн задумчиво вслушался в этот мирный звук.

Говэн лежал в глубине каземата на охапке соломы. Это его дыхание доносилось до Симурдэна. Он спал глубоким сном.

Стараясь не шуметь, Симурдэн подошел поближе и долго смотрел на Говэна; мать, склонившаяся над спящим младенцем, не глядит на него таким невыразимо нежным взглядом. Это, очевидно, было сильнее самого Симурдэна; он как-то по-детски прикрыл глаза кулаками и несколько мгновений стоял неподвижно. Потом он опустился на колени, бережно приподнял руку Говэна и прижался к ней губами.

Спящий пошевелился. Он открыл глаза, удивленно посмотрел вокруг, как озирается внезапно проснувшийся человек.

Свет фонаря слабо освещал подземелье. Говэн узнал Симурдэна.

— А,— сказал он,— это вы, учитель!

И, помолчав, добавил:

— А мне приснилось, что смерть целует мне руку.

Симурдэн вздрогнул, как порой вздрагивает человек, когда внезапно на него нахлынет волна разноречивых чувств, подчас эта волна так бурлива и высока, что грозит загасить душу. Но слова не шли из глубины сердца Симурдэна. Он мог выговорить лишь одно:

— Говэн!

Они поглядели друг на друга. Глаза Симурдэна горели тем нестерпимым пламенем, от которого сохнут слезы, губы Говэна морщила кроткая улыбка.

Говэн приподнялся на локте и заговорил:

— Вот этот рубец на вашем лице — он от удара сабли, который предназначался мне, а вы приняли его на себя. Еще вчера вы были в самой гуще схватки — рядом со мной и ради меня. Если бы провидение не послало вас к моей колыбели, где бы я был? Блуждал бы в потемках. Если у меня есть понятие долга, то лишь благодаря вам. Я родился связанным. Предрассудки — все равно что путы, вы освободили меня от них, вы дали мне взрасти свободно, из того, кто уже в младенчестве был мумией, вы сделали живое дитя. Вы зажгли свет разума в том, кто без вас оставался бы убогим недоноском. Без вас я был бы карликом. Только благодаря вам я живу и мыслю. Без вас я бы стал сеньором, а вы сделали из меня гражданина; я остался бы только гражданином, но вы сделали из меня мыслящее существо; вы подготовили меня к земной жизни, а душу мою — к жизни небесной. Вы вручили мне ключ исти-

ны, чтобы я познал человеческий удел, и ключ света, чтобы я мог приобщиться к неземному уделу. Учитель мой! Благодарю вас. Ведь это вы создали меня.

Симурдэн присел на солому рядом с Говэном и сказал:

— Я пришел поужинать с тобой.

Говэн разломил краюху черного хлеба и протянул ее Симурдэну. Симурдэн взял кусок; потом Говэн подал ему кувшин с водой.

— Пей сначала ты,— сказал Симурдэн.

Говэн отпил и передал кувшин Симурдэну. Говэн отхлебнул только глоток. Симурдэн пил долго и жадно.

Так они и ужинали: Говэн ел, а Симурдэн пил — верный признак душевного спокойствия одного и лихорадочного волнения другого.

Какая-то пугающая безмятежность царила в подземной темнице. Учитель и ученик беседовали.

— Назревают великие события,— говорил Говэн.— То, что совершает ныне революция, полно таинственного смысла. За видимыми деяниями есть деяния невидимые. И одно скрывает от наших глаз другое. Видимое деяние — жестоко, деяние невидимое — величественно. Сейчас я различаю это особенно ясно. Это удивительно и прекрасно. Нам пришлось лепить из старой глины. Отсюда этот необычайный девяносто третий год. Идет великая стройка. Над лесами варварства подымается храм цивилизации.

— Да,— сказал Симурдэн.— Временное исчезнет, останется непреходящее. А непреходящее — это право и долг, идущие рука об руку, это прогрессивный и пропорциональный налог, обязательная воинская повинность, равенство, прямой, без отклонений, путь, и выше всего самая прямая из линий — закон. Республика абсолюта.

— Я предпочитаю республику идеала,— заметил Говэн.

Он замолк, потом продолжал:

— Скажите, учитель: среди всего упомянутого вами найдется ли место для преданности, самопожертвования, самоотречения, взаимного великодушного доброжелательства, любви? Добиться всеобщего равновесия — хорошо, добиться всеобщей гармонии — лучше. Ведь лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет

и направляет человека; моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между тюрьмой и орлом.

— Ты запутался среди облаков.

— А вы — в расчетах.

— Не пустая ли мечта эта гармония?

— Но без мечты нет и математики.

— Я хотел бы, чтобы творцом человека был Эвклид.

— А я, — сказал Говэн, — предпочел бы в этой роли Гомера.

Суровая улыбка появилась на губах Симурдэна, словно он желал удержать на земле душу Говэна.

— Поэзия! Не верь поэтам!

— Да, я уже много раз это слышал. Не верь дыханию ветра, не верь солнечным лучам, не верь ароматам, не верь цветам, не верь красоте созвездий.

— Всем этим человека не накормишь.

— Кто знает? Идея — все равно что пища. Мыслить — значит питать себя.

— Поменьше абстракций. Республика — это дважды два четыре. Когда я дам каждому, что ему положено...

— Тогда вам придется еще добавить то, что ему не положено.

— Что ты под этим подразумеваешь?

— Я подразумеваю те поистине огромные взаимные уступки, которые каждый обязан делать всем и все должны делать каждому, так как в этом основа общественной жизни.

— Вне незыблемого права нет ничего.

— Вне его — все.

— Я вижу лишь правосудие.

— А я смотрю выше.

— Что же может быть выше правосудия?

— Справедливость.

Минутами они замолкали, словно мимо проплывали лучи света.

— Выразись яснее, если можешь, — сказал Симурдэн.

— Охотно. Вы хотите обязательной воинской повинности. Но против кого? Против других же людей. А я, я вообще не хочу никакой воинской повинности. Я хочу мира. Вы хотите помогать беднякам, а я хочу, чтобы нищета была уничтожена совсем. Вы хотите ввести пропорциональный налог. А я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы общественные расходы были сведены к простей-

шим формам и оплачивались бы из избытка общественных средств.

— Что же, по-твоему, надо для этого сделать?

— А вот что: первым делом уничтожьте всяческий паразитизм — паразитизм священника, паразитизм судьи, паразитизм солдата. Затем употребите с пользой ваши богатства; теперь вы спускаете туки в сточную канаву, — внесите их в борозду. Три четверти наших земель не возделаны, — подымите целину во всей Франции, используйте пустующие пастбища, поделите все общинные земли. Пусть каждый человек получит землю, пусть каждый клочок земли получит хозяина. Этим вы повысите общественное производство во стократ. Франция в наше время может дать крестьянину мясо лишь четыре раза в год; возделав все свои земли, она накормит триста миллионов человек — всю Европу. Сумейте использовать природу, великую помощницу, которой вы пренебрегаете. Заставьте работать на себя даже легчайшее дуновение ветра, все водопады, все магнетические токи. Земной шар изрезан сетью подземных артерий, в них происходит чудесное обращение воды, масел, огня; вскройте же эти земные жилы, и пусть оттуда для ваших водоемов потечет вода, потечет масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов. Поразмыслите над игрой морских волн, над приливами и отливами, над непрерывным движением моря. Что такое океан? Необъятная, но впусную пропадающая сила. Как же глупа наша земля! Не воспользоваться мощью океана!

— Ты весь во власти мечты.

— Нет, я во власти реальности, — ответил Говэн. — А женщина? Какую вы ей предоставляете роль?

— Ту, что ей свойственна, — ответил Симурдэн. — Роль служанки мужчины.

— Согласен. Но при одном условии.

— Каком?

— Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины.

— Что ты говоришь? — воскликнул Симурдэн. — Мужчина — слуга женщины! Да никогда! Мужчина — господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть — власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король.

— Согласен. Но при одном условии.

— Каком?

— Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье.

— Иными словами, ты требуешь для мужчины и для женщины...

— Равенства.

— Равенства? Что ты говоришь! Два таких разных существа...

— Я сказал «равенство». Я не сказал «тождество».

Вновь воцарилось молчание, словно два эти ума, метавшие друг в друга молнии, на минуту заключили перемирие. Симурдэн нарушил его первым:

— А ребенок? Кому ты отдашь ребенка?

— Сначала отцу, от которого он зачат, потом матери, которая носила его под сердцем, потом учителю, который его воспитает, потом городу, который сделает из него мужа, потом родине — высшей из матерей, потом человечеству — великому родителю.

— Ты ничего не говоришь о боге.

— Каждая из этих ступеней: отец, мать, учитель, город, родина, человечество — все они ступени лестницы, ведущей к богу.

Симурдэн молчал, а Говэн говорил:

— Когда человек достигнет верхней ступени лестницы, он придет к богу. Бог откроется человеку, и человек войдет в его лоно.

Симурдэн махнул рукой, словно желая предостеречь друга.

— Говэн! Вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.

— Для начала не сделайте его невозможным.

— Возможное всегда осуществимо.

— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?

— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реального. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, зато приобретет в полезности; пусть будет не столь широкой, зато станет вернее. Необходимо, чтобы право легло в основу закона, а когда право становится законом, оно становится абсолютом. Вот что я называю возможным.

— Возможное гораздо шире.

— Ну вот, ты снова начал мечтать!

— Возможное — это таинственная птица, извечно парящая над нами.

— Значит, нужно ее поймать.

— Но только живую.

Говэн продолжал:

— Моя мысль проста: всегда вперед. Если бы бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылке. Так будем же всегда смотреть в сторону зари, расцвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить. Треск старого рухнувшего дерева — призыв к молодому деревцу. Пусть каждый век свершит свое деяние, ныне гражданское, завтра человеческое. Ныне стоит вопрос о праве, завтра встанет вопрос о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в конечном счете означают одно и то же. Жизнь человека должна быть оплачена; давая человеку жизнь, бог возлагает на него обязательство; право — это плата, назначенная при рождении; заработная плата — это приобретенное право.

Говэн говорил проникновенно, как пророк. Симурдэн слушал. Они поменялись ролями, — казалось, теперь ученик стал учителем.

Симурдэн прошептал:

— Уж очень ты скор.

— Что поделаешь! Приходится поторапливаться, — с улыбкой ответил Говэн. — Учитель! Вот в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы хотите обязательной для всех казармы, я хочу школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы хотите грозного человека, а я — мыслящего. Вы основываете республику меча, я хотел бы основать...

Он помолчал.

— Я хотел бы основать республику духа.

Симурдэн, глядя на черные плиты пола, спросил:

— А пока что ты хочешь?

— Того, что есть.

— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?

— Да.

— Почему?

— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает весь лес.

Цивилизация была заражена чумой; нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится. Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана.

Говэн продолжал:

— А впрочем, что мне бури, когда у меня есть компас? Что мне бояться страшных событий, раз у меня есть совесть?

Он добавил тем низким голосом, который звучит торжественно:

— Есть некто, чьей воле нельзя чинить препятствия.

— Кто же это? — спросил Симурден.

Говэн указал пальцем ввысь. Симурден проследил взглядом его движение, и ему почудилось, что сквозь каменные своды темницы он прозревает звездное небо.

Они снова замолчали.

Наконец Симурден сказал:

— Ты выходишь за пределы реального общества. Я уже говорил тебе — это не область возможного, это мечта.

— Это цель. А иначе зачем людям общество? Живите в природе. Будьте дикарями. Таити, на ваш взгляд, рай, но только в этом раю нет места для мысли. А по мне, куда лучше мыслящий ад, нежели безмозглый рай. Да нет, при чем здесь ад! Будем людьми, обществом людей. Возвысимся над природой. Именно так. Если человек ничего не привносит в природу, зачем покидать ее лоно? Удовлетворитесь тогда работой, как муравьи, и медом — как пчелы. Будьте рабочей пчелой, а не мыслящей владычицей улья. Если вы привносите хоть что-то в природу, вы тем самым неизбежно возвышаетесь над ней; привносить — значит приумножать; приумножать — значит увеличивать. Общество — та же природа, но природа улучшенная. Я хочу того, чего нет у пчел в улье, чего нет у муравьев в муравейнике: мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзия, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжелой ноши — неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет, довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников, довольно отверженных!

Я хочу, чтобы все в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса; для ума я хочу свободы,

для сердца — равенства, для души — братства. Нет! Прочь ярмо! Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы расправить крылья. Пусть сгинут люди-ужи. Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой, хочу, чтобы земляной червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу...

Он остановился. Глаза его блеснули. Губы беззвучно шевелились. Он что-то шептал про себя.

Дверь темницы так и не закрыли. Какие-то невнятные шумы проникали снаружи в подземелье. Слышалось далекое пение горна, — очевидно, играли зорю; потом раздался стук прикладов о землю — это сменился караул; потом возле башни, сколько можно было судить из темницы, послышалось какое-то движение, словно перетаскивали и сваливали доски и бревна; раздалась глухая и прерывистая удары — должно быть, перестук молотков.

Симурдэн, бледный как полотно, вслушивался в эти звуки. Говэн не слышал ничего. Он все больше уходил в свои мечты. Казалось даже, что он не дышит, — с таким напряженным вниманием всматривался он в прекрасное видение, возникшее перед его глазами. Все его существо пронизывал сладостный трепет. Свет зари, зажегшийся в его зрачках, разгорался все ярче.

Так прошло несколько минут. Симурдэн спросил:

— О чем ты думаешь?

— О будущем, — ответил Говэн.

И снова погрузился в мечты. Симурдэн поднялся с соломенного ложа, где они сидели бок о бок. Говэн даже не заметил этого. Симурдэн, не отрывая взгляда от своего задумавшегося ученика, медленно отступил к двери и вышел.

Дверь темницы захлопнулась.

VI

Тем временем солнце взошло

В небе занималась заря.

Одновременно с рассветом на плоскогорье Тург, выше Фужерского леса, появилось нечто странное, неподвижное, загадочное и незнакомое небесным птицам.

Появилось здесь за ночь. Скорее выросло, чем было построено. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне неба пря-

мыми и жесткими линиями, издали напоминал букву древнееврейского алфавита или один из египетских иероглифов, с помощью которых была начертана одна из загадок древности.

Первая мысль, которую вызывал этот предмет, была мысль о его ненужности. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно возникал вопрос: каково его назначение? Затем глядевшего охватывал трепет. Сооружение напоминало помост, установленный на четырех столбах. На одном краю помоста были укреплены стоймя еще два столба, соединенные поверху перекладиной, к которой был подвешен треугольник, казавшийся черным на фоне утренней лазури. К другому краю помоста вела лестница. Внизу между двумя столбами прямо под треугольником можно было различить две доски, образующие вертикальную раздвижную раму, посреди которой имелось круглое отверстие; его диаметр равнялся диаметру человеческой шеи. Верхняя часть рамы скользила на пазах, так что не составляло труда ее опустить или поднять. Сейчас обе части рамы, которые при соединении образовывали посредине круглое отверстие, были раздвинуты. У подножия двух столбов с перекладиной, к которой был прикреплен треугольник, виднелась доска, легко вращавшаяся на шарнирах и походившая на обыкновенную доску качелей. Рядом с этой доской стояла продолговатая корзина, а между двух столбов впереди, на краю помоста, вторая корзина — квадратная. Она была выкрашена в красный цвет. Все сооружение было деревянное, за исключением металлического треугольника. Чувствовалось, что оно возведено руками человека, — таким оно было безобразным, жалким и ничтожным; и в то же время возвести его не погнушались бы и духи зла — таким оно было ужасным.

Это уродливое сооружение было гильотиной.

Напротив нее, по ту сторону рва, всего в нескольких шагах, возвышалось другое чудище — Тург. Каменное чудовище как будто дополняло чудище деревянное. Заметим кстати: стоит человеку коснуться дерева или камня, как и дерево и камень уже перестают быть деревом и камнем, а перенимают нечто от человека. Здание — это догма, машина — это идея.

Тургская башня была роковым итогом прошлого, который в Париже именовался Бастилией, в Англии —

Лондонской башней, в Германии — Шпильбергом, в Испании — Эскуриалом, в Москве — Кремлем, в Риме — замком св. Ангела.

В Турге было воплощено целых пятнадцать столетий: все средневековье, вассалы, крепостничество, феодализм, а в гильотине — только один год — девяносто третий; и эти двенадцать месяцев весили не меньше, чем пятнадцать веков.

Башня Тург — это была монархия; гильотина — это была революция.

Трагическое сопоставление.

С одной стороны — долги, с другой — расплата. С одной стороны — сложный лабиринт средневековья: крепостной и помещик, раб и хозяин, простолюдин и вельможа, лоскутное законодательство, обраставшее обычаями, судья и священник, действующие заодно, бесчисленные пути, поборы казны, подати сеньору, соляной налог, закрепощение, подушная подать, прерогативы, предрассудки, всяческий фанатизм, королевские милости, скипетр, трон, произвол, божественное право; с другой стороны — нечто простое: нож гильотины.

С одной стороны — узел; с другой — топор.

Долгие века башня Тург простояла в одиночестве среди пустынных лесов. Из ее устрашающих бойниц на голову врага лилось кипящее масло, горящая смола и расплавленный свинец; ее подземелья, усыпанные человеческими костями, ее застенки для четвертования были ареной неслыханных трагедий; мрачной громадой возвышалась она над этим лесом; пятнадцать веков укрытая лесной сенью, она вкушала грозный покой, на много миль вокруг она была единственной властью, единственной кумиром и единственным пугалом; она царила, она была само варварство, варварство самодержавное. И вдруг прямо перед ней, словно дразня ее, возникло что-то, — нет, не что-то, а кто-то столь же ужасный, как она сама: возникла гильотина.

Иной раз кажется, что камень тоже видит своим загадочным оком. Статуя наблюдает, башня подкарауливает, фасад здания взирает. Башня Тург словно приглядывалась к гильотине.

Она будто пыталась понять, спрашивала себя: «Что это такое?»

Странное сооружение как бы выросло из-под земли.

И впрямь оно выросло из-под земли.

Проклятая земля породила злоеющее древо. Из этой земли, щедро политой потоками пота, слез, крови, из этой земли, изрезанной сотнями рвов, могил, тайников, подземных ходов, из этой земли, где тлели кости многих и многих мертвецов, принявших все виды смерти, измышленной всеми тиранами, из этой земли, скрывавшей столько гибельных бездн, схоронившей в себе столько злодеяний, ставших роковым посевом, — из недр этой земли в назначенный срок выросла эта незнакомка, эта мстительница, эта жестокая машина, подъявшая меч, и девяносто третий год сказал старому миру: «Я здесь».

Гильотина с полным правом могла сказать башне: «Я твоя дочь».

И в то же время башня предугадывала (ведь подобные роковые громады живут своей сокрытой жизнью), что гильотина убьет ее.

Башня Тург робела перед возникшим перед ней грозным видением. Да, она словно испытывала страх. Это страшилище, эта каменная громада была величественна и гнусна, но плаха с треугольником была хуже. Развенчанное всемогущество трепетало перед всемогуществом новоявленным. Историческое преступление взидало на историческое возмездие. Былое насилие тягалось с сегодняшним насилием; старинная крепость, старинная темница, старинное обиталище сеньоров, в стенах которого звучали вопли пытаемых, это сооружение, предназначенное для войн и убийств, ныне непригодное ни для жилья, ни для осад, опозоренная, поруганная, развенчанная груда камней, столь же ненужная, как куча золы, мерзкий и величественный труп, эта хранительница зверских ужасов минувших столетий смотрела, как наступает грозная, но живая година. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним днем; жестокая старина лицеизрела новое страшилище и склонялась перед ним; то, что стало ничем, глядело сумрачным оком на то, что стало ужасом; видение всматривалось в призрак.

Природа безжалостна; она не желает перед лицом людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами; она подавляет человека контрастом божественной красоты и социального уродства; она не щадит его — она подчер-

кивает яркость крылышек бабочки, очарование соловьиной трели, и человек в разгар убийства, в разгар мщения, в разгар варварской бойни осужден взирать на эти святыни; ему не скрыться от укора, который шлет ему отовсюду благодать вселенной и неумолимая безмятежность небесной лазури. Видно, так надо, чтобы все безобразии человеческих законов выступало во всей своей неприглядной наготе среди вечной красоты мира. Человек крушит и ломает, человек опустошает, человек убивает. А лето — все то же лето, лилия — все та же лилия, звезда — все та же звезда.

Никогда еще в ясном небе не занимался такой чудесный рассвет, как в то летнее утро. Теплый ветерок шевелил заросли вереска, клочья тумана лениво цеплялись за сучья дерев. Фужерский лес, весь наполненный свежим дыханием ручейков, словно огромная кадь с благовониями, дымился под первыми лучами солнца; синева небес, белоснежные облачка, прозрачная гладь вод, вся гамма цветов от аквамарина до изумруда, кусты деревьев, братски переплетшихся ветвями, ковер трав, широкие равнины — все было исполнено той чистоты, которую природа создает в извечное назидание человеку. Среди этой мирной картины, словно напоказ, выставляло себя мерзкое людское бесстыдство; среди мирной картины виднелись друг против друга крепость и эшафот, орудие войны и орудие казни, образ кровавых веков и обгащенной кровью минуты, ночная сова прошлого и летучая мышь, возникшая в предрассветном сумраке будущего. И перед лицом цветущей, благоуханной, любвеобильной и прекрасной природы сияющие небеса, заливая светом зари башню Тург и гильотину, казалось, говорили людям: «Смотрите! Вот что делаю я и что делаете вы».

Такое страшное применение находит себе иной раз солнечный свет.

У этого зрелища были свои зрители.

Четыре тысячи человек, составлявшие экспедиционный отряд, стояли в боевом строю на плоскогорье. Шеренги солдат окружали гильотину с трех сторон, образуя геометрическую фигуру или, вернее, букву «Е»; батарея, расположенная в центре длинной ее стороны, служила для этого «Е» перпендикулярной черточкой. Казалось, что выкрашенное в красный цвет сооружение

заключено меж трех фронтов битвы, отгорожено живой стеной, доходившей с двух сторон до самого края плоскогорья; четвертая сторона была открыта: здесь проходил ров, за которым высилась башня.

Таким образом, получился как бы вытянутый прямоугольник, середину которого занимал эшафот. По мере того как разгоралась заря, тень от гильотины, лежавшая на траве, все укорачивалась.

Канониры стояли с зажженными факелами возле своих орудий.

Из оврага подымался тонкий синеватый дымок — там дотлевал пожар, уничтоживший мост.

Дымок заволакивал Тургскую башню, не скрадывая ее очертаний, вышка ее по-прежнему царила над всей округой. Башня была отделена от гильотины лишь шириною рва. Стоя на эшафоте и на вышке, люди могли бы свободно переговариваться.

На площадку вышки поставили судейский стол, стул и прикрепили позади трехцветные знамена. Заря разгоралась за Тургом, в ее лучах черная громада башни четко выступала на фоне порозовевшего неба, а на верху башни виднелся силуэт человека, — скрестив руки он неподвижно сидел на стуле, осененном знаменами.

Этот человек был Симурдэн. Как и накануне, на нем была одежда гражданского делегата, шляпа с трехцветной кокардой, сабля на боку и пистолеты за поясом.

Он молчал. Молчали все. Солдаты стояли, приставив ружья к ноге и не поднимая глаз. Каждый касался локтем соседа, но никто не произнес ни слова. В памяти людей вставали картины войны — бесчисленные схватки, бесстрашное движение цепи с ружьями наперевес, толпы разъяренных крестьян, рассеянных их пальбой, взятые крепости, выигранные сражения, победы, и теперь им казалось, что былая слава оборачивается позором. Грудь каждого сжимало мрачное ожидание. Все глаза были прикованы к палачу, расхаживавшему по высокому помосту гильотины. Свет разгоравшегося дня охватил полнеба.

Вдруг до толпы донесся тот приглушенный звук, который издают барабаны, обернутые крепом. Похоронная дробь с каждой минутой становилась громче; ряды разомкнулись, и вступившее в это каре шествие направилось к эшафоту.

Впереди — барабанщики в черном, затем рота гренадеров с ружьями, обращенными дулом вниз, затем взвод жандармов с саблями наголо, затем осужденный — Говэн.

Говэн шел свободно. Ему не связали веревками ни рук, ни ног. Он был в походной форме и при шпаге.

Шествие замыкал второй взвод конвоиров.

Лицо Говэна еще хранило след мечтательной радости, которая зажглась в его глазах в ту минуту, когда он сказал Симурдэну: «Я думаю о будущем». Несказанно прекрасна и возвышенна была эта улыбка, так и не сошедшая с его уст.

Подойдя к роковому помосту, он бросил взгляд на вершину башни. Гильотину он даже не удостоил взглядом.

Он знал, что Симурдэн сочтет своим долгом присутствовать при казни. Он искал его глазами. И нашел.

Симурдэн был бледен и холоден. Стоявшие рядом с ним люди не могли уловить его дыхание.

Увидев Говэна, он даже не вздрогнул.

А Говэн шел к гильотине.

Он шел и все смотрел на Симурдэна, Симурдэн смотрел на него. Казалось, Симурдэн ищет поддержки в его взгляде.

Говэн приблизился к подножию эшафота. Он поднялся на помост. Офицер, командовавший конвоем, последовал за ним. Говэн отстегнул шпагу и передал ее офицеру; затем снял галстук и отдал его палачу.

Он был подобен видению. Никогда еще он не был так прекрасен. Ветер играл темными кудрями, — в ту пору мужчины не стриглись так коротко, как в наши дни. Его шея блистала женственной белизной, а во взгляде было нечто героическое и высокое, напоминавшее взгляд архангела. И здесь, на эшафоте, он продолжал мечтать. Лобное место — тоже вершина, и Говэн стоял на ней, выпрямившись, спокойный и величавый. Солнечные лучи ореолом окружали его чело.

Полагалось, однако, связать казнимого. Палач подошел с веревкой в руке.

Но тут, видя, что их молодого командира сейчас положат под нож, солдаты не выдержали, закаленные сердца воинов переполнились горечью. Послышалось то, что редко доводится слышать, — рыдание войска. Разда-

лись крики: «Помиловать! Помиловать!» Некоторые падали на колени, бросив наземь оружие, протягивали руки к вершине башни, где сидел Симурдэн. Какой-то гренадер, указывая на гильотину, воскликнул: «А замена разрешается? Я готов!»

Все в каком-то иступлении кричали: «Помиловать! Помиловать!» Даже львы, услышав эти крики, дрогнули бы в ужасе, ибо страшна солдатская слеза.

Палач остановился в нерешительности.

Тогда с вершины башни раздался властный голос, и все услышали зловеющие слова, как тихо ни были они произнесены:

— Пусть исполнится закон.

Все узнали этот неумолимый голос. Это говорил Симурдэн. И войско затрепетало.

Палач больше не колебался. Он подошел к Говэну, держа в руках веревку.

— Подождите,— сказал Говэн.

Он повернулся лицом к Симурдэну и послал ему правой, еще свободной рукой прощальный привет, затем дал себя связать.

Уже связанный, он сказал палачу:

— Простите, еще минутку.

И крикнул:

— Да здравствует Республика!

Потом его положили на доску, прекрасную и гордую голову охватил позорный ошейник, палач осторожно приподнял на затылке волосы, затем нажал пружину, стальной треугольник пришел в движение и заскользил вниз, сначала медленно, потом быстрее, и все услышали непередаваемо мерзкий звук.

В ту же минуту раздался другой звук. На удар секиры отозвался выстрел пистолета. Симурдэн выхватил один из двух пистолетов, заткнутых за пояс, и в то самое мгновение, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурдэн выстрелил себе в сердце. Струя крови хлынула изо рта, он упал бездыханным.

Две души, две трагические сестры, отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом.

ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНАЯ СПРАВКА

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД

Как явствует из переписки Гюго с его учеником Полем Мерисом, едва закончив «Отверженных», он задумал роман из истории Великой французской революции. «Вы сто раз правы относительно *Девяносто третьего*, — пишет Гюго Мерису 18 октября 1862 г., — надо подождать, нужно расстояние между этими глыбами». Однако уже в следующем году писатель начинает собирать материал и ведет подготовительную работу, результатом которой стали девятнадцать папок с материалами, выписками, документами. Историю движения шуанов Гюго изучал по запискам одного из его руководителей, графа Жозефа де Пионзе, явившегося прототипом маркиза Лантенака. Писателем были протудированы также «Французская революция» Луи Блана, «История жирондистов» Ламартина, «История Робеспьера» Эрнеста Амеля, труды Мишле, Гарэ, Ф. Пиа и др. Основа романа определилась у Гюго к началу 1866 г.; 27 февраля 1866 г. в письме к директору газеты «Голуа» Де Пену Гюго называет «Девяносто третий год» «книгой, над которой я в настоящее время работаю». В начале 1867 г. он сообщает Стапферу, что его «главным начинанием» является роман о терроре. Но окончательно сложился у Гюго замысел его нового романа только после франко-прусской войны и Парижской Коммуны. Особенно упорно Гюго работал над книгой зимой и весной 1872/73 г. Роман был закончен 9 июня 1873 г. на Гернсее, выпущен в свет в трех томах Мишелем Леви 18 февраля 1874 г. и имел большой успех (до выхода отдельной книгой он публиковался фельетонами в газете «Рэп-пель»).

А. В. Луначарский писал о «Девяносто третьем годе»: «Гюго хочет сказать, что по отношению... к старому миру, по отношению к монархии революция была права, что без пролития крови, пожалуй, даже без террора, невозможно было сделать дела освобождения нового общества из цепей старого»¹.

Осуждая деятелей Конвента за прямолинейность и фанатизм, Гюго высоко ставит законодательные мероприятия Конвента, направленные к утверждению прогресса и цивилизации, признает огромное историческое значение французской революции.

М. Толмачев

¹ А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 томах, т. 6, стр. 94.

ВИКТОР ГЮГО

I

В «Былом и думах» Герцена приведен такой эпизод из жизни Гюго. Великому поэту Франции после декабрьского переворота и установления единоличной власти Наполеона Третьего грозила высылка и с английского острова Джерсей, его временного пристанища.

«Когда полицейский чиновник взшел к нему, чтоб прочесть приказ,—пишет Герцен,—Гюго позвал своих сыновей, сел, указал на стул чиновнику и, когда все уселись,—как в России перед отъездом,— он встал и сказал: «Г. комиссар, мы делаем теперь страницу истории (*Nous faisons maintenant une page de l'histoire*). Читайте вашу бумагу». Полицейский, ожидавший, что его выбросят за дверь, был удивлен легкостью победы, обязал Гюго подпиской, что он уедет, и ушел, отдавая справедливость учтивости французов, давших даже ему стул».

В этом описании чувствуется ироническая усмешка Герцена, может быть, и раздражение показным, малоцелесообразным, с точки зрения политического борца, поведением поэта. Действительно оно могло казаться наивным.

Однако на этот раз у Гюго были бесспорные основания действовать именно так, а не иначе. Он делал «страницу истории», далеко не личной.

В самой Англии бушевали митинги: ораторы выражали негодование по поводу высылки французских изгнанников с острова Джерсея. Герцен в Лондоне хорошо знал об этом.

Стоит прибавить, что при отплытии с Джерсея чуть не утонул большой сундук с рукописями поэта. То были «Созерцания», «Отверженные» — все, что в скором времени сделалось мощным выражением зрелого гения Гюго.

Должно было пройти более ста лет с тех пор, должна была наступить та самая история, о которой заботился Гюго, чтобы ирония Герцена, в свою очередь, потребовала переоценки.

Давно уже сказано, что поэта надо судить по тем законам, которые он сам над собою поставил.

Гюго заслужил право на такой суд. Его должно принять целиком: и как поэта, и как исторического деятеля, обусловленного

эпохой, и, наконец, как своеобразную личность, во всей ее характерной рельефности, в манере и стиле жизненного поведения.

Стремление делать страницу истории из событий своей жизни сопровождало Гюго на всех путях и перекрестках и в любом возрасте. У него было право не только выступать на исторической сцене, но и считать эту фигуральную сцену настоящими подмостками, ярко освещенными, требующими соответственных жестов, соответственной декламации с расчетом на дальний прицел, на длительное звучание сказанного.

В этом весь Гюго. Он всегда оставался верен себе.

Одним это нравилось и было понятно. Другим нет. В ином случае поведение и жестикация Гюго могли казаться чуть ли не пародийно-комическими. Так произошло с Герценом. Строгий и скромный, человек иного нравственного закала и воспитания, темперамента не менее сильного, но противоположного, чуждого всякой аффектации, Герцен усмехнулся, осуждая политическую недальновидность Гюго, его либеральное прекрасное, как любил выражаться люди сороковых годов в России.

Однако тут же рядом в «Былом и думах» Герцен отдает должное замечательному современнику и во многом единомышленнику: «Кого не заставил задуматься над вопросом смертной казни «Последний день осужденного» и в ком не возбуждали чего-то вроде угрызения совести резкие, страшно и странно освещенные, на манер Турнера, картины общественных язв, бедности и рокового порока?» Герцен безоговорочно называет Гюго «социалистом-художником».

У этой сочувственной и проницательной оценки значение тем большее, что она остается все же двойственной. Эта оценка со стороны,—употребляя термин Герцена, оценка с того берега. Герцен был слишком дальнзозорек, чтобы не забывать идейной дистанции между собой и Гюго.

За несколько месяцев до бонапартистского переворота в 1851 году, когда реакция во Франции откровенно ликвидировала все завоевания революции 1848 года, сын поэта журналист Шарль Гюго был привлечен к суду за статью с описанием страшной смертной казни браконьера и с требованием закона об ее отмене. Гюго взял на себя защиту сына и выступил на суде с пространной речью. Ясная логика, богатство аргументов, ссылки на историю, сарказм, негодование — все это было обрушено на головы присяжных заседателей в крайнем накале страсти и в то же время с полным самообладанием.

Знал ли Гюго о том, что проиграет процесс, что буржуазный суд не пощадит его сына? Он вполне мог это предвидеть. Однако самообладание оратора и его убежденность в своей правоте таковы, что в его речи нет оговорок, нет смягчающих оборотов. Интонация речи победоносна!

Гюго позволил себе большую смелость, даже дерзость по тем временам. Указав рукой на распятие в конце зала над головами судей, он воскликнул: «Клянусь перед лицом этой жертвы смертной казни, которая присутствует здесь, смотрит на нас, слышит нас! Клянусь перед этим крестом, на котором две тысячи лет тому назад, в назидаение всем грядущим поколениям, человеческий закон распял закон божественный!» И, по ремарке газетного отчета, эта тирада вызвала глубокое, невыразимое волнение в зале,

которое легко представить себе и через сто лет. В чем же клялся Гюго?

В том, что никогда не перестанет бороться против смертной казни, «пока дыхания хватит в моей груди!». В заключение речи он поздравил сына: «Тебя признали достойным сражаться, а возможно, и пострадать за святое дело истины».

И в этом эпизоде тоже весь Гюго. Таким был особый дар поэта и человека — делать страницу истории. Для этого требовалось прежде всего знать историю, скорее же стихийно чувствовать ее ритм, быть в истории как у себя дома.

Его жизнь растянулась почти на весь XIX век. Мальчиком он видел империю Наполеона и вместе со своим отцом проделал прославленные походы в Испанию. Едва простившись с отрочеством, он встретил реставрацию Бурбонов и созданный ими реакционный режим во Франции. Под влиянием матери, яростной монархистки (она была родом из Вандей), юный поэт в своих одах приветствовал «лилии Бурбонов». Первые его выступления сопровождались головокружительным успехом. Виктор Гюго сразу стал знаменит и признан как глава нового, романтического направления. Но политические взгляды его не отличались ясностью и стойкостью. Он продолжал метаться от Бурбонов к поддержке орлеанского двора Луи-Филиппа, а между тем на протяжении всех этих лет возмужания рос и укреплялся в нем культ Наполеона как высшее выражение патриотических надежд. В этом культе Гюго не был одинок, как известно. Его разделяло с ним все молодое поколение европейской интеллигенции.

Зрелым человеком и писателем, уже окончательно сформировавшимся революционным демократом, пережил Гюго революцию 1848 года.

Незадолго до кровавого переворота в декабре 1851 года Гюго говорил с трибуны Палаты депутатов: «Монархия славы, говорите вы? Так, так! Покажите-ка ее! Мне весьма любопытно поглядеть на славу этого правительства... Как! Оттого, что один выиграл битву при Маренго, вы требуете славы, выиграв битву при Сатори?... Как! После Августа — Августенок? Как! Оттого, что у нас был Наполеон Великий, требуется Наполеон Маленький?» Один из депутатов завопил: «Мы больше не хотим слушать! Плохая литература делает плохую политику. Мы протестуем во имя французского языка, во имя французской трибуны. Отнесите все это в театр Порт-Сен-Мартен, господин Гюго!» Гюго: «Вы знаете мое имя, а я не знаю вашего. Назовите себя». Услыхав ответ: «Бурбусон», — Гюго воскликнул: «Это сверх моих ожиданий», — чем вызвал дружный смех.

В декабре того же года, в кровавые дни переворота, Гюго на улицах Парижа. Депутат Палаты народных представителей, глава радикальной партии, он подвергается опасности ареста и выстрела из-за угла, сочиняет прокламации от имени партии к народу, проявляет недюжинную смелость, ночует где попало. Между ним и режимом Наполеона Третьего нет и не может быть соглашения на основе какого бы то ни было компромисса. Будущий «Наполеон Маленький» уже угадал в Гюго своего смертельного врага. Поэт вынужден покинуть родину. Он бежал из Франции в Бельгию под чужим именем, с чужим паспортом, в широком плаще с капюшоном.

Был ли он действительно не узнан или его не решились опознать,— неизвестно.

Мотив и з г н а н и я, образ изгнанника издавна преследовал его воображение: Эрнани — изгнанник, Барбаросса — изгнанник, наконец, сам Наполеон — дважды изгнанник, на Эльбе и на острове святой Елены.

Двадцатилетие, проведенное Гюго в изгнании, было решающим в жизни писателя и политического борца, во всем становлении его духовного облика. На каком-то рубеже своей длинной жизни Пикассо сказал: «Начинаешь становиться молодым надолго». Это полностью относится к Гюго того периода.

Почти семидесятилетним стариком вернулся он в осажденный пруссаками, голодный Париж. После позорного мира, заключенного с немцами, Гюго был избран депутатом в Национальное собрание, которое предпочло заседать в Бордо, а не в кипящем народным гневом Париже. Он сразу примкнул к левому, радикально-демократическому крылу, среди которого были Гамбетта, Луи Блан, Гарибальди, Клемансо (еще очень молодой тогда). Левое крыло было в ничтожном меньшинстве: пятьдесят против семи тысяч реакционеров и пораженцев. Стоит привести характеристику «Бордоской учредилки» в известной инвективе Эжена Потье:

Едва заняв места, пыталось дурачье
Разжаловать Париж, поднять лицо свое,
Смять революцию. Голосовала, бля,
Сих ископаемых чудовищ ассамблея.
Глухие мумии, слепые костяки
Нежданно вылезли на кладбище с тоски...

И Гюго скоро почувствовал, среди каких ископаемых чудовищ он вынужден бороться и действовать.

Герой итальянского освобождения Джузеппе Гарибальди еще в конце франко-прусской войны вступил добровольцем во французскую армию и оказался единственным из французских генералов не признавшим поражения и не принявшим мира. Пораженцы Национального собрания поставили вопрос об отнятии у Гарибальди депутатского мандата. Гюго выступил в защиту Гарибальди. Его речь прерывали бешеные крики. Председатель лишил его слова. Сходя с трибуны, он бросил свой мандат председателю.

Как раз в эти дни внезапно скончался его старший сын Шарль. Похороны его состоялись в день провозглашения Коммуны, 18 марта 1871 года.

Эдмон Гонкур рассказывает в своем дневнике: «Белая голова Гюго, в откинутом капюшоне, возвышалась за гробом над многоликой толпой. Она была похожа на голову монаха — борца времен Лиги. Гонкур имеет в виду Лигу XVI века под водительством Гиза, защищавшую католицизм от гугенотов.

Похороны Шарля Гюго слились с грандиозной манифестацией коммунаров.

Памятником отношения Гюго к Парижской Коммуне и к расправе, учиненной версальцами над парижскими рабочими, осталась его поэтическая книга «Страшный год». Здесь, как всегда, старый Гюго был на стороне побежденных, на стороне народа:

Поймите! Саваны покрыли их тела.
Я говорю, что тень содеянного зла
Висит над обществом, безжизненным отныне,
Что их предсмертный смех грознее, чем уныние,
Что должен трепетать живущий человек
Пред этой легкостью уйти от нас навек!

Третья республика окружила всемирно прославленного старца официальным почитанием и погребла его останки в Пантеоне. Но, помимо официальной стороны, было и другое. Была Франция и ее народ — миллионы простых людей, — читателей и почитателей Гюго. Среди них он был давно уже признан в своей славе и в своей власти над умами современников — тех, что были гораздо моложе его. Он был окружен любовью, почетом, восхищением. Эти чувства выражались многообразно.

В 1881 году отмечалось восьмидесятилетие Гюго. Его юбилей превратился в национальный праздник. Шествие простых людей с цветами и венками перед окнами его дома продолжалось весь день.

Люди приехали издалека, из всех французских провинций и городов.

Между тем сам Гюго решительно отказывался от каких бы то ни было демонстраций, ему адресованных: «Моя жизнь так полна утрат и горя, что у нее вообще нет праздников. Пора мне в дорогу!»

Когда юный Ромен Роллан увидел впервые Гюго, он был поражен отрешенным обликом поэта: «Но как же он был стар, весь белый, в морщинах, брови нахмурены, глаза впалые...»

В том же дневнике Гонкура, откуда уже была приведена одна цитата, мы находим иное изображение старого Гюго, правда, на шесть лет моложе. Это рассказ про поэта, читающего свои стихи у себя дома, — рассказ отчасти язвительный, но достоверный: «Он стоял у стола и готовился к чтению. Это напоминало манипуляцию притворщика перед сеансом... Вот он подходит к камину, держа в руках большие листы, объявляет, что бумага полотняная, то есть прочная. Медленно надевает очки, от которых из кокетства долгое время отказывался. Мечтательно вытирает потный лоб со вздувшимися венами. Во вступлении уверяет, что в голове у него целые миры: «Господа! Мне семьдесят четыре года, и я снова в пути». Он читает... отрывки из «Легенды веков», в которых есть сверхчеловеческие, прекрасные строки... На камине, сценически убранном для чтеца, зажжены четырнадцать свечей. Они отражаются в зеркалах и создают ему световой ореол. Лицо его, как он сам выражается, «призрачное чело» — окруженное нимбом, который отсвечивает в жестких, коротко остриженных волосах и посверкивает розовым в оттопыренных, как у сатира, ушах».

Гюго умер восьмидесяти четырех лет. Андре Моруа красноречиво рассказывает о его похоронах: «От башен Собора Парижской Богоматери, образующих первую букву его имени (Н), к Дому Инвалидов, под чьими сводами еще трепещут от его дыхания, от Триумфальной арки до Вандомской колонны, — весь Париж кажется одой, посвященной Гюго, — поэмой, чьи строфы останутся вершинами нашей истории».

Такой была эта долгая жизнь. Жизнь не только долгая, но и бурная. Бурная прежде всего, полная тревог и конфликтов, смер-

тельных опасностей и трагических утрат. Жизнь — как многоактная и многочастная драма с большим числом завязок и развязок, которые ничего не развязывали для главного героя. Одного только покоя не было в этой жизни.

На протяжении десятилетий, по мере того как герой старился, жилось ему все тревожнее и тревожнее. Один из ранних биографов Гюго называет его «гением борьбы» и тут же добавляет: «Да и слава его шла в неистовстве бешеных страстей». Это близко к истине и характеризует и Гюго и его эпоху. Но о многом позабылся он сам.

Потому что его долгая и бурная жизнь была к тому же и великолепной жизнью. Он страстно и до наивности откровенно любил успех, признание, шум вокруг себя и своей работы. Ему было необходимо ощущение подмостков, трибуны. В самом начале жизненного пути премьера трагедии «Эрнани» превратилась не только в демонстрацию молодых романтиков с овациями одних и свистками других, но и в настоящий скандал, чуть ли не в побоище. Так это и было задумано молодыми приверженцами Гюго.

Эти черты жизни и деятельности Гюго могут быть правильно поняты и оценены только в свете исторической перспективы. Это была весна буржуазной демократии. То, что сегодня дается легко, поддержанное услугами всяческой пропаганды, газетам, радио и телевидением, — тогда, в начале XIX века, выглядело совсем по-другому. Оно входило в программу борьбы за новое искусство, за романтизм и не носило характера рекламы и саморекламы. Успех был нужен как оружие. Так его и трактовали.

И не всегда легко установить, где кончалась борьба литературная и начиналась политическая.

Жизнь Гюго, как уже сказано, долгая, бурная и великолепная, сверх того была на редкость трудолюбивой жизнью. Книги стихов, романы, драмы, критика, политические памфлеты, парламентские и иные речи, воспоминания, письма к сотням современников в Европе и Америке, снова и снова книги стихов вплоть до глубокой старости... Творческое наследие Гюго не уместается в нескольких десятках томов. Оно отражает все умственные течения и все общественные движения XIX века, все смены политических режимов на родине поэта, всю историю мирового романтизма. Недаром Гюго остается и по сей день одним из самых читаемых, переведенных на все языки и «тиражных» писателей на всем земном шаре. Он оказался под рост и по плечу всем возрастам культуры. Это величайший популяризатор своего времени. Сказанное или изображенное им входит в кровь и плоть любого понимания, в том числе и самого элементарного, любой первоначальной грамотности. Удел для писателя необыкновенно завидный.

Недаром на протяжении более чем ста лет его всячески оспаривают, опровергают и ниспровергают бесчисленные служители так называемого «чистого искусства». Их приводит в ярость не столько слава Гюго, не столько повсеместное распространение его книг и драм, сколько законченность, уравновешенность и совершенство этого духовного облика.

В середине тридцатых годов XIX века Гюго был вынужден ответить на обвинения, которые ему предъявляла литературная и политическая реакция. Поэт ответил без излишней скромности, открыто, без обиняков. Это «Ответ на обвинительный акт» 1834 года.

На первый взгляд он как бы соглашается со своими судьями:

Я вкус растоптал и словесность убил,
Я мраку велел, чтобы мрак отступил.
И мрак отступает. И никнут и дрогнут
Язык и трагедия, школа и догмат.

Казалось бы, он соглашается и с бóльшим:

Я прошлое выкорчевал из основ
И с формой вытравил и содержанье,—
Чудовищно дело мое, парижане!

Тут-то и начинается увлекательная, красноречивая, яростная самозащита поэта. Ему потребовался экскурс и в историю родного языка и в историю поэзии. В эти отвлеченные размышления врывается самая злободневная публицистика:

Поэзия — та же монархия. В ней
Есть герцог и пэр. Есть и тени теней.
Разъятые меж теми и этими связи.
Немыслимо выйти из грязи да в князи!

Казалось бы, политика служит лишь оживляющей и наглядной метафорой — не более того. На самом же деле автор — искусный боец и полемист. На то он и поэт, чтобы сразу говорить о многом, чтобы читатель ощутил в подтексте образной речи ее двойное назначение:

А висельный сброд обитал в диалектах,
Гнездились в жаргонах, как в каторжных клетках,
В лохмотьях аргó щеголял босиком,
С малиной блатной с малолетства знаком,
Играл непотребные фарсы на рынке,
Вторгался в роман плутовской по старинке.
И старый лингвист эту нищую тварь
Включал под сомнительным грифом в словарь.

Но речь Гюго становится еще резче, еще яснее его тенденции:

Я ввел революцию в общество чучел
И красный колпак на словарь нахлобучил.

Он уже и сам веселится:

И музы плясать карманьолу пустились,
И жанры смешались, и стили сместились...

Наконец, утверждается недвусмысленность, однозначность этой самозащиты, перешедшей в открытое нападение:

Риторике в печку, а синтаксис в руки,—
Споем «Марсельезу», любезные други!

Да, это было открытое нападение, открытое признание со стороны Гюго в коренном перевороте, исподволь в нем совершавшемся в те годы. Он перешел в стан радикальной и революционной де-

мократии. Именно он, сын матери-вандейки и наполеоновского генерала, в юности автор монархических од и пламенный католик.

Если жизнь каждого мыслящего и растущего вместе с временем человека представляет из себя ту или другую драму идей, то длинная, растянувшаяся чуть ли не на весь XIX век жизнь Виктора Гюго в этом отношении особенно поучительна.

Раскованный словарь, вобравший в себя находки разговорного, площадного просторечия, раскованный синтаксис, освобожденный от правил школьной риторики, раскованный ритм, отвергший классическую просодию, подвижная цезура в двенадцатисложном стихе, свободные переносы из строки в строку — все эти новаторские черты в поэтике Гюго доступны и в переводе, но, конечно, в подлиннике они видны еще резче.

Еще раз: этого поэта надо принять целиком, во всех оттенках и противоречиях его богатства.

И тогда в настоящем свете предстают и сокрушительная искренность Гюго и высокое благородство его служения социальной правде. То и другое не только выражение его идейной позиции, но и коренное свойство его поэтики.

Изуродованный компрачи́косами и брошенный ими в снежную ночь, ребенок неминуемо должен погибнуть. Он выжил, вырастет, становится бродячим, балаганным комедиантом — любимцем лондонской толпы. Однажды судьба его круто меняется — чего не случается в хорошей сказке! — и возносит на самую вершину социальной лестницы. Комедиант Гуинплен превратился в лорда Кленчарли. Он выступает в Палате лордов. На смятенный и высокомерный вопрос: «Кто вы? Откуда вы явились?» — раздается ответ:

«Из бездны... Кто я? Я — нищета! Милорды! Вы должны меня выслушать... Я пришел сообщить вам новость: на свете существует род человеческий».

Кем бы ни были герои Гюго, какой бы исключительной, необычной, невероятной судьбой ни наделил их автор, все они в минуту высшего напряжения и самораскрытия выступают от имени «рода человеческого» — никак не меньше! И говорят о главном: о том, что род человеческий в подавляющем большинстве несчастен, голоден, угнетен.

Так заставлял Гюго выступать и действовать своих героев, внушая им свойственную ему широту жеста. И в этом он был последователен. Основное свойство его поэтики — ощущение масштабности события и масштабности его участников.

Перед читателями (не говоря уже о театральных зрителях) возникает некий воображаемый просцениум, полукругим вдвинутый в зрительный зал и освещенный прожекторами, которые кладут резко контрастные тени на лица, выхватывают из сумрака как раз то, чему принадлежит решающее значение при каждом новом повороте действия, сюжета, темы. Это поэтика театра, метод режиссуры, сознательно примененный в романе, в балладе, в политической сатире.

О том, как Гюго применял его в собственной политической деятельности, уже сказано. И там и в творчестве средства употребляются сильнейшие, действующие безошибочно, если применить современную терминологию — ударные.

Краски Гюго могут показаться резкими, его кричащие антитезы — наивными. Может быть, кое-кто из искушенных — чересчур искушенных! — читателей закроет досадливо книгу на той самой странице, которая только что процитирована, и отнесет речь Гуинплена в Палате лордов к числу дешевых мелодрам. Может быть! Такие случаи бывали и до сей поры часто повторяются. Но пусть этот читатель вспомнит свое отрочество, когда книги брались штурмом и проглатывались в течение ночи. Пусть он вспомнит, как потрясали его бури, бушующие в книгах великого романтика! И читатель низко поклонится памяти этого чудаковатого и доброго старика с громовым голосом — поэта, который до конца своих дней сохранил юношеское сердце!

Сила Гюго как раз в этих кричащих антитезах, в ослепительных контрастах. Он хорошо знал об этом и не однажды декларировал свою любовь и приверженность к такому языку и обосновывал свое право говорить на нем.

В ранней юности, сразу став признанным поэтом, он прежде всего позаботился о том, чтобы завоевать театральные подмостки. К этому плацдарму его тянуло стихийно.

В 1826 году он написал свою первую драму «Кромвель».

Позиция Гюго в «Кромвеле» рисуется сложнее, чем это могло бы казаться на поверхностный взгляд. Герой драмы — вождь буржуазной революции XVII века, лорд-протектор Оливер Кромвель, тот самый, что послал на эшафот английского короля. Как появился такой герой в драме молодого романтика?

В глазах автора это прежде всего узурпатор. Он жесток, непомерно честолюбив и властолюбив. Современники угадывали в нем знакомый им прототип — Наполеона, в 1821 году закончившего бурную жизнь на острове святой Елены. У Гюго это фигура по-своему героическая, на много голов выше всех окружающих и вызывает невольное уважение и симпатию, несмотря на все отрицательное, что можно сказать о характере Кромвеля. Говоря языком той эпохи, Кромвель — муж рока.

Но сложность, двуплановость позиции Гюго сказывается не в трактовке Кромвеля, а в том, как изображено его окружение. Оно состоит из тайных и явных приверженцев монархии. И здесь обнаруживается, что историческая правда и точность намеренно отодвинуты автором на второй план, а на первом действуют иные, не только современные для Гюго, но и прямо злободневные намеки и сближения.

Кромвеля окружают вчерашние придворные Стюартов, сегодняшние предатели, завсегдаши в доме у диктатора, чуть ли не домашняя его челядь. Они готовы продать и нового хозяина, едва представится случай. Сегодня они его льстецы, отчасти шпионы. Среди них есть и заговорщики, тайно действующие в пользу восстановления короля. В целом же это разношерстная, беспринципная банда рвачей.

Такое зрелище представил молодой Гюго суду современников. Эти последние легко узнавали в действующих на сцене прозелитов Людовика Восемнадцатого и Карла Десятого, узнавали ветреную банду ничтожеств, тех самых роялистов, вчерашних эмигрантов, которые «ничего не забыли и ничему не научились», а в момент создания драмы были во Франции всеисильны и казались единомышленниками Гюго. Он изобразил их грубо, гротескно, от-

части карикатурно. Это затея маскарадно-карнавальная. Тенденция выражена неприкрыто и подается с величайшим пылом-жаром. С видимым злорадством показывает к тому же Гюго, как низкопоклонно ищут союза с вождем революции легитимные монархи Европы, как третирует их посланников Кромвель.

Эти черты не случайны и не побочны в «Кромвеле». Они-то и составляют животрепещущую суть произведения. Драматург делает свое дело с толком, с отличным пониманием зрительного зала. Он стремится быть доходчивым. Недаром драма была запрещена.

«Кромвель» предпослано знаменитое предисловие, названное манифестом романтизма. Это программный документ нового поэтического направления. На нем следует остановиться как на обосновании поэтики автора.

Перед молодым поэтом обширный исторический горизонт, вмещающий античность, средние века, Возрождение и новое время. С историей поэзии сопоставлена история религий и мифов. Поэзия вмещает в себя эпос, лирику, наконец, драму как вершину поэтического творчества. Поэзия — предмет особо страстной заинтересованности Гюго.

Он предпринимает планомерную осаду крепости классицизма. Ему ненавистны требования недавно господствовавшей школы, докучны и смешны зачитанные до дыр Буало и Лагарп. Это его вчерашний день, а сегодня — смертельный враг.

Уже найдено имя, ставшее знаменем молодого поколения. Оно красноречиво противопоставлено классикам. Это Шекспир. Не однажды в будущем Гюго вернется к великому английскому поэту, а в 1826 году он спел Шекспиру первый дифирамб: «...Один человек, один поэт — царь, *poeta sovrano* (поэт самодержавный), как называл Данте Гомера... Шекспир — это драма, сплавливающая одним дыханием высокое и смешное, ужасное и шутовское, трагедию и комедию...»

Речь идет о раскрепощении драматического поэта, об освобождении от условной иерархии жанров — вопрос более чем злободневный в ту пору, особенно во Франции, где власть традиции и авторитетов была всегда живуча. Характеризуя ложноклассические каноны и особенно их приверженцев, поздних эпигонов Корнеля и Расина, а в их лице разоблачая собственных критиков и судей, Гюго язвителен в полную меру возраста, дарования и раздражения. Здесь звучит необузданный задор, заставляющий вспомнить декларации наших футуристов в десятых годах нашего века. Манифест Гюго тоже был своего рода «пощечиной общественному вкусу».

Гюго отказывается от любой условной отвлеченности классиков, от равнодушия к исторической правде, к местному колориту — во имя характерного, индивидуально выразительного, резко окрашенного любой необычностью. Одно из главных требований при этом — смешение высокого с низменным. Для Гюго исчерпан и пуstopорожен идеал античной красоты, взятый на вооружение классиками и провозглашенный ими единственным в искусстве. С увлечением первооткрывателя ищет Гюго черты гротеска, живости, близости к жизни в средневековом искусстве, а еще ранее — в самой античности. Он знаток и энтузиаст. Деревянные и каменные демоны, дьяволы, собаки, драконы и химеры готических соборов перекликаются с греческими фавнами и фуриями. Ундины, гномы,

сильфиды, макбетовские ведьмы и германские черти во главе с гетевским Мефистофелем теснятся на страницах манифеста, как партизаны в армии молодого романтизма. Вся эта северная, туманная фантастика впервые вызвана на полуденный свет — свидетельство новой поэтической правды и смелости.

Во времена Гюго многие, особенно в Англии и Германии, черпали из этих глубоководных источников. Французскому поэту удалось в живом, сжатом и увлекательном изложении манифеста показать воочию их насущную необходимость, их освежающий искусство смысл. В своих первых балладах Гюго добивался того же эффекта. Живая простонародная речь и живописная яркость говорили о том же самом. Поэт вторгся в новые области, в новые миры!

Так рождалась эта поэзия, оплодотворившая собою всю первую половину XIX века. Она назвала себя романтизмом. Но как часто случается в истории литературы, название было меньше и уже тех сил, которые были заложены в романтизме и росли в нем неодолжимо, в каждой стране по-своему. Главной из этих сил была стихийная тяга к народности, к демократизму.

Будущее развитие самого Гюго показало это с большим блеском и самобытностью, гораздо сильнее, чем у других романтиков. В этом и заключался «роман» его жизни.

В одном из первых его больших романов, в «Соборе Парижской Богоматери», написанном, когда автору не было еще тридцати лет, есть такая сцена.

Перед архидьяконом собора, суровым и ученым хранителем святыни, лежит одна из первых печатных книг, вышедших из-под Гутенбергова типографского прессы. Дело происходит в келье архидьякона в ночной час. За окном высится сумрачная громада собора.

«Некоторое время архидьякон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую — к Собору Богоматери и, переведа печальный взгляд на собор, произнес:

— Увы! Вот это убьет то».

Мысль, приписанная Гюго средневековому монаху, — эта мысль самого Гюго. Она получает у него обоснование. Он продолжает: «...Так переполошился бы воробей при виде ангела Легиона, разворачивающего перед ним свои шесть миллионов крыльев... То был страх воина, следящего за медным тараном и возвещающего: Башня рухнет».

Поэт-историк нашел повод для широких обобщений. Он прослеживает историю зодчества, трактуя его как «первую книгу человечества», первую попытку закрепить коллективную память поколений в видимых и значимых образах. Гюго развертывает перед читателем грандиозную вереницу веков — от первобытного общества к античному, от античного к средним векам, останавливается на Возрождении и рассказывает об идейном и социальном перевороте XV—XVI веков, которому так много помогло книгопечатание. Здесь красноречие Гюго достигает своего апогея. Он слагает гимн печати:

«Это какой-то муравейник умов. Это улей, куда золотистые пчелы воображения приносят свой мед.

В этом здании тысячи этажей... Здесь все исполнено гармонии. Начиная с собора Шекспира и кончая мечетью Байрона...

Впрочем, чудесное здание все еще остается незаконченным... Род человеческий — весь на лесах. Каждый ум — каменщик».

Для Гюго навсегда остались характерны экскурсии в прошлое, предпринимаемые в защиту и обоснование животрепещущего тезиса. Не переставая быть поэтом, он становится историком. Рассуждения его не бесспорны, но они всегда вдохновенны. Он любил и умел говорить сразу о многом. Его повествовательную прозу прорезают сжатые очерки-исследования, мало или совсем не связанные с сюжетом. Они наполняют прозу Гюго особой напряженностью, расширяя временной и пространственный кругозор. Предмет исследований может быть самым разным: история суеверий, история того или другого ремесла, орудий труда и воинского оружия, воровской язык, история профессиональных организаций нищих, океанские бури у западных берегов Европы, подземные канализационные сооружения старого Парижа... Гюго много прочел на своем веку, еще больше узнал непосредственно у тех, кто старше его, еще больше видел собственными глазами, кое-что присочинил. Ибо воображение его безгранично и работает без отказа. Но это его стиль, его манера говорить с людьми. Он никогда не теряет ведущего ритма. Громоздкость его барокко оправдана изнутри темпераментом строителя.

Бывает и так, что история ему нужна для жестокой расправы с современником — политическим противником. Он вызывает прошлое как свидетеля в большой тяжбе, которую ведет с ненавистным ему режимом. Находясь в центре событий, в гуще политической борьбы, он считает уместным и должным отвлечься от злобы дня, чтобы с тем большей яростью вернуться к ней.

Уже будучи изгнанныком Второй империи, он заново оценивает кумира своей юности — Наполеона Бонапарта. В поэме «Искупление» рассказана вся история Наполеона и его падения: бегство наполеоновской армии из Москвы, разгром при Ватерлоо, муки и смерть Наполеона на острове святой Елены. Каждый раз, испытав новый удар судьбы, герой обращается к некоему свидетелю — то ли к богу, то ли к демону, то ли к собственной совести — с одинаковым вопросом: «Это конец?» — и слышит в ответ: «Нет еще. Рано». Наконец, через много лет после смерти, удостоенный реабилитации в глазах следующего поколения и торжественно погребенный в парижском Доме Инвалидов, Наполеон просыпается в своей усыпальнице. Просыпается, можно сказать, вовремя! Он присутствует при том, как Наполеон Третий присвоил себе славу дяди. Это зрелище отвратительно для мертвеца. Гюго не щадит красок и бранных слов. Если вся его поэтическая книга «Возмездие» есть высокий образец политической сатиры, то в этой ее части, в «Искуплении», гнев и сарказм достигают наибольшей силы, белого каления. Тут, наконец, Наполеон узнает, что час его последней кары пробил. Он вспоминает о своей вине перед Францией:

И склеп наполнился каким-то светом странным,
Что посылает бог, отмщающий тиранам.

Так Вальтасар дрожал, когда, огнем горя,
Три слова на стене открылись для царя.

Бонапарт прочел, что злодеянням мера
Давно отсчитана в о с ь м н а д ц а т ы м б р ю м е р а.

Так заново оценивает Гюго героя своей романтической юности: восемнадцатое брюмера — дата первой открытой измены Наполеона революции.

А между тем на племянника обрушена слава его великого дяди. Расправа Гюго с этим персонажем изобретательна и разнообразна по приемам. Изображенные с такой же резкостью, в столь же балластных обличьях предстают у Гюго и министры Наполеона Третьего, непосредственные участники кровавых событий, — духовенство, командиры армий, журналисты, судьи, чиновники. К ответу притянуты все правящие классы Франции:

Срезайте кошельки и государство съешьте,
Опустошайте все, на что глазели прежде,—

Настал удобный час!

Последний вырван грош, последний взят кусочек

У сельских пахарей, у городских рабочих,—

Все козыри у вас!

В том же накале праведных и простых чувств — стыда, горечи, негодования — огромная картина нищеты, вымирания, унижения и угнетения миллионов молодых жизней:

Шагают по тебе, народ, по баррикадам,
Недавно выросшим из мрака, под раскатом
Твоих недавних битв.

Кареты катятся, гремя и торжествуя.

Под их колесами ты втоптан в мостовую,

Ты как булыжник вбит!

Если взять все творчество Гюго в целом — а целое, как уже сказано, поистине огромно, — то здесь его главная тема.

Так оправдывалось в поэтической работе Гюго однажды отчетливо сформулированное им требование, может быть, наиболее характерное и существенное для понимания его поэзии: «Поэту надлежит возвышать политические события, если они того заслуживают, до степени событий исторических».

В этом твердом и недвусмысленном требовании звучит то же стремление «делать страницу истории», что и во встрече с английским полицейским, но звучит и нечто большее, более надежное и веское, поучительное даже сегодня, даже для нас.

Политическая гражданская лирика, при всей своей газетной злободневности, только тогда становится поэзией, если непосредственный повод, вызвавший отклик поэта, дополнен и подкреплён объемностью исторического созерцания или исторического прозрения. Муза гражданской поэзии — это муза Истории.

Уместно вспомнить, что и пушкинская ода «Вольность», и лермонтовская «Дума», и блоковские «Скифы», и «Война и мир» Маяковского, глубоко современные и своевременные для своего исторического часа, долговечны именно потому, что дышат воздухом исторического предвидения. Вот почему они животворят нашу поэзию и сегодня.

В западноевропейской поэзии Гюго был одним из последних творцов такого рода и такого стиля — писателем, связанным с миро-

вой культурой и озабоченным его судьбами. У него было глубоко выстраданное право — делать смотр векам и народам. Это право гуманиста. Гуманизм Гюго не только гуманность, не только человечность и человеколюбие, не слезливый сантимент, родственный филантропии. Гуманизм Гюго — это цельное мировоззрение, полученное человеком XIX века в наследство.

Оно напоминает о Возрождении, о временах Галилея и Леонардо да Винчи. У Гюго та же широкая осведомленность во многих областях знания и техники, что и у них, а за этой широтой — и кропотливое изучение, и яркость фантазии, и главное, самое главное — никогда не иссякающая любовь: к людям, к делам их рук, к их мастерству, изобретательности. Любовь к человеческой культуре, понятию как трудовой процесс, фабрика на ходу, бесконечный конвейер.

Так начинали представители передовой европейской буржуазии, когда этот класс был молод и творил историю. Они пронесли гуманизм как боевое знамя сквозь бури своих революций XVII и XVIII веков. Разум освобождался от средневековых суеверий, от скованности, наложенной авторитетами, догмой, схоластикой. Выпрямлялись плечи и спины, личность утверждала свое право на свободу и личное счастье. Это была длительная борьба. Многое уничтожалось навсегда, еще большее не хотело умирать и цеплялось за жизнь, мешая ее победе. Что произошло дальше — хорошо известно. Неблагополучие по части гуманизма обнаружилось в буржуазной демократии очень быстро. Расстояние между чаемым и данным, между задуманным и построенным росло вместе с накоплением капиталов. Пришел день, когда рассеялись последние иллюзии. Глобусы и колбы, статуи и полотна гуманистов были сданы в музеи и зарегистрированы в каталогах и посмертных панегриках. «Каменные книги веков», как называл Гюго соборы и памятники, стали возможными мишенями для бомбардировок.

Гюго был целиком внутри своего класса в годы решающих битв буржуазии с отступающим феодализмом. Заряда победоносной энергии, трубных мажорных звуков, исторического оптимизма хватало поэту на всем протяжении его жизни, личной и творческой. Слабости его, происходящие от такого положения вещей, легко обнаружить и невооруженным глазом. Но и сила не должна быть забыта!

Она не только в обаянии лирического дара, не только в мощной продуктивности писателя, не только в полках, уставленных его книгами, но и в том, что это образец служения людям в прямом и простом смысле слова. Образец стойкости, нравственной чистоты и безоглядной веры в людей.

Гюго никогда не уставал защищать и обосновывать излюбленный им тезис об искусстве социально значимом и созданном для народа, в интересах народа. Это лучшие страницы его громоздкой публицистики. Гюго знал, что простые истины в силу своей простоты легко забываются людьми:

«Да, искусство — это лазурь; но с высоты этой лазури падают лучи, от которых зреет рожь, желтеет кукуруза, округляется яблоко, золотится апельсин, наливается сладкий виноград. Повторяю: одной услугой больше — и прекрасное становится еще прекраснее. Да и как может оно унизиться? Оттого, что небо помогает зреть

свекле, поливает картофель, взращивает люцерну, клевер и траву, сотрудничает с землемасцем, виноградарем и огородником, у него не пропадет ни одной звезды. О! Безграничность не презирает полезное, — а разве оно теряет что-нибудь от этого? Разве молнии, зажигаемые в тучах широким животворным потоком, который мы называем магнитным или электрическим, становятся менее ослепительными оттого, что этот поток соглашается указывать путь судну и неизменно обращает к северу маленькую стрелку, вверенную ему, этому бескрайнему водителю?

...Нам возражают: служить социальной поэзии, поэзии гуманной, поэзии для народа, ворчать на зло, защищая добро, громко говорить о гневном народном, оскорблять деспотов, приводить в отчаяние негодяев, освобождать бесправного человека, толкать вперед души и отталкивать тьму назад, помнить, что есть воры и тираны, чистить тюремные камеры, опорожнять лохани с общественными нечистотами — чтобы Полигимния, засучив рукава, занималась этой грязной работой? Фу! Как можно! — А почему бы и нет?»

Цитату можно продолжить, ее можно увеличить вдвое или втрое... Можно найти у Гюго абзац, еще лучше написанный, еще красноречивее и показательнее. Капля долбит камень именно потому, что похожа на предыдущую. Набат потому и будит спящих, что он монотонен. Деятельный ум Гюго, так щедро наделенный разносторонней осведомленностью, в такой степени приспособленный к пропаганде и популяризации, постоянно направлен в одну сторону. Нужна была сила этой латинской логики, чтобы так владеть умами и сердцами, так властно проталкивать в сознание силу и значение простых истин.

Но и его искусство — проза, поэзия, драматургия — служило тому же великому и простому делу. Если Гюго оказался близким другом читателей всех пяти континентов, если по сей день актеры, волнуясь сами и волнуя других, произносят тирады его героев, если его романы остаются нержавеющей оружей в руках у миллионов простых людей, борющихся за мир и труд, — значит, есть в этом обширном наследии живая и бессмертная сила.

В чем же она?

Искусство — радость для народа.
Оно пылает в непогоду
И блеском полнит синеву.
И во всемирном озаренье
Идут в народ его творенья,
Как звезды мчатся к божеству.

Это был завет самому себе, и он выполнил его с последовательностью, плоды которой перед нами.

Лучшие страницы прозы и стихов Гюго наполняют отверженные, обездоленные, страдающие бедняки. Трудовой народ теснится на этих страницах, ликует, ненавидит, жалуется, любит, действует, ищет дорогу к свету, трудится. Моряки Нормандии борются с морской пучиной. Смелые нищие из средневекового «Двора чудес» диктуют свою волю феодальному Парижу. Звонарь-горбун Квазимодо сделан прочнее, из более огнеупорного материала, нежели каменные стены его жилища, Собора Парижской Богоматери. Лакей Рюи Блаз, всего только одно сценическое действие пробывший министром и управлявший страной, участвует с той поры в миро-

вой политике гораздо серьезнее, нежели тысячи и тысячи его современников и потомков. Его знаменитое: «...у меня лакейская ливрея, у вас же, мой сеньор, у вас — душа лакея!» — может быть и сегодня адресовано некоторым европейским служителям Уолл-стри-та. Человек из народа может быть и не назван по имени в драме или в балладе Гюго, он может быть назван попросту «бедняком», но стоит ему появиться, и все поле зрения автора занято им.

Среди этих героических или трогательных персонажей Гюго есть один, до некоторой степени спорный. Многие считают его холодным, нарочитым, наивным, нереальным. Это центральная фигура «Отверженных», добродетельный каторжник Жан Вальжан, для жизнеописания которого автор, кажется, исчерпал всю свою безудержную фантазию.

Жизнь Жана Вальжана, так же как жизнь Гюго, растянулась более чем на три четверти века. Приключения его, взлеты на вершины богатства, стремительные падения вниз, в безвестность и нищету, бесчисленны. Стойкость перед лицом вероломной судьбы непомерна. Такова же его честность, доброта, любовь к ближним.

Однако, несмотря на преднамеренное сочетание случайных взлетов, несмотря на мостки, каждый раз изобретаемые Гюго специально затем, чтобы выволить своего любимца из беды, вот уже более ста лет Жан Вальжан остается одним из самых любимых, популярных и чтимых героев Гюго — и в самом романе и в бесчисленных киноинсценировках. Он воспринимается как многозначный символ страданий простого человека. Читатель и зритель кино охотно соглашаются смотреть сквозь пальцы на исключительность положений, в которые попадает по воле поэта этот человек, прощают просчеты против правдоподобия, заранее соглашаются дочитать сказку — некий миф прошлого века — о бесконечной доброте и доброте.

Но ведь это сила Гюго, а не его слабость! Сила в глазах сотен тысяч людей, говорящих на разных языках, стоящих на разных ступенях культуры, на всех пяти континентах земного шара.

И, наконец, еще один образ, ставший особенно популярным у советских читателей, с первых дней Октябрьской революции так прочно завоевавший симпатии нашего юношества, что кажется родным, — маленький Гаврош, бессмертный парижский сорванец.

«У Парижа есть ребенок, а у леса — птица; птица зовется воробьем, ребенок — гаменом.

Сочетайте оба эти понятия — пещь огненную и утреннюю зарю, дайте обоим этим искрам — Парижу и детству — столкнуться, — возникнет маленькое существо... Ему не каждый день случается поест, но в театр, если вздумается, этот человек ходит каждый вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой...»

Это заповедь — первое появление любимца автора. Вот его славный конец на парижской баррикаде:

«...одна пуля, более меткая или более предательская, чем другие,

в конце концов настигла этот блуждающий огонек. Все увидели, как Гаврош вдруг пошатнулся и упал наземь. На баррикаде все вскрикнули в один голос... Не успел Гаврош упасть, как поднялся снова. Он сидел на земле, струйка крови стекала по его лицу; протянув обе руки кверху, он обернулся в ту сторону, откуда раздался выстрел, и запел... Он не кончил песни. Вторая пуля того же стрелка оборвала ее навеки. На этот раз он упал лицом на мостовую и больше не шевельнулся. Маленький мальчик с великой душой умер».

Что же это такое? Только ли сила искусства в слегка ритмизированной и спокойной прозе, в добросовестном изображении гибели ребенка?

Искусства, как известно, бывают разные. Есть и такие среди них, которые спокойно отлеживаются под стеклянными колпаками посмертных изданий, прохладных музеев и замойной мглы. Молодые поколения любят музейными экспонатами, поглаживают ветхую кожу переплета и уходят, предоставляя мертвецам коронить своих мертвецов.

В данном случае происходит нечто противоположное. Гюго когда-то провозгласил: «Те, что борются,— живут!» Сам он тоже продолжает бороться на стороне живых.

Маяковский, будучи еще совсем молодым, предсказывал, что в первый день всеобщего мира счастливое человечество обнаружит «в каждом старце мудрость Гюго». Недаром ему, молодому поэту революции, пришлось по душе этот более чем столетний ветеран. Недаром ему захотелось именно его коротким именем украсить свою боевую строку.

Маяковский вспомнил Гюго, мечтая о всеобщем мире и всеобщем разоружении. С тех пор прошли годы и годы. Трудовое человечество еще не завоевало всеобщего мира, но за него идет напряженная, как никогда, борьба во всех концах нашей планеты, израненной войнами. Мощное движение растет, ширится и вовлекает в свой поток миллионы людей, белых, желтых, черных, краснокожих, населяющих землю сегодня. Тем более можно понять Маяковского, вспоминавшего о Гюго именно в такой связи.

Гюго — ненавистник войны. Сын наполеоновского генерала, столько раз на своем веку произносивший как заклинания: «Аустерлиц», «Маренго», «Ваграм», — тот самый поэт, для которого эпопея наполеоновской армии была синонимом национальной славы, — именно он ненавидел войну яростно и сосредоточенно.

За двадцать лет до Седана, на первом, еще весьма скромном международном съезде друзей мира в Париже, его председатель Виктор Гюго произнес слова, звучащие и сейчас злободневно:

«Идея мира во всем мире — достояние всех наций, они требуют мира, как высшего блага. Наконец-то на смену войне придет разум. Так ли уж утопична идея мира? Так ли уж она неосуществима?.. Люди, которые хотят быть «позитивистами»... а иначе говоря — старые политики, посевшие в интригах, — ответят: да, утопия. А я без колебаний отвечу: нет, не утопия (аполдисменты), и я это докажу. Я говорю, что мира во всем мире можно добиться, я говорю, что он неизбежен».

Мысли, воодушевившие это выступление, с еще большей силой выражены в творчестве Гюго, особенно в его поэзии. Книга «Страшный год» разоблачает молодой тогда прусский милитаризм.

Но ужас и отвращение Гюго к войне шире, чем отвращение к ее немецким проповедникам и апологетам:

Работница без глаз, уродливая пряжа,
Качает колыбель для тлена и для праха,
Ведет она полки, ведет за трупом труп,
И, опьяненная безумным воем труб,
И кровью сытая, потом с похмелья вянет,
Но человечество к своей попойке тянет.
Нагнав ораву туч, она сшибает прочь
Все звезды, всех богов — и накликает ночь.
И вновь безумствует на диких пепелищах,
В пороховом дыму, в тяжелых сапожищах,
Распространеньем зла вовеки занята:
Убьет животное, а породит скота
И может лишь одно придумать bestолково —
Снять императора, чтоб возвести другого.

Эти простые сентенции и формулировки делали свое дело безошибочно. Это была вечная, не знавшая отдыха работа старого поэта. Он рос и двигался вместе со своим веком, всегда шел в ногу с жизнью, откликался всему новому, что несла жизнь, и тысячу нитей до конца своих дней был связан с самой жгучей современностью. Вот в чем была сила и обаяние этого человека с ясным умом и горячим сердцем.

Постоянные ссылки Гюго на Эсхила, Данте, Шекспира и других великих стариков как прямых предшественников — это не поиски знатных предков для установления родовой родословной для себя лично. Это поиски союзников для воздействия на возможно больший круг людей разного возраста и разных языков. Это сознательная тактика борца. Гюго знал, что для воздействия на врагов требуются сверкающие латы, яркие знамена, громкие фанфары. И он выходил в бой, блистая и гремя эрудицией, именами, метафорами. Он умел перекричать и ураган и канонаду и этим умением великолепно пользовался.

В одной из трагедий Гюго прадеды действуют рядом с правнуками. Богатырские их голубые седины падают на плечи, закованные в латы. Жилые руки по старой памяти сжимают иззубренные мечи. Они кажутся легендарными. Они мудры в старческой наивности и полны неисчерпаемой любви к живому делу жизни.

Нечто подобное происходит с самим Гюго. Ему более полутора-ста лет, но голос его не надтреснут и звучит по-юношески звонко, зоркие глаза горят молодой отвагой, а сердце полно любви к людям, которые отвечают ему тем же.

Павел Антокольский

СОДЕРЖАНИЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВИКТОРА ГЮГО ПО ТОМАМ

Том 1

Стихотворения	5
Последний день приговоренного к смерти. <i>Перевод</i> <i>Н. Касаткиной.</i>	91
Клод Ге. <i>Перевод А. Толстой</i>	189
Марьон Делорм. <i>Перевод Анны Ахматовой</i>	217

Том 2

Эрнани. <i>Перевод Вс. Рождественского</i>	5
Король забавляется. <i>Перевод Павла Антокольского</i> . .	153
Рюи Блаз. <i>Перевод Т. Щепкиной-Куперник</i>	293

Том 3

Собор Парижской Богоматери. <i>Перевод Н. Коган</i> . .	5
---	---

Том 4

Отверженные. Часть I. Фантина. <i>Перевод Д. Лившиц</i> .	5
---	---

Том 5

Отверженные. Часть II. Козетта. <i>Перевод Н. Коган</i> . .	7
---	---

Том 6

Отверженные. Часть III. Марнус. <i>Перевод Н. Эфрос</i> . .	7
Отверженные. Часть IV. Идиллия улицы Плюме и эпопея улицы Сен-Дени. <i>Перевод К. Локса</i>	269

Том 7

Отверженные. Часть V. Жан Вальжан. Перевод М. В. Вах-
теровой 7

Том 8

Труженики моря. Перевод А. Худадовой 7

Том 9

Человек, который смеется. Перевод Б. Лившица 7

Том 10

Девяносто третий год. Перевод Н. Жарковой 7

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД

Перевод Н. Жарковой

Часть первая. В море	7
Часть вторая. В Париже	99
Часть третья. В Вандее	175
Историко-литературная справка	379
Павел Антокольский. Виктор Гюго	380
Содержание собрания сочинений Виктора Гюго по томам	398

В и к т о р Г Ю Г О.
Собрание сочинений
в десяти томах.
Том X.

Редактор тома
Р. А. Р о д и н а.
Иллюстрации художника
П. Н. П и н к и с е в и ч а,
Оформление художника
Ю. А. Б о я р с к о г о,
Технический редактор
А. И. Ш а г а р и н а.

Сдано в набор 23/VI 1972 г. Подписано к печати 1/XII 1972 г.
Бумага типогр. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. Объем 21,42 усл. печ. л.
23,16 уч.-изд. л. Доп. тираж 74 000 экз. Изд. № 2534. Зак. № 3346.
Цена 90 коп.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской
Революции типографии газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

Отпечатано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

Заказ 2170

Индекс 70757

